

Александр Валентинович Амфитеатров

Княжна



Александр Валентинович Амфитеатров

Княжна

Аннотация

«На берегу Унжи, в унылой котловине, окаймленной двадцативерстной полосой дремучего бора, местами едва проходимого даже и теперь, после многолетней хищнической порубки, лежит село Волкояр, – Радунское то же, – отчина и дедина князей Радунских. Родословное древо этой старинной фамилии восходит ко временам Дмитрия Донского: первый из Радунских, литовский выходец, сложил свою голову на Куликовом поле. В синодиках царя Ивана Грозного упомянуто несколько Радунских, заплативших царю кровью за свою крамолу...»

Содержание

| | |
|--------------|-----|
| От автора | 4 |
| Часть первая | 5 |
| Часть вторая | 216 |

Александр Амфитеатров

Княжна

*Старому товарищу
Владимиру Алексеевичу Тихонову,
в память многих лет хорошей дружбы,
посвящаю этот том.
Александр Амфитеатров
Марта, 15/2, 1910
Cavi di Lavagna*

От автора

В составе хроники «Княжна» включен целый ряд относящихся к ней предварительных этюдов, печатавшихся в разных изданиях, с 1889 по 1905 год. Как-то: «Последыш» («Новое обозрение», 1889), «Из терема на волю» («Наблюдатель», 1896), «Село Радунское» («Неделя», 1899). Второй и третий из этих этюдов послужили мне также материалом для драмы «Чертушка», написанной в 1901 году, но на сцену попавшей, освободясь из-под цензурного запрета, только в 1907.

Ал. А.

1910. III. 15

Cavi di Lavagna

Часть первая

Чертушка на Унже

I

На берегу Унжи, в унылой котловине, окаймленной двадцативерстной полосой дремучего бора, местами едва проходимого даже и теперь, после многолетней хищнической порубки, лежит село Волкояр, – Радунское то же, – отчина и дедина князей Радунских. Родословное древо этой старинной фамилии восходит ко временам Димитрия Донского: первый из Радунских, литовский выходец, сложил свою голову на Куликовом поле. В синодиках царя Ивана Грозного упомянуто несколько Радунских, заплативших царю кровью за свою крамолу. Артамон Радунский, воевода Бориса Годунова, передался с Басмановым названному Дмитрию. Ивашка – главарь стрелецкого бунта, ярый защитник старой веры и сторонник царевны Софьи Алексеевны – умер под пытками в Преображенском застенке, на дыбе у князя-кесаря Ромодановского. Все Радунские – по истории и семейным преданиям – отличались распутством, дерзким нравом и непобедимым упрямством, но у большинства наследственные пороки в значительной степени испутились талантливо-

стью, воистину, на все руки. Между Радунскими насчитывалось немало доблестных воинов, хитрых дипломатов, но – главное-«случайных людей» и ловких придворных интриганов. В дворцовых смутах XVIII века они вертелись преискусно, всегда держались торжествующей стороны и вовремя отступались от нее, чуть пошатнется. Меншикову изменили для Долгоруких, верховников предали, купленные «Анной, нам Богом данной», с Волынским рассорились аккуратно, чтобы попасть в милость к Бирону; вместе с Бестужевым «поступили, как римляне», возведя курляндского конюха в регенты Российской империи, и первые бросились во дворец, чтобы припасть к стопам Анны Леопольдовны, как скоро Миних и Манштейн скрутили Бирона. Неистово ругали Радунские побежденную «курляндскую собаку» и со слезами умиления клялись в верности младенцу-императору Ивану Антоновичу, а между тем в карманах у них уже позвякивало золото де ла Шетарди и шуршали векселя Лестюка, – французский задаток за русскую царевну, дары «дщери Петровой», первая плата за близкий «Лизанькин переворот». В «Петербургском действе» 1761 года Радунские впервые сплеховали. От Петра Федоровича они, конечно, отстали, но поздно; Екатерину Алексеевну, конечно, поддержали, но мешкотно, – и оказались ни в сех, ни в тех. Между ними и милостями царицы-победительницы стеною стали широкие спины богатырей Орловых. Они, в качестве людей новых, Радунских терпеть не могли и зорко следили, чтобы не

подпустить близко к трону этот боярский род древних кровей с его старомосковскою надменностью и византийским холопством, славянскою распущенностью и азиатским коварством – род свирепый, безжалостный, бессовестный, предательский, продажный, неблагодарный. И вот мало-помалу Радунских, как людей неуживчивых и «несносных шпыней», оттерли от двора соперники, может быть, менее их знатные и даровитые, но с большим житейским и политическим тактом. С тех пор род Радунских стал падать и, не захудав богатством, захудал почетом и влиянием. Радунские не славились ни плодовитостью, ни долголетием. Во всей семейной истории значился только один брак, благословленный четырьмя сыновьями: в елизаветинскую пору лейб-компанец Федот Никитич, князь Радунский, взял за себя ее императорского величества камер-юнгферу, девицу Елизавету Шишлову из смоленских дворянок. Но и из четырех сыновей от этого брака двое умерли в московскую чуму, а выжившие, Никита и Роман, в погоне за «случаем», стали друг к другу в самые враждебные отношения; в обществе их звали Этеоклом и Полиником. Потемкин, по дальнему родству с матерью Радунских, Шишловой, имел кое-какие сношения с враждующими братьями и, зная их честолюбие и способности, обоим терпеть не мог, обоих считал вредными и опасными. Он дипломатически ласкал и того и другого, но держал их между собою на ножах: науськивал Никиту против Романа, а Романа против Никиты. В 1785 году Никиту проткнул на дуэли

шпагою проезжий авантюрист – французский виконт Альсид де ла Нейж Руж, – и общий голос обвинил Романа в смерти брата, которому будто бы пришлось драться не в честном бою, но с нарочно выписанным из Парижа знаменитым бретером по профессии. Вконта выслали за границу, а князя Романа Федотовича, под благовидным предлогом, убрали из Петербурга – с поручением чинить розыск по раскольничьим делам в костромских и ярославских местах, где, кстати, у Радунских были имения. Князь Роман-человек дикий нравом, но по-своему, тогдашнему, дворянскому, честный, молодой, горячий, к тому же немного вольнодумец, воспитанный на французских идеях о свободе совести, почитавший Вольтера и энциклопедистов, – пришел в ужас от чиновничьего произвола, мошенничества и взяток. Взялся он исправлять нравы и, для первого начала, пригласив к себе местный уездный суд *in cogroge*¹ обедать в Волкояр, – *in cogroge* же высек гостей на конюшне. А когда история огласилась и приехал губернатор с запросом о ней, то князь Роман Федотович не постеснялся разложить и губернатора. Только не на конюшне, а, на сей токмо раз, чин почитая и сана для, в саду – в Венерином гроте, который с тех пор прослыл у волкоярцев под менее громким, но более выразительным названием «Поротого места». Легенда гласит, что высеченный губернатор жаловался царице, но премудрая Фелица положила будто бы на жалобу его такую резолюцию: «Что Радунские все от рождения умо-

¹ В полном составе (*лат.*).

вредны и имеют дух ко ирритации склонный, о том известно давно, чего ради не Радунского виновным числю, но себя, зачем послала бешеного на официю, спокойства требующую. Радунского от должности его отрешить, с декларацией к сему совершенного моего недовольства, а сказать ему жить в дальних его деревнях, которое поместье изберет и пожелает, а в столицы въезда не иметь и ко двору не бывать. Губернатору же объявить: не о том сожалею, что слугу моего наглый человек в палки ставил, но о том скорблю, что имела слугу, который мало что допустить сечь себя способен объявился, но еще, будучи высечен, жалобится и бесстыдство спины своей европейскому потомству и гиштории показывать умышляет».

Остаток жизни Роман Федотович провел, спиваясь с круга, то в волкоярской глуши, то – по смерти императрицы Екатерины – на Москве, где он и умер в эпоху Отечественной войны – как почти все Радунские – от апоплексического удара. Он прожил семьдесят лет, не в обычай своего недолговечного рода. Из детей его – старший сын, слабоумный Исидор, пошел в монахи, а младший, князь Юрий Романович, пошумел-таки на своем веку. Станный и негодный был это человек: враг всем и самому себе. Храбрый офицер 1805 года, полковой командир в Отечественную войну, молодым генералом возвратился он из парижского похода, и как будто обещал воскресить былую славу и удачу князей Радунских. Но, кокетничая с дворцовыми конституционалистами, как-

то прозевал момент, когда ветер повернул на реакцию, и уже очень не полюбился Аракчееву, а тот, если кого не любил, то бесповоротно: навсегда и с плотным прижимом. Проиграв военную карьеру, Юрий со злости уцарился во фронду. И вот он – последовательно – мистик, масон, либерал, как-то сбоку вертится около истории в Семеновском полку, в переписке с Николаем Тургеневым, товарищ и приятель заговорщиков Южной армии. В деле 14 декабря Юрий Радунский ухитрился поставить себя так двусмысленно, что затем Николай I держал его до конца дней вдали от дворца, не пуская ближе Москвы, и в прозрачной опале, как вероятного, хотя и не уличенного, бунтовщика, а декабристы, наоборот, подозревали в нем правительственного шпиона. И обе стороны сходились в единодушном согласии, что князь Юрий Радунский самый тяжелый и опасный человек во всей русской знати: и продаст, и предаст, и оскорбит, и унизит – даже не ради какой-либо выгоды, а просто из удовольствия предать и унижить, по своей волчьей, злобной душонке. Знаменитый декабрист Лунин дружил когда-то, в Варшаве, с князем Юрием – и, не выдержав, расстался:

– Нехорошо с тобою, Юшка: жутко! – сказал он. – Так ты зол и коварен, что и не разберешь, чего в тебе больше: зверя или дьявола. Если мы буцем вместе, одному из нас несдобровать. Разойдемся-ка лучше по добру по здорову, пока у обоих целы головы.

Такой лестной аттестации удостоился князь от богатыря

неизбывной силы, который впоследствии, в Сибири, полагал для себя высшим удовольствием одиноко бродить по девственным чащам кедровых лесов, в надежде помериться либо силою с матерым медведем, либо удалюю и – с беглым живорезом-каторжником.

А переводчик Расина, остряк, вольтерьянец и – к старости, как водится, – ханжа, Катенин, говорил другое:

– Князь Юрий опоздал родиться. Ему бы жить в Италии при Цезаре Борджиа или во Франции при Карле IX. Он клянется, чтобы изменять, и человек, кроме его самого, не дороже для него ореховой скорлупки. Если он улыбается, значит, он опозорил порядочное семейство, поссорил двух друзей, написал анонимное письмо мужу о жене или жене о муже, сделал ловкий донос и сам остался в стороне, словом, отравил кому-нибудь существование. А, может быть, и впрямь отравил кого-нибудь. Если этот человек когда-нибудь заплачет; из глаз его польется чистейшая aqua tofana².

В князе Александре Юрьевиче Радунском – предпоследнем представителе рода, доживавшем в конце сороковых и в первых пятидесятых годах свой сумасбродный век в вотчине на Унже, – как будто соединились и вспыхнули последним зловещим пламенем догорающего пожара все хорошие и дурные качества его предков.

Странны и печальны были его отношения к отцу. Князь Юрий женился очень молодым, в глухой провинции, на ка-

² Букв.: туфовая вода (*лат.*).

кой-то казанской или даже касимовской княжне полутатарского происхождения. Брак был неравный и, по всей вероятности, для Радунского, не охотный, но вынужденный, потому что, с точки зрения карьерной, совсем бесполезный и глупый, а с иных точек зрения князь Юрий на свет смотреть не умел. Капиталов больших татарская княжна за собою не принесла, – только степная родня, из-за Моршанска, пригнала табун чудеснейших коней. Их кровь, хоть и выродилась в северном лесу, до сих пор сказывается: верст на сто вокруг Волкояра крестьянские коньки не похожи на обычных крысоподобных кляч, и если мужик в средствах малость подкормить лошадь, то уже чувствуется в ней нечто от степной сивки-бурки, вещи каурки – благородная порода, хоть и заезженная в возах по ухабам, задерганная и захлестанная под кнутом. Что касается соблазнов женской привлекательности, то и в этом отношении полуазиатская супруга князя Юрия также не являла особо выдающихся красот и – кроме обычных восточных прелестей, то есть восьмипудовой тучности при маленьком росте, страсти белиться, покуда лицо не превратится в неподвижную маску, привычки курить по целым дням, не выпуская трубки изо рта, и готовности отдаваться когда и где угодно и решительно всякому мужчине, который охоч взять, – никакими другими чарами не обладала. Напротив – была ленива до того, что по неделям не давалась девушкам волосы расчесать, неопрятнейшая неумойка и превздорного нрава. С первых же дней брака князь Юрий вознена-

видел жену пуще, чем собака кошку, и до конца дней ее – татарская княжна оказалась тоже под руку мужу, зверком с острыми когтями и зубами! – грызся с нею не на живот, а на смерть. Супружеская жизнь их вся, изо дня в день и из года в год, проходила в том, что они – без любви, без ревности, без взаимоуважения, а просто по обоюдной злобе и страсти к скандалу-ловили друг друга на месте любовных преступлений. Причем – будто бы – сколь ни прыток был по этой части князь Юрий, но за супругою не успевал, ибо та в увлечениях своих бывала, по нужде, и демократкою: настолько, что при случае, за неимением лучшего выбора, счастливила свою любовью даже состоящих при трубках подростков-казачков.

Однажды летом, в Волкояре, княгиня, покушав за ужином грибков, в ночь заболела и преставилась в одночасье. Предание уверяет, якобы в предсмертных муках, свиваясь клубком в лютых корчах, вопила она на трех языках одно и тоже по-русски, по-французски и по-татарски:

– Окормил, злодей, окормил!

Супруг же, стоя около смертного одра, строил умирающей бесовские рожи и приговаривал:

– Ан, врешь! Сама хотела, да не успела... докажи! Врешь! Сама хотела, да не успела... докажи!

Похоронив жену, князь Юрий принялся воевать со своим единственным сыном, князем Александром. Отношения создались прямо-таки чудовищные. Полковник Белевцов, почтенный человек из последних московских масонов, прия-

тель князя Юрия, еще в александровскую эпоху, по первым мистическим кружкам, попробовал было, на правах старой дружбы, стать примирителем между отцом и сыном.

– За что ты гонишь Александра? – уговаривал он старика. – За что ожесточаешь его характер и лишаешь его главной опоры к правильной жизни – уважения к родителю и преемственной семейной любви?

Князь Юрий оскалился на приятеля, как черт какой-нибудь, и обругался скверным словом:

– За то, что вы.....к.

– Опомнись, Юрий! Что за мерзость? Какие основания ты имеешь утверждать подобную клевету?

– Мать шлюха была!

– О покойной княгине не могу судить, так как не имел удовольствия знать ее. Но общее мнение таково, что ты сам же развратил ее праздностью и примерами твоего собственного поведения. А что Александр есть подлинно твой сын, то вся его фигура обличает. Ведь он – твой живой портрет. Когда вы вместе в одном обществе находитесь, вас только снега твоих седин и розы его юности различают.

Князь Юрий нетерпеливо оборвал:

– Да почему ты знаешь? Может быть, именно это-то мне в нем и противно?

– Не понимаю.

– Он – изверг! смешение естества! Разве легко мне видеть: рожа – моя, а сердце – татарское?

– Может ли сын ответствовать пред отцом за нацию своей матери? Не его воля была от татарки родиться, но твоя – татарку в супружество взять.

Но князь Юрий топал ногами и вопил:

– Она тварь была! Ведьма! Проклятая татарская ведьма! Если бы при царе Алексее Михайловиче, ее бы надо было в срубе сжечь! К ней огненный змей летал! Он мою форму украл! Змеиное отродье: форма моя, а душа змеиная...

Лицо старика багровело, шея напрягалась жилами, руки тряслись и прыгали пальцами в воздухе, не управляя движениями, синяя губы вскипели слюною: вот-вот хватит паралич.

Посмотрел Белевцов, отступился.

– Совершенно ты рехнулся, князь Юрий. И впрямь время тебя в опеку взять. Нехорошо, когда на чердаке так нездорово. С чердаков пожары начинаются. Уже зазорным сказкам веру даешь, кои ныне и деревенская баба, которая поумнее, повторять стыдится.

– А ты в Бога не веришь! Над Богородицей смеешься! «Орлеанскую пюсельку», поганец, наизусть читаешь! Молодого вертопраха и афея Сашки Пушкина кощунственные стихи в тетрадь переписал и таишь! Я на тебя митрополиту донесу! Ты церковного покаяния достоин! Я шефу жандармов напишу! Это все германская тлетворная философия действует и французская ересь!

Плюнул Белевцов. Разлетелась врозь чуть не сорокалет-

няя дружба.

В конце двадцатых годов князя Александра – блестящего гвардейского офицера – выслали из Петербурга за крупный скандал, устроенный им в компании с прославленным Булгаковым. Что именно они натворили, – забылось. Не то похитили воспитанницу из театрального училища, пользовавшуюся чьим-то высоким покровительством, не то подвесили к фонарю, за фалды мундира, частного пристава. Булгаков как любимец великого князя Михаила Павловича уцелел, а Радунский улетел на Кавказ. Одни говорили, будто Радунский сам напросился на беду, чтобы вырваться из парадно бездействующей гвардии на театр кавказских битв, куда тянули его честолюбие и страсть к сильным ощущениям; он мечтал стать военной знаменитостью, как Цицианов, Ермолов, Котляревский. Другие уверяли, что все это – выдумки: молодой человек просто пошалил, как шалют все молодые люди; любящий же родитель обрадовался случаю сбыть с рук ненавистного сына и не только не попросил, кого следует, о пощаде сосланному, но еще сам раздувал в мнении властей и общества вину его из мухи в слона. Как бы то ни было, отец и сын и расстались, и остались злейшими врагами. Лет сорок спустя, князь Дмитрий Александрович Радунский – сын князя Александра и внук Юрия – нашел переписку отца и деда и ужаснулся их взаимной ненависти, доходившей до совсем одичалого озлобления. Кажется, со времен Ивана Васильевича Грозного и князя Курбского два человека не

переписывались между собою с таким страстным усердием, с такою лютою свирепостью, с таким пламенным вдохновением оскорблений, с таким многоречивым смакованием взаимных обид. Сын писал:

С особенным удовольствием узнал я, драгоценный батюшка, что государь император всемилостивейше воспротивился вашему любезному намерению отдать все имущество, как движимое, так и недвижимое, на никауда негодные, хотя и мнящие себя благотворительными учреждения и тем лишить куска хлеба меня, вашего, к удовольствию моему, единственного сына и наследника. А вместе с тем спешу изъяснить вам искреннейшие поздравления по поводу заботливости о вашей немощи и годах со стороны родственников ваших, кои, во избежание излишнего для вас утомления делами, собираются хлопотать о наложении на имущество ваше благодетельной опеки, в чем сочувствую и душевно благодарствую. Обо мне, конечно, приятно будет вам услышать, что я жив, совершенно здоров, и, сверх напутственных ожиданий ваших, кавказская лихорадка и пули горцев меня милуют.

Отец, в язвительных ответах, подписывался: «Твердо намеревающийся пережить тебя, негодяя», и пугал сына намерением вторично жениться, а все состояние отдать детям от второго брака. И женился бы, да, на счастье князя Алек-

сандра, обуялся боярскою спесью – все искал ровни и, когда наконец выбрал невесту, она оказалась в слишком близком родстве – двоюродная племянница. Потребовалось синодское разрешение, и дело пошло гулять по секретарям консисторий да митрополичьим племянникам, а эти господа хлебных хлопот из рук скоро не выпускают. Тянули да тянули волокиту, ан, тем временем, князь Юрий, в один угрюмый волкоярский день, получил, вместо брачного венца, смертный венчик на лоб.

Кавказский наместник, полудержавный князь М. С. Воронцов принял в молодом Радунском участие и дал ему выслужиться под команду известного Граббе, впоследствии героя злополучной Даргинской экспедиции. Вскоре князь зарекомендовал себя с самой лестной стороны, как храбрый, умный, распорядительный офицер, – товарищ знаменитого «кавказского Мюрата», Засса, во всех его воинственных авантюрах. Ему предстояла блестящая карьера. Вел он себя довольно скромно, только играл бешено – и, ходили слухи, будто не совсем чисто. Оно неудивительно. Будучи не в силах допечь сына с других сторон, князь Юрий творил ему всевозможные денежные прижимки. Не даром же, когда вышел в свет «Скупой рыцарь» Пушкина, в петербургском свете хором утверждали, что Барон списан с Юрия, а Альберт – с Александра Радунских. Если бы полковник Белевцов не пригрозил старику клятвенно, что доведет его маньяческое скряжничество до ведома государя, то дряхлеющий

ненавистник с особым наслаждением оставил бы наследника своего вовсе без всяких средств. В то время играть наверняка не считалось в дворянстве делом предосудительным. Шулер лишался чести, только когда попадался с поличным, а покуда не пойман, не вор, и быль молодцу не укор. Знаменитый Толстой-«Американец», тот самый, который «в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист», метал банк.

– Граф! Вы передернули! – крикнул один из понтеров.

– Знаю, – возразил Толстой, – но терпеть не могу, когда мне об этом говорят!

И швырнул карты в лицо понтера.

Многие годы князь Александр существовал исключительно игрою и долгами под будущее родительское наследство, платя столь чудовищные проценты, что даже сами ростовщики совестились признаваться. Однако игроком по натуре он не был. Настолько, что по смерти отца – словно отрезало: никогда уже не брал карт в руки иначе, как для домашней коммерческой игры. Тогда обнаружилось, что и военный он не по призванию, а только по неволе. Едва свалился князь Юрий от апоплексического удара, наследник огромных денег и имений запросился в отставку, оправдываясь необходимостью устроить широкие, но расшатанные фамильные дела. Не удалось. Император Николай, который «холодно благоволил» к Радунскому-сыну, – хоть и сослал его на Кавказ, но ведь это в то время почиталось остраст-

кою, а не опалою, – благоволил именно потому, что не любил и подозревал Радунского-отца, – отверг отставку и выразил неудовольствие. Нечего делать, князь Александр остался в мундире, но подставлять лоб свой под черкесские пули долее не пожелал и, не без больших затрат и хлопот для себя, перевелся в Елисаветград – в николаевские времена, чуть не столичный город русского военного мира. Здесь-то вот Радунский разошелся уже во всю и впервые показал себя в полную величину, каков он, голубчик! В качестве нового человека, да еще кавказского героя, он сперва очаровал местное общество. О таинственной истории его кавказской ссылки, о трагической вражде с отцом, о львиной храбрости, возвратившей ему чин и давшей крест, ходили самые романические слухи. Дамы, напитанные Марлинским, бредили князем: он казался им модным в то время «сыном судьбы» – Аммалат-Бекем, Мулла-Нуром. Всех красивей, всех богаче, самый дерзкий, самый пьяный из всего офицерства, самый остроумный и вкрадчиво ласковый, когда того хотел, – он царил над местным обществом. Не хватало лишь Лепорелло, чтобы подсчитывать за новейшим Дон-Жуаном его победы. Князю нравилась репутация рокового человека, и он делал тысячи глупостей, чтобы поддержать ее. Тип Печорина тогда уже народился; щегольство бессердечием напоказ входило в моду; а у князя Александра и не напоказ было его достаточно. Он губил женские репутации с таким же равнодушием, как застрелил однажды на всем скаку свою любимую лошадь

за то, что та шарахнулась от барьера...

На Кавказе Радунский был хорошо знаком и с Бестужевым, который был много старше его, и с Лермонтовым, который был значительно моложе. Впоследствии, когда легенды о нем еще живы были в Елисаветграде, а уже вышел в свет «Герой нашего времени», местное общество, в особенности дамы, и верить не хотело, чтобы Печорин был списан не с князя Александра Радунского. Но в действительности прослыть за оригинал Печорина князь Александр мог только в невзыскательной провинции. Кавказ и захолустная полковая служба не прошли даром бывшему льву столичного света. Он огрубел, обурбонился и, в мрачном фатовстве своем, был бы достаточно пошл и смешон, если бы не таил в себе, под спудом, опасного татарина и-порою – начистоту-дикого зверя.

– Мой отец, – говорил он приятелям за зверским пуншем, кутаясь в огненно-желтый бухарский халат, в облаках благовоннейшего табачного дыма, как адский дух какой-нибудь, освещаясь тлением пыхающей трубки, – мой отец не хотел признавать меня сыном. Он верил, что я порождение демона, могучего и страшного огненного змея. Сожалею, что басня, и рад был бы, если бы это было так. За исключением выгод по состоянию, совсем не лестно чувствовать в своих жилах кровь такого господинчика, каков был мой покойный родитель, князь Юрий. Мне чужда мелкая злоба его человеческой низости. Я могу быть преступен и развратен, но я – наслед-

ник великой и грозной стихийной души, сотканной из мучительного огня. На дне души моей клокочут, как смолы ада, страсти, недоступные пониманию обыкновенных смертных. Слыхали вы «Роберта-Дьявола»? Увы! Вот мой портрет.

И – красивый, мрачный, с роковым взором, взятым напрокат у героев Байрона, – князь Александр, хмурясь, ерошил волосы, как актер Голланд, знаменитый в роли Роберта.

Особенно радушно князь был принят у богатого местного помещика-овцевода Тригонного. В одну из дочерей последнего, Анну, князь влюбился, понравился девушке, сделал предложение и получил согласие.

Свадьба была объявлена; товарищи потребовали от князя мальчишника. Друзей среди товарищей-офицеров у князя не было, но приятелей и собутыльников – весь полк. Ближайшим считался корнет Розанчук-Ховальский, малый добродушный и недалекий, за неимением других достоинств весь ушедший в ухарское щегольство выпивкой и буйством, – один из последних носителей традиций «Бурцева, ёры-забияки». Князь забавлялся Розанчуком, но Розанчук к нему привязался искренно, наивно видя в нем идеал столичного гвардейского тона, по которому безнадежно вздыхал он – темный провинциальный армеец. Он подражал Радунскому в манерах, причёске, разговоре, повторял его остроты, старался перенять даже звук его голоса, – и порою смешил князя, порою злил его до грубостей: ведь надоест же видеть вечно бок о бок с собою свою собственную карикатуру! В

компании с Розанчуком этим Радунский проделывал штуки невообразимые. Однажды они как ни в чем не бывало явились, этак уже за полночь, на бал в совершенно незнакомый им, весьма вельможный магнатский дом. Вошли. Всеобщее недоумение. Князь ведет Розанчука прямо к прекрасной хозяйке дома.

– Позвольте представить вам моего друга и товарища, корнета Розанчука-Ховальского.

Дама вспыхнула.

– Милостивый государь! Прежде, чем представлять других, вам самому надо быть мне представленным.

– Совсем не надо, – успокоительно возразил князь. – Я ведь вашего знакомства не ищу и сейчас же уеду домой. А Розанчук в вас влюблен, и ему хочется остаться у вас на балу. Прошу любить и жаловать. Не судите его по наружности: отличный малый и совсем не так глуп, как кажется, – гораздо глупее!

На помощь растерявшейся даме прибежал из карточной комнаты муж ее, шестидесятилетний старичок в серебряных сединах. Радунский приятно улыбнулся ему навстречу.

– Это ваш супруг? Какой беленький!

И погладил старца по голове. Тот от изумления и негодования обратился в столб соляной, а офицеры, тем временем, вышли. В дверях Радунский обернулся, оглядел озадаченное общество в стеклышко и пожал плечами.

– Какая шваль, однако! Розанчук! Ты положительно был

бы здесь единственным порядочным человеком... Chère dame!³ Зачем вы принимаете у себя такую мелюзгу?

Захотели, – прыгнули в седла, – ускакали.

Дело было в польском доме... после 1831 года напрасно было и жаловаться!

Мальчишник удался на славу. Шел пир горой.

– Эх, князь, – сказал Розанчук, когда все уже порядком подвыпили, – жаль мне тебя! Хороший ты парень: выпить ли, протанцевать ли мазурку, бабенку ли увезти, оттрепать ли жида за пейсы, выкупать ли штафирку в дегтярной бочке – на все тебя взять. Для товарищества ты – червонное золото: первый человек, душа общества!.. А теперь – ау, брат! Шабаш тебе: нашего полку убыло. Женишься – переменишься. Отрезанный ломоть!

Князь был пьян. Вино действовало на него скверно. Совершенно трезвый на вид, он помрачался разумом – становился дерзок, жесток, начинал хвастать и лгать без всякого смысла. Он смерил Розанчука злыми глазами с головы до ног и возразил ледяным тоном:

– А кто тебе сказал, что я женюсь?

– Как кто?

Князь, зевая, продолжал:

– Неужели ты, мой умница, мог такой бессмыслице поверить? Я – жених?! Ну, погляди, Розанчук: похоже ли это на меня?

³ «Милая госпожа» (фр.).

Розанчук вытаращил глаза.

– Однако, позволь, князь... Твой мальчишник.

– Чепуха! Мальчишник был, а девчонка не будет.

– То есть... как же это понимать?

– А вот, как сказано, так и понимай.

Розанчук совсем опешил.

– Черт знает, что ты плетешь, князенька.

Офицерство стало прислушиваться. Радунский заметил, и его разобрала еще большая охота ломаться.

– Господа, – небрежно продолжал князь, – извините меня за мистификацию. Я пригласил вас, думая проститься с холостой жизнью, но волею судеб мой мальчишник обратился в простую дружескую пирушку. Я раздумал жениться на Анне Тригонной.

Всеобщий ропот встретил это неожиданное заявление.

– Это странно. Объяснитесь князь! – возвысил голос седусый ротмистр Даннеброг. – Мы, офицерство, все считаем Анну Тригонную за хорошую девушку; именем и сердцем ее играть постыдно.

Радунский не терпел противоречий. Кровь бросилась ему в голову. Наследственное упрямство стало на дыбы.

– Я не считаю себя обязанным кому бы то ни было отчетом в своих поступках! – гордо возразил князь, – но так и быть... по товариществу... объяснюсь. Видите ли, господа, мой взгляд таков: если женщина нравится, позволительно всякое средство, чтобы добиться обладания ею. Анне я

принужден был пообещать жениться на ней... Теперь я нахожу, что она вовсе не так интересна, как кажется на первый взгляд, и... беру назад свое слово... Представьте себе: у нее под левою грудью – родимое пятно, – совершенный паук, и притом мохнатый.

– Князь, полно вам! – раздались голоса, – такие слова даже в шутку нехорошо говорить офицеру...

– Князенька, душенька! – уговаривал Радунского Розанчук, – опамятуйся, не мели пустого... Ну, залил лишнее за галстук, – бывает; язык болтает – голова не знает...

Но князю уже «стукнуло в голову». Зачем и как минуту тому назад сорвалось у него с хмельного языка глупое хвастовство небывальщиною, – он сам не знал. Но теперь на него «нашел бычок». Он молчал и вызывающим взглядом смотрел на товарищей. Наступила минута тяжелого затишья. Старик Даннеброг встал из-за стола, взял фуражку и саблю и вышел из квартиры Радунского, не поклонившись хозяину.

Ротмистр трижды на своем веку был разжалован за дела чести и трижды выслуживался; он был авторитетом рыцарства в офицерском кругу. Гости неудачного мальчишника поднялись за ним, как пчелиный рой за маткою. Даже Розанчук ушел.

Проспавшись, князь припомнил вчерашнее и понял, что его фарс совсем неожиданно перешел в драму. Он легко мог бы извиниться, свалить все дело на вино, как указывал ему выход Розанчук. Но...

– У князей Радунских – одно слово! – говорил он. – Радунские ничего не боятся и никогда не лгут. Сказал, что не хочу жениться, и не женюсь.

Несколько дней ждали, что князь опамятуется, но вместо того услышали, что он действительно послал Анне Тригонной категорический отказ от руки ее, притом в форме самой грубой, вызывающей, безжалостной, так что бедная девушка чуть не умерла с горя, а старик Тригонный бродит сам не свой и, того гляди, его паралич разобьет. Тогда князь получил приглашение на товарищеский суд.

– Я подал в отставку, господа! – было его первым словом. – И так подал, что, уверен, на этот раз государь не захочет удерживать меня на службе. Желая воспользоваться «вольностью дворянства». А покуда представил рапорт о болезни. Еду в отпуск в собственные поместья... по спешным делам...

– Мы уж знаем все это. Прекрасно поступили, – холодно возразил Даннеброг, – полк должен благодарить вас за то, что вы имеете такт снять с себя его честный мундир. Но отставкой история не кончается. Опозоренная вами девушка не имеет защитников, кроме старика-отца, а он – человек дряхлый, хилый, немощный: ему с вами не равняться. Поэтому мы, офицерство...ского полка, берем Анну Тригонную под свое покровительство и приказываем вам... слышите ли, князь? не просим, а приказываем... поправить свою ошибку и взять жену из-под обесчещенного вами крова.

Иначе...

– Иначе? – презрительно засмеялся Радунский, бледнея от гнева.

– Мы уже бросили жребий, кому – в случае вашего отказа – стреляться с вами...

Даннеброг указал на смущенного Розанчука.

– Розанчук?! – изумленно воскликнул Радунский. – Но это будет убийство: я пулю на пулю сажаю, а он в десяти шагах делает промахи по бутылке... Хорош ваш выбор. Лучше-то никого не нашлось? Пиши завещание, Розанчук: ты уже покойник!

Розанчук побледнел.

– Убьете меня, – глухо сказал он, – с вами будут драться мои секунданты... убьете их, – вас поставят к барьеру их секунданты... весь полк не перестреляете; найдете и вы свою судьбу.

Даннеброг подтвердил:

– Мы все будем поочередно драться с вами, и суди нас Бог и Государь.

Несмотря на всю свою безумную дерзость, князь потерялся. Он, шатаясь, вышел из заседания суда чести; воротясь домой, избил в кровь своего денщика, переколотил всю посуду и рыдал, как ребенок, от злости.

– Мне приказывать! Радунскому приказывать! – кричал он, то бегая из угла в угол по своей квартире, то падая на кровать и кусая подушки, чтобы заглушить истерические рыда-

ния. О повиновении приговору товарищей он, разумеется, не думал. От одной мысли о том волосы вставали дыбом и кровавые мальчишки прыгали в глазах! Скорее он, в самом деле, вышел бы на дуэль со всем офицерством...ского полка, а, пожалуй, хоть и всего Елисаветграда. Умереть под товарищескими пулями казалось ему легче, чем покориться. Но ему хотелось сначала отомстить за свое унижение и отомстить не как-нибудь, но жестоко, глумливо, коварно. Мало, что отомстить, – еще и насмеяться. Как? – он долго ломал себе голову, и, наконец, разнузданное воображение подсказало ему штуку, которою он, действительно, одурачил своих недругов, но на которую, двумя-тремя днями раньше, вероятно, он и сам себя не считал способным. Тем более, что была она из разряда тех остроумных мщений, о которых русский народ сложил выразительную пословицу:

– Наказал мужик бабу, – в солдаты пошел!

II

Однажды вечером Радунский сел в коляску и отправился к Тригонным – наперед осведомившись наверное, что их нет в городе.

– Господ дома нет! – объявил ему швейцар, глядя с не меньшим испугом и изумлением, как если бы пред ним вырос из земли покойник с того света: отказ князя от барышни и последовавший скандал был притчею во языцех всего го-

рода, и уж, разумеется, первая доведалась о нем прислуга.

– Они уехали на богомолье в Виноградскую пустынь, вот уже три дня.

– А Матрена Даниловна дома? – небрежно спросил князь.

– Матрена Даниловна дома.

Матрена Даниловна Горлицева, бедная дворянка, круглая сирота, проживала у Тригонных из милости как дальняя их родственница и воспитанница. Она была весьма недалеко умом и, несмотря на свою молодость, – ей только что исполнилось двадцать лет, – глядела настоящею Бобелиной: была необычайно высокого роста, редкого здоровья и завидной полноты. Вполне оправдывала собою известную характеристику графа В. А. Соллогуба, что в его время «халатная жизнь помещиков чрезвычайно содействовала скорому утучнению прекрасного пола; дворянки не уступали в весе купчихам». Лицом она была очень недурна: белая, румяная, с добродушными карими глазами, большими и влажными, как у лани, с красивым пухлым ртом. Семейство Тригонных было, по тогдашнему дворянскому времени, очень либеральное и славилось по Херсонской губернии своею редкою гуманностью. Но принимать чужой хлеб не сладко даже из самых ласковых рук, и Матрене Даниловне не совсем-то приятно жилось на свете. При весьма малом уме и небольшом образовании она все-таки имела кое-какой смысл и самолюбие. Между тем Тригонные обратили ее почти что в домашнюю шутиху и дразнили ее по целым дням. Мишенью

для острот Матрена Даниловна была очень удобной. Кроме мужского роста и кормилицына дородства, неистощимыми источниками насмешек служили три слабости Матрены Даниловны: обжорство, сонливость и необузданная романтичность воображения. Она ела, спала и представляла весь мир влюбленным в ее красоту; в том и проходила вся ее жизнь. Когда Радунский бывал у Тригонных, он любил шутить над красивой компаньонкой своей невесты и слегка даже заигрывал с нею, по привычке ловеласа, взявшего за правило бить сороку и ворону, – авось, попадешь и на ясного сокола. Матрена Даниловна – наперсница и посредница его отношений к Анне Тригонной, – закупленная, задаренная, обласканная, – понятно, души не чаяла в князе.

Матрена Даниловна вышла, восторженная, но, по обыкновению, с измятым, заспанным лицом. Радунский посмотрел на нее и усмехнулся.

– Вы ли это, ваше сиятельство?!

– Я, как видите.

– Верить ли глазам?!

– Ничего, хоть они у вас и запухли немножко, – верьте.

– Вот радость! Значит, всё были одни людские сплётки: ссоре конец и все пойдет по-старому?

Князь пожал плечами.

– Да... я приехал извиниться пред Анной и загладить свою вину... Не застал ее дома, – тем хуже... Есть такая хорошая

поговорка: qui va à la chasse, perd sa place...⁴

Матрена Даниловна покраснела.

– Ах, какие вещи вы говорите... – нерешительно пробормотала она.

Князь захохотал:

– Какие вещи я говорю? какие?..

Матрена Даниловна, по лукавым глазам Радунского, вообразила, что он сказал неприличность, и уже строго, заметила:

– Как только у вас язык поворотился... про Анну... она вас так любит... и при мне. Я – девушка...

Он продолжал хохотать.

– Прелесть моя... Матрена Даниловна! Je vous adore!⁵ Вы прелесть!.. Сознайтесь же, однако, что вы ровно ничего не поняли. А? ведь так?

Матрена Даниловна стала пунцовой. На глазах ее навернулись слезы.

– Не поняла-с, – раскаялась она.

– Зачем же вы притворились, будто поняли?

– Стыдно барышне не понимать по-французскому.

– Разумеется, стыдно... Но вы не бойтесь: я вашего стыда никому не расскажу... Ваша тайна умрет в моей груди!

– Покорно вас благодарю, ваше сиятельство.

– Однако как вы хорошо притворяетесь! Бывало, гово-

⁴ Кто место свое покидает, тот его теряет (*фр.*).

⁵ Я вас обожаю! (*фр.*).

ришь с Анной по-французски, а вы делаете такое внимательное лицо, будто понимаете каждое слово... Я вас даже остерегался. А – выходит – на самом-то деле, не очень?

– И вовсе даже не понимаю, – сокрушенно шепнула Матрена Даниловна.

– Ну-с, хорошо. По-французски вы – не очень. А дальше как?

– То есть... в каком смысле? – терялась девушка.

– Вы дворянка?

– Как же, ваше сиятельство! Мы, Горлицевы, искони дворяне... столбовые, из-за царя Петра...

– Это прекрасно, что из-за царя Петра. Я сам немножко оттуда... А годков вам сколько, моя прелесть?

– Зачем вам, князь?

– Да так, – знать хочу...

– Что выдумали! Это даже неловко кавалеру спрашивать такое у девушки...

– Вот еще – нам с вами церемониться!.. Мы – старые друзья. Так сколько вам годков-то, сказывайте?

– Ах, какой вы! вот пристали... Ну... двадцать...

– Врете! – бесцеремонно отрезал Радунский.

– Как – вру?!

– Очень обыкновенно врете: как все барышни о годах врут... Верных двадцать семь, если не все тридцать!

Князь нахальничал и дразнил бедную дурочку до тех пор, пока та, в простоте своей, не ударилась в слезы.

– Чем же мне вас уверить? – всхлипывала она, – хотите, я вам покажу свое метрическое свидетельство?

– А у вас есть метрическое свидетельство? Чудесно! На сцену! Давайте его сюда.

Матрена Даниловна повиновалась. Князь прочитал документ.

– Вот и спору конец, – сказал он. – Извините, проспори́л: конфекты за мной... да нет... я лучше вам браслет с брильянтами подарю.

Матрена Даниловна расцвела.

– А у вас прекрасный документик, моя прелесть... – продолжал Радунский. – Отчего вы, будучи столь прекрасны и благородны, не говоря уже-величественны, замуж нейдете? Такая великолепная девица, из такого блистательного рода, из-за царя Петра, трех аршин роста, двадцати лет и семи пудов веса, должна сделать отличную партию... княжескую...

– Ах, ваше сиятельство! – вздохнула Матрена Даниловна, садясь на своего обычного романического конька, – где уж мне? Сумела бы быть княгиней не хуже всякой другой, да не родилось еще князя на мою долю... В наше время подобные браки только в сказках бывают.

– Нет, отчего же?.. Попадаются дураки... ихнего брата, говорят, не орут, не сеют – сами рождаются. Да хотите, – я на вас женюсь? – вдруг вскрикнул Радунский, ударив себя по лбу, точно его осенила внезапная идея.

– Вот вы опять шутите!..

– Какое там шучу?.. – Радунский взглянул на улицу, где у подъезда топали его кони. – Серьезно, хотите?

– Полно вам, князь!.. обидно даже-вы жених другой...

– Что – другой? Вы мне нравитесь, я к вам в некотором роде пламенею. Анну для вас можно и побоку... Сама виновата: зачем не сидит дома. Говорят же вам: *qui va à la chasse, perd sa place*.

– Да хоть не конфузьте – переведите, что это за поговорка такая?

– Значит она: кто из дому гуляет, тот свое место теряет.

– Это почему?

– А потому, что кто-нибудь другой возьмет, да на это место и сядет. Вот, например, быть бы княгинею Радунскою Анне, а будете вы.

– Ах, князь, князь! Бог вам судья!

– Ну, если замуж не хотите, так хоть кататься со мной поедемте?

– Вдвоем? Это не принято, ваше сиятельство.

– Отчего же нет?

– О нас дурно подумают... Я бедная девушка... моя репутация.

– Репутация – вздор. Репутация – это у меня каурую пристяжную так зовут. А коренник – Скандал. Полно, не упрямитесь!.. Ведь мы не куда-нибудь в дурное место поедем, а именно в пустынь эту... как бишь ее зовут? – к вашим же скучнейшим Тригонным навстречу... Ступайте – одевай-

тесь. Не то я завтра всему Елисаветграду расскажу, что вы по-французски не понимаете... Стыд-то какой! а?.. А если послушаетесь, то... Вам лошади мои нравятся?

– Еще бы не нравились, князь.

– Я вам эту пару серых подарю. Они пять тысяч рублей стоят... Продадите – целый капитал. Сам же и куплю обратно. Одевайтесь же... Мало? Пожалуй, берите и с коляской. Одевайтесь же!..

– Ах, Господи! что это за безумный человек такой?! – лепетала Матрена Даниловна, совсем сбитая с толку, а Радунский, насильно вытолкав ее во внутренние покои, шутливо закричал ей вслед:

– Матрена Даниловна!.. так и быть, и с кучером, только поскорее одевайтесь!

Четверть часа спустя они сели в коляску, а затем – ни князя, ни Матрены Даниловны уже никогда больше не видали в Елисаветграде. А месяц спустя после этого нового скандала, поднявшего на ноги весь город, Даннеброг получил с нарочным следующую почтительно-насмешливую записку:

Покорный приказанию своих бывших товарищей, я, согласно сточным смыслом их красноречивого приговора, *взял себе жену из-под крова господина Тригонного* и вступил в законный брак с девицею Матреной Даниловной Горлицевой, *с малых лет своих проживавшей под кровом г. Тригонного*, из дома коего она отправилась даже и к венцу.

Готовый к услугам вашим

Кн. Александр Радунский

Село Волкояр

Дорого заплатил князь за минутное наслаждение посмеяться над товарищами. С ним даже не дрались.

– Таких господ не ставят к барьеру! – решил Даннеброг, – их надо или истреблять, как бешеных волков, или – презирать... А ставить на карту свою жизнь против их позорной жизни – слишком много чести!

III

Дикою женитьбою и почти произвольною отставкою служебная карьера Радунского, разумеется, была в прах разбита. Громадных денег и усилий стоило ему шевельнуть своими петербургскими старыми связями, чтобы дело замялось и забылось, чтобы возмездие за его выходку не ограничилось только разбитою карьерою. Старый слабоумный дядя Радунского, князь Исидор, в монашестве Иосаф, сам ездил в Питер из своей глухой орловской пустыньки молить за племянника и, может быть, если бы не уважение к нему, не помогли бы ни деньги, ни связи. Иосаф жил на свете выродком семьи, искупительной жертвой за ее грехи. Кротость и простота этого монаха были истинно евангельские и создали ему заживо репутацию святости – гораздо более основательную, чем многие более громкие репутации этого рода. Сам вели-

кий постник, он был чужд аскетической нетерпимости, умел снисходить к слабостям ближнего – и из братии, и между мирянами. С последних он даже за посты не взыскивал строго. В один из своих деловых петербургских наездов Иосаф встретился с знаменитым Фотием, который, с обычной ему грубостью, принялся кричать:

– Ответишь ужо, ответишь Богу за своих чревоугодников! Отолстели они у тебя, сердца их одебелеша. Жрут – ровно бы, прости Господи, псари шереметевские!

– Ваше высокопреподобие, – смиренно возразил наивный Иосаф, – что за беда, если мои иноки и покушают в smak? Зло не от пищи, но от дурного сердца. Вот, – осмелюсь вам доложить для примера, – бес никоша не пьети не ест; а сколько пакости народу творит!..

И все монастырское служение Иосафа проходило в том – как бы этому извинить, того помиловать. Просительский же талант его был необычайно велик: он умел умягчать и укланивать самого неодолимого Филарета Московского и смело шел плакаться и кучиться за «грешников» даже в те суровые дни, когда – по консисторской поговорке – грозный аскет-владыка «одну просфору съедал, да семью попами закусывал». И любили же Иосафа его грешники.

– Простец, я к тебе! – кричал, кружа по шоссе у монастырских стен на разубранной лентами тройке, штрафованный архимандрит Амфилохий. – Открой беглецу святые врата! Чертог твой вижду, Спасе мой! Снимай с меня мое окаян-

ство. Мерзит! Весь в гною бесовском, весь... Омой мя ба-
нею молитвенною.

А сам пьян, кучер пьян, лошади – и те, кажется, пья-
ны, шатаются, в пене от дикого бега. Трагическая натура, да
и судьба, досталась Амфилохию. Родственник митрополиту
Филарету Амфитеатрову (киевскому), он был честолюбив и
обладал всеми правами на честолюбие. Красавец собою, ум-
ный, образованный, с блестящим знанием языков, опытный
полемист-богослов и красноречивый проповедник, он сам
мог рассчитывать на митрополичью карьеру. Но фотиевская
эпоха разбила мечты Амфилохия, а самого его загнала в за-
холустный монастырь, в епархию сердитого и невежествен-
ного архиерея, который ненавидел Амфилохия за ученость,
почитал его масоном и упек под суд; а по суду Синод, хо-
тя Амфилохия оправдал, но определил ему жить «под нача-
лом» в орловском монастырьке, ближнем к пустыньке Иоса-
фа. Жил Амфилохий тихо и мрачно, писал какое-то огром-
ное догматическое сочинение, монах был строгий и пользо-
вался большим уважением. Но раз или два в год на него на-
ходили бесы. Стены монастыря начинали его давить. Он яз-
вил игумена, братию, все монашество, больше же всех – са-
мого себя, зачем он погубил себя под рясою?

– Я бы Сперанским мог быть, – стонал он, крутясь по ке-
лье, как лев в клетке, – а вот – не угодно ли? Только вижу
черные рясы, только слышу колокол...

После миллиона терзаний Амфилохий исчезал из мона-

стыря и проводил недели две в жестоком загуле. У него была страсть к лошадям, и вот, переодетый купцом, он носился по губернии на бешеных тройках, швырял деньги, выпивая сам и спаивая встречных знакомцев и незнакомцев. Мягкий характер спасал его от скандалов. Хмельной, он не буянил, а только декламировал байронические стихи, насмехаясь над своею судьбою, и – точно хотел умчаться от нее за тридевять земель – мучил коней и ямщиков дикою скачкою. Когда загульный стих спадал, Амфилохий ехал к Иосафу отбывать тягостное покаянное похмелье, а тот водворял уже вытрезвленного грешника в монастырь. Игумен начал Амфилохия – и все входило в обычную колею, до нового загула – как раз, точно на грех, в самые постные дни, когда мирские соблазны и мысли менее всего приличны монаху. Однажды его угораздило прорваться – в пятницу на Страстной неделе! Игумен только руками всплеснул:

– Нашел время!

И, когда Амфилохий отбыл загульный срок, игумен сильно ему пенял:

– Помилуй, отец! Какой же ты после этого выходишь веры?

– Я-то, грешник, веры христианской, православной, – угрюмо возразил Амфилохий, – ну, а вот другой-то... тот, кто в меня посажен и на пакости подбивает, – уж не знаю, какой веры... собачьей что ли, анафема, сатана, чертов сын!

Привычный снисходить к посторонним, Иосаф снизошел

и к грехам племянника. Благодаря его вмешательству, за князя Александра вступилась известная ханжа графиня Анна Алексеевна Орлова (та самая «благочестивая жена», о которой Пушкин острит, что она «душою Богу предана, а грешной плотию архимандриту Фотию»). Она повлияла на всеильного Бенкендорфа, а тот сумел доложить царю дело Радунского в таком искусном повороте, что Николай только презрительно поморщился.

– Где же теперь обретается этот сударь? – спросил он. Бенкендорф доложил, что в своем родовом поместье, Костромской губернии, называемом Волкояр.

– Там ему и место.

Бенкендорф, организовавший в то время корпус жандармов, мечтал облагородить это незавидное учреждение, привлекая разных неудачников или неразборчивых карьеристов из громких фамилий. Он намекнул, что не воспользоваться ли Радунским? Но император сухо отверг:

– Не надо мне службы Радунских. Пусть наслаждается тем жребием, который выбрал.

Счастье Александра Юрьевича, что его елисаветградская история разыгралась уже не на глазах князя Юрия Романовича. Иначе злобный старик, конечно, не пожалел бы стараний, чтобы упечь ненавистного сына под царский гнев и – уже бесповоротно – под красную шапку. Князь Юрий умер скоропостижно, после какого-то торжественного соседского обеда, оказавшегося чересчур тяжелым для его старческо-

го желудка. Приехав домой, сел в кресло, заснул, да и не проснулся, прихлопнутый кондрашкой. Впрочем, деревенская молва шептала, будто кондрашка тут не при чем, а просто – горничная девка Маланья, незадолго перед тем за красоту взятая с деревни в девичью, от жениха и семьи, стакнулась с казачком Фомою, у которого, уже в восемнадцать лет, не хватало половины зубов, выбитых княжескою десницею; они пробрались к сонному князю и придушили его подушками. Но, если и впрямь было так, преступники обделали свою работу чисто: следствие не открыло никаких улик против них. Маланья и Фома даже не были оставлены в подозрении и не только не впали в немилость у наследников, но еще попали в любимцы.

– А, впрочем, – шептались соседи, – может быть, именно потому – за подушку-то – и попали. Черт ли их, Радунских, разберет! Их, по человечеству, и судить невозможно: что хорошо в них, что дурно, – во всем, как звери.

Въезд в столицы князю Александру был строжайше запрещен. Даже о выездах своих в другие поместья, если они были за пределами губернии, князь должен был сообщать губернатору, а тот отписывал в Петербург. Слово Николая было крепко, и свое решение казнить князя Александра Радунского им же самим, князем Александром, царь выполнил безуклонно. А! Ты сам бросил службу, пренебрег карьерою, милостями – сделай одолжение. Задыхайся же заживо в лесном гробу, в тридцать лет, от обилия собственных кипучих сил и

круглого бездействия, по вольности дворянства. Сам выбрал дуру-жену чуть не из сенных девок, – пусть же она висит у тебя на шее, как семипудовая гиря! Сам сослал себя в Волкояр, – ну и сиди безвыходно в трущобах его, дичай, тупей, глупей, опускайся, как черт в болоте.

На первых порах князь Александр Юрьевич чувствовал себя на глухой Унже весьма недурно. В девственном просторе своих лесных владений он зажил самовластным азиатским ханом, деля время между псарнею, конскою охотою и крепостным гаремом. Волкояр, с появлением в нем Радунского, стал предметом трепета для соседей и отчаяния для уездных властей.

Глушь была страшная, лешища непроходимые.

– Нас черт три года искал да искалку потерял! – хвалились волкоярцы.

– Наша сторона – потерянная: к нам и Пугач не бывал, и француз не забредал.

– По ту сторону леса – Николай, а по сю, у нас, еще – матушка-царица.

И, действительно, пробравшись через топи лесных проселков, измученный путник попадал в условия быта и нравов, о которых давно уже забыла Россия, затянутая девятнадцатым веком в офицерские и чиновничьи мундиры с светлыми пуговицами. Не то что екатерининским веком пахло, но даже веяло нечто, как бы от Алексея Михайловича. Крестьянство, сильное и богатое, жило по старине. Раскол дер-

жался крепко и властно. Мир стоял, как стена нерушимая, – включительно до самосудов, которые принимались обычаем паче писаного закона, и даже помещики считались с ними. Земля, деньги, хлеб сливались в общих понятиях и названиях. Когда волкоярец говорил «рубель», это обозначало не монету, но земельную меру – больше десятины. Копейкою звали 250 саженьей, а дальше шли «деньга» и «пирог». Меряли мирскою веревкою и мирскою совестью. Делились каждый год и до того доделились, что от межевого хаоса уходил и в чашу, плюнув на обработанные площади, чистить лес кулигами. В дремучих лесах водились медведи и жили разбойники. На Унже разбойничал Фаддеич, на Немде – Ухорез. Дворянство на местах жило мало, а которое жило, было мелкопоместное, бедное и не только необразованное, но часто даже вовсе безграмотное и омужичившееся на тяжелом хозяйстве, без рабочих рук: не в диво были столбовые, которые сами землю пахали. Наивность общественных понятий, правовых представлений, простота грубых нравов и смешение сословий шли так глубоко, что, например, некая помещица, Акулина Х., владельница семи душ, преспокойно вышла за одну из этих душ замуж и, таким образом, оказалась сама у себя крепостною, потому что перед свадьбою побоялась отпустить жениха на волю. Несколько лет спустя она продала свое именье, вместе с людьми, сутяге-соседу, а тот при вводе во владение потребовал, на законнейшем основании, в числе проданных душ, и самое Акулину с детьми. Суд пред

плутом этим оказался совершенно бессилён, и только униженные просьбы всего дворянства с губернским предводителем во главе выручили злополучную дуру из кабалы, в которой она застряла. Были дворяне, ходившие по старой вере. Поговорка «где нам, дуракам, чай пить!» для некоторых семейств была совсем не шуткою, ибо многие из «диких бар», в самом деле, не умели ещё обращаться с китайской травкою и угощение ею в чужих людях принимали, как мучительнейший экзамен и пытку.

В смиренной, истинно болотной среде этой князь Александр Юрьевич загулял, как журавль на лягушечьем царстве. Магнат-сосед для мелкой дворянской сошки был гораздо более ощутительною силою, чем губернские власти, отрезанные от залесья почти совершенным отсутствием дорог.

– Об Успеньи рожа разбита, а суда у Николы проси! – твердила обывательская мудрость, справедливо намекая, что, покуда не покроют дорог декабрьские снега и не скуют хлипкую землю Никольские морозы, ползти подволою в уезд ли, в губернию ли с жалобою на обидчика по тем путям, на коих черт искалку потерял, – себе дороже. Не то что обыватели, даже попы с требами и земская полиция на убойные дела и мертвые тела месяцами не попадали в иные благословенно-медвежьи углы, отписываясь распутицею и бездорожьем.

Мелкопоместное дробление и чересполосица спутали земельные отношения в уезде страшно. В действительности

все было широко, а по праву – все узко, жили на крупном узком захвате, а на бумаге стояло мелкое и спорное. Перепутались владения, а во владениях – господское и крестьянское. Границ и меж не знали, земля и лес считались свободными; где кто вырубил, выжег, вычистил лес, тот тому и был хозяин. Даже духовенство не имело особой земли, но, как и крестьяне, владел каждый причетник там, где зачистил лес дед или отец. Крестьяне, не хуже помещиков, отдавали зачисти и луга в приданое за дочерями. Вдовы с детьми наследовали покосы от мужей. Смешанность прав и общность пользования были настолько широки, что не только крестьянин, но и помещик на Унже широко открывал глаза, когда какой-либо чужак начинал ему доказывать, что рубить чужой лес есть нарушение собственности и преступление:

– Чай, лес-то – Божий дар! Не мы сеяли!

Единственный крупный землевладелец, хозяин настоящих латифундий, князь Александр Юрьевич, находил этот патриархальный хаос весьма приятным, удобным и выгодным. Он знать не хотел никаких размежевок и, благо, к огромной площади его Волкояра тянулись, как к естественному центру своему, дробные земли маленьких помещиков, устроил из их спорной путаницы буквально владетельное герцогство какое-то и верховодил уездом, как хотел. Стать под его высокую и щедрую руку для многих соседей оказывалось гораздо выгоднее, чем вести свое собственное хозяйство, но зато уже надо было молчать и терпеть, ес-

ли князю приходила фантазия, проскакав охотою, вытоптать чужое поле или хмельник, снять соседский сенокос, загнать, под предлогом потравы, соседское стадо. Впрочем, это были еще шалости. Иногда князь Александр не стеснялся захватывать или, по крайней мере, делал вид, будто захватывает целые пустоши. Приехал к нему однажды мелкопоместный сосед, Андрей Пафнутьевич Хлопонич.

– Что это, ваше сиятельство, вы строить задумали?

– Баню новую, Пафнутьич, баню... А что?

– То-то ваш управляющий прислал вчера в мою рощу мужиков с топорами... ничего, достаточно даже оголили... дубков до сорока.

Князь нахмурился:

– Что ты врешь, Пафнутьич? Какая твоя роща?

– А Синдеевская, ваше сиятельство, которая на взгорье.

Князь затапал ногами.

– Свинья! Каналья! С каких пор она твоя? Муфтель! Возьми его за шиворот, сведи в контору, покажи план... Ах ты, глухарь! Синдеевская роща была наша еще по екатерининской размежевке... Деды и прадеды мои ею владели. А ты, лопух...

– Батюшка! Ваше сиятельство! – униженно закланялся Хлопонич. – Не извольте беспокоиться! Разве я спорю? Ваша Синдеевская роща, разумеется, – сам говорю, что ваша. Люди по здешним местам без разума живут: как мое пользование рощею очень давнее, приобвыкли к глупому обычаю,

будто бы моя. А ваша роцца! Искони ваша!.. И мы ваши, и все наше – ваше...

Нахмуренные брови князя раздвинулись.

– Так-то лучше, – сказал он. – За то, что ты не стал упорствовать против моего слова и с покорностью принял мою волю, оцени срубленный лесок во сколько сам захочешь, а я прикажу Муфтелю, коли оценишь по чистой совести и правой цене, – заплатить тебе вдвое; если же дорого запросишь, быть тебе, во-первых, от меня битому, во-вторых, требуй тогда денег с меня судом... Ищи ветра в поле!

Раболепствуя и предавшись всецело на княжеский произвол, этот Хлопонич сильно нажился при волкоярском магнате.

Однажды князь, шутки ради, приказал загнать стадо Хлопонича с его собственного луга на свой скотный двор и стал требовать за потраву.

Хлопонич беспрекословно привез деньги. Князь расхохотался:

– Дурак! за что ты платишь?

– За потраву, ваше сиятельство.

– Какая же может быть у меня потрава, если я велел загнать к себе твой собственный скот с твоего собственного луга?

– Помилуйте, ваше сиятельство, как не быть потраве? Ведь ваши пастушонки-то загоняли мою скотину по вашей земле... ну, кое помяли, кое пощипали. Я так и понимаю,

что вы изволите с меня взыскивать за эту именно потрапу, а не за какую-нибудь другую. Смел ли бы мой скот самовольно на ваши лужки забрести?

Шельма был, что называется, трехпробная и, что касается кляуз, юрист тончайший, лютейшего приказного мог в чернильницу загнать. Это именно он, Хлопонич, закрепостил было похолопившуюся дворянку Акулину Х. Штука эта, между прочим, понравилась князю Александру Юрьевичу необыкновенно. Чуть ли не с нее и начался у него фавор Хлопонича. Да еще силою своею богатырскою Хлопонич его покорял. Был маленький, лысый, красный, но телом совсем квадратный и – со спины смотреть, словно встал на задние лапы небольшого роста медведь. Мускулы же у него были такие: засучит левый рукав по плечо, вытянет голую руку, напряжит, а правую рукою возьмет кочергу железную и колотит ею по левой руке, покуда кочерга не согнется. А то – на пирушке – в подпитии на пол ляжет и предлагает:

– Господа дворяне, неудобно ли? Пляшите по мне, сколько кому охотно!..

И плясывали, и – ничего ему, черту лесному! Встанет, отряхнется, выпьет чайный стакан французской водки, – и хоть опять готов за то же. Пить мог столько, что компанию с ним вровень выдерживать умел во всей округе только вдовый гигант-протопоп, настоятель уездного собора. Но никогда никто ни того, ни другого пьяными не видывал, – только краснели, как раки, дымились лысынами и, чем больше

наливались, тем умильнее беседовали об «Экклезиасте», книгу коего оба знали наизусть. Оба друга были даже не пьяницы, а какие-то энтузиасты, любовники водки. Спрашивали любопытные Хлопонича:

– Сколько водки вы в день выпиваете?

Задумывался.

– Не знаю-с, – говорит, – не считал. Да, полагаю, и счастье затруднительно. Ибо известно мне одно: закусывать я имею обыкновение, как вам известно, единственно сушеным горохом. Рюмка – и горошинка. Стаканчик – две горошинки. По положению. Так – с утра мне жена горохом оба жилетные кармана полнехоньки насыплет, а к вечеру – особенно в праздник, – глядишь надо и повторить.

Протопоп тоже не считал количества поглощаемой си-
вухи, но имел другую приметку. Дом у него был – старые барские службы, подаренные собору под «поповку», то есть квартиры духовенства, еще князем Романом Федотовичем Радунским, – длинный-предлинный дом, – как фабрика, комнат с десятков, одна за другой. Стояли они почти без мебели, неприветные и пустые, но посреди каждой возвышался круглый стол, на столе – поднос, на подносе – графин, в графине – водка, а подле – одинокая рюмка. Закуска же, то есть черный хлеб и крошево из соленых огурцов, ставились лишь при одном графине – в первом зале, где протопоп принимал гостей. Отслужив обедню, остальной день протопоп проводил в том, что, заложа руки в карманы подрясни-

ка, маршировал насквозь всех комнат взад и вперед по длинному своему дому – приостанавливался у каждого столика и выпивал. Закусывал же, лишь сделав полный марш туда и обратно. Обычную дневную порцией протопопа было – чтобы графины иссякали впервые к вечерням, а вторично налитые – по ужине, к отходу на сон грядущий. Но нередко выпадали дни, что опустошались и три перемены. При этом, – за исключением первого графина, с закускою, который ставился на произвольного и, благодаря участию в его опустошении каждого приходящего гостя, шел, так сказать, не в счет абонементу, – остальные приходились почти исключительно на долю отца протопопа. Так – изо дня в день! Хлопонич и протопоп были ровесники. Хлопонич умер семидесяти пяти лет, протопоп – восьмидесяти двух.

Смерть Хлопоничу приключилась в конце шестидесятих годов, именно от привычной забавы его: «Кому в охоту? Пляши по мне, господа!..»

Выдавая замуж любимую внучку за сибирского золото-промышленника, разгулялся он на свадьбе и – предложил этот любимый свой опыт новой таежной роденьке. Не сообразил, однако, что у сибиряков сапожищи еще увесистее, чем у дикого костромского дворянства, а дело-то было после сытнейшего и жирнейшего обеда. Главное же: что сходило с рук в сорок и пятьдесят лет, не так-то легко сходит в семьдесят пять. Впервые в жизни заболел Хлопонич, и свалила его хворь в постель. Лечили его очень усердно: преимуществен-

но обкладывая грудь и брюхо – «под вздох» – живыми щенками. Когда не помогло, дошли в прогресс до того, что пригласили врача и даже согласились созвать консилиум. Врачи определили у Хлопонина заворот кишок. В старину против этой болезни знали один способ лечения – механический. давали больному глотать ртуть, уповая с наивностью, что либо тяжесть ее «развернет кишки», – и больной пойдет на поправку, либо ртуть «станет колом» – и больному аминь. В Хлопониче ртуть стала колом. Он сразу почувствовал в себе смерть и потребовал к себе друга своего протопопа.

– Ау, друг любезный, умираю!

– Ну что ж, Андрей Пафнутьевич! Ничего, пожили. За пол-осьма десятка перегнули: хоть кому. Поди, и я скоро вас нагоню старыми ногами.

– Ты, батя, меня не забудь, – поминай!

Прятели были.

– Как можно вас забыть, Андрей Пафнутьевич? Что ни буду пить водочку, то и помяну.

– А на похоронах моих, отец, ты – уж будь ласковый, уважь: от могилки последним уйди. И бутылочку с собою захвати в кармашке. Как останешься один у могилки-то, – помолись за грешную душу новопреставленного раба Божия боярина Андрея, бутылочку открой, сам глотни и мне – в могилку-то свежую тоже – кап, кап, кап!..

Зарыдал протопоп:

– Слушаю, Андрей Пафнутьевич! все исполню, друг ты

мой сердечный, единственный. И тебе в могилку – кап, кап, кап!

– И на девятый день тоже, батя!

– И на сороковины!

– По родительским субботам... на Радуницу... не откажи...

– Будь спокоен, Андрей Пафнутьевич, помирай себе с миром! Покуда я жив, лежи – не унывай, голубчик: без водки не останешься. Во все дни поминовения я тебе – кап, кап, кап!..

Схватили Хлопонича последние муки. Столпились у одра молодая жена, дети от трех браков, внучата. Воют. Старший сын нагибается к умирающему: у Андрея Пафнутьевича в глазах просьба и губы дергаются.

– Что прикажете, папенька?

И внял даже не шепот, а как бы ветер дыхания откуда-то из глубочайших недр легких:

– Стаканчик бы, и папиросочку закурить...

Смотрит сын на врача:

– Можно?

– Чего нельзя? Всю жизнь было можно, так теперь и по-давно!

Выпил Хлопонич водки, папироску ему в губы воткнули, – улыбнулся сладостно, папироска покатилась по подушке – голова свесилась, – икнул – и помер!

Женат был Хлопонич вторым браком на бедной дворяночке из рода Тузовых, женщине редкой красоты. Злые языки

толковали благоволение князя к мужу красавицы, конечно, тем, что жена-де княжая метресса. Это было неверно. Авдотья Елпидифоровна Хлопонич была женщина прекраснейшая, верная супруга, добродетельная мать, – прожила жизнь, чистая, как стеклышко, и таковою же в гроб сошла. Много лет спустя, после ее кончины и смерти князя Александра Юрьевича, Хлопонич, уже в третий раз женатый «для хозяйства», богач и сам первая сила в уезде, наивно хвастался, как он в свое время уберег жену от ненасытных очей волкоярского насильника:

– Он, знаете, терпеть не мог женщин, – с позволения вашего сказать, – в интересном положении. Так, дорожа его благодеяниями, но в то же время трепеща его природы, мы с Дунечкою так уж и взяли за правило, чтобы он и не видал ее иначе. Детьми нас Бог, и в самом деле, не обидел, а в праздные годы Дунечка обкладывалась подушками. Чуть, бывало, к нему ли в гости, сами ли завидим из окна с горы, что он к нам жалует, Дунечка сейчас же бежит в спальню и – подушку на себя навертит. Плачет, бедная, потому что – легкое ли дело молодой женщине, без нужды, портить себя этаким безобразием? Да и жарко же до нестерпимости, особливо, если в летнее время. А ничего не поделаешь, потому что с ним, соколиком, только зазевайся!.. А уж что страха мы терпели, чтобы не воззавидовал кто-нибудь со злобы, не открыл бы ему хитростей наших: ведь премстительный был на это – если кто его одурачит!.. со света бы сжил! Однако Бог

милостив, обошлось. Так и в могилку сошел, царство ему небесное, не дознавшись. Только посмеивается бывало: «Авдотья Елпидифоровна! объясните ваш секрет: почему вы с Андрюшкою плодитесь, как кролики, а у нас с Матреною – одна девчонка?»

Жену Хлопонич уберег, но зато однажды устроил ему князь Александр скандал, тоже по романической части, и уж куда не лестный и малорадостный.

Справлял Хлопонич именины и дождался чести: пожаловал к нему на обед князь Радунский – дорогим гостем, во всем своем магнатском величии: с псарями, охотниками, песенниками, хором музыкантов. Сам в санях, свита верхами, – царь царем! Вошел – на мужчин глянул орлом, на дам – соколом. За обедом был весел, изрядно пил: ящик шампанского с собою привез, откупорить велел. Вот когда подали деревенское желе с пылающею свечкою внутри и захлопали в честь именинника пробки на бутылках с шипучим, князь вдруг и говорит Андрею Пафнутьевичу:

– Слушай, круглый черт, толстоносый именинник! Не думай, что я от тебя хочу отъехать на одном шампанском. Сделаю тебе для дня ангела подарок, – только сумеи отдарить.

Согнулся Хлопонич в три погибели.

– Подавлен, – говорит, – я милостями вашего сиятельства. Что ни придет от вас – благодеяние ли, казнь ли – все должен принять с одинаковою радостью, потому что на небе – Бог, в России – царь, а над нами, ничтожествами, – вы, сиятель-

нейший князь. Но отдавать вашему сиятельству – подобной смелости я, маленький человек, не то, что взять на себя, но даже и вообразить не смею, потому что понимаю себя сравнительно с вашим сиятельством не иначе, как песчинкою или маленькою капелькою воды пред солнцем, в небе сияющим.

– Ладно, – усмехнулся князь. – Коли так, я сам выберу. А дар мой тебе будет не малый: владеть тебе, Андрею Хлопоничу, Пафнутьеву сыну, Мышковскими хмельниками отныне и до века, пожизненно и потомственно.

Что было людей за столом, все так хором и ахнули. Мышковские хмельники считались лучшими по уезду: тысячный доход! Сразу князь Радунский Хлопонича в крупные землевладельцы произвел, почти богатым помещиком сделал. Сколько ни был Хлопонич лиса и пройдоха, кремень тертый, привычный быть на возу и под возом, но и его приглушило неожиданным счастьем. Так что – чем бы благодарить, стоит истуканом: глазами хлопает, губами шевелит, головой кивает, как болван заводной, а речи нету. А князь сидит довольный, лицо красное, стеклышко в глазу, моргает густым усом:

– Что ж, – говорит, – я свое дело сделал. Теперь ты отдавай, полосатый черт!

Взвыл Хлопонич:

– Ваше сиятельство! Нет моих средств и сил! Одно сказать дерзаю: не имею ни на себе, ни в себе, ни при себе ничего такого, что вам не принадлежало бы. Повелите мне: «Хло-

понич! возьми нож, разрежь себе живот, выпусти кишки», – минуты не промедлю!

– Фу, – отвечает князь, – выдумает же ослина! На что мне твоя падаль? Нет, ты – вот что. Давеча, входя, – видел я, – висела медвежья шуба. Хорошая шуба. Так вот, не угодно ли: ее мне подай!

Захохотали гости: в духе князь, милостивые шутки шутит. У него шубами-то гардеробы ломаются: соболи, бобры, – на что ему медведь Хлопонича? В медведях князь своих выездных лакеев на запятки саней ставит. Но князь повел стальными глазами, крутит ус, – смехи-то и смолкли.

– Чему вы смеетесь? Хочу шубу, – значит, и волокни сюда шубу. На это самое место. Сию минуту. Ну!

Тут уже, конечно, сам Хлопонич опрометью бросился за шубою, а князь тем временем вынул из жилетного кармана свисток серебряный, – свистнул, – и вот, входят в горницу, прямо к столу, как обломы, четверо его псарей.

– Держите, ребята, шубу шире!

Встал, взглянул по женской стороне стола и – пальцем указательным, с брильянтом на нем стотысячным, как молнией сверкнул:

– Возьмите в шубу вот эту барышню и несите ее в сани. Музыка! Играй!

И вышел. А псари понесли за ним, в шубе, – обомлевшую, безгласную, бесчувственную, – молоденькую свояченицу Хлопонина, Ольгу Елпидифоровну, юную красавицу,

девушку-снегурушку, с белою косою до пят, и глаза – как васильки.

Сунулся было за ними ошалевший, растерянный Хлопонич.

– Не провожай, Пафнутыч. Мы с тобой квиты. Загляни в контору: Муфтель твое дело оформит.

А музыка во дворе гремит – марш из Спонтиниевой «Весталки».

Все еще думали: шутит, морочит спьяну головы пьяным... Нет, положили девушку в сани. Сам сел, ястребом озирается. Вершники ордою вскинулись, бросились, на коней взметались, джигитуют по двору, на воздух стреляют, «ура» кричат. Свист, гиканье, визг... поминай, как звали! Только и видели голубку Ольгу Елпидифоровну! Умчал – и по следу лишь снежные вихри радужными облаками разыграли, да долго еще ветер по морозу доносил медным воем Спонтиниев марш.

Скандал по губернии разразился страшный, хотя Хлопонич, в ужасе за судьбу подаренных хмельников, сам же метался по дворянству, моля не делать шума и не поднимать истории, уверяя, будто вся сцена была разыграна по обоюдному согласию похитителя и похищенной, а он не препятствовал потому, что «князь – известный чудак и любит, чтобы было, как в романах». Тем не менее, а, может быть, даже именно потому, что Хлопонич суетился, – уж очень многих брала зависть на хмельники! – губерния смутилась, Пе-

тербург аукнулся, власти встрепенулись, жандармский штаб-офицер залюбопытствовал. Предводителю дворянства предложено было спросить от князя Радунского объяснений. К себе вызвать князя предводитель, – к тому же кругом ему обязанный по выборам, – конечно, не решился. Пришлось, кляня судьбу свою, волнуясь и трусая, самому ехать в Волкояр. Радунский принял предводителя с отменной любезностью, а когда генерал, после долгих экивоков, заикнулся, наконец, по какому, собственно говоря, щекотливому делу он приехал, – Александр Юрьевич смерил его превосходительство стальным взглядом и расхохотался.

– Вы любопытствуете знать, на каком основании проживает у меня девица Тузова? Да спросите ее самое, – она недалеко и, слава Богу, живой человек... Эй! Лаврентий! Попроси сюда Ольгу Елпидифоровну.

Вошла белокурая красавица...

– Вообразите, – рассказывал потом предводитель, – волосы как лен, самый чистейший блондин, а глаза – никогда подобных глаз не видывал! – ну вот, словно сукно на жандармском мундире. И вся изумрудами обвешана: серьги, кольцо с фермуаром, кольца... все – изумруды! вот какие!

Ольга Елпидифоровна объяснила очень спокойно и флегматически, что от князя она никаких обид себе не видала, а, напротив, глубочайше благодарна ему за его к ней, сироте, благодеяния; что в доме князя она пребывает в качестве вольнонаемной чтицы при княгине Матрене Даниловне; что,

наконец, если князь позволил себе пошутить на именинах Хлопонина немножко вольно, то эту вину она, девица Тузова, ему давно простила и очень сожалеет, что злые люди истолковали случай этот в дурную сторону.

Таким образом, жалобщиков не оказалось, и дело погасло за неимением пострадавшей стороны.

Князь же, провожая предводителя, полумертвого после двухдневного пира, рекомендовал ему барышню Тузову в самых трогательных и ярких выражениях.

– Прекраснейшая девица, ваше превосходительство. Мы с женою бесконечно ею восхищены. Думаем замуж ее выдать. Составит счастье каждого мужчины. Ба! Вот кстати: я слышал, что к нашему губернатору сын-кавалергард приехал в отпуск. Говорят молодчина. Вот бы – женился? а? За приданным не постою.

Предводитель, валясь в возок под меховые попоны, только рукой махнул.

– Неисправим, хоть брось!

Так и разрешилась мирным путем собравшаяся было гроза, оставив по себе единственный след, – что губернские остряки прозвали Хлопонича – Хмельницким, и эта кличка гналась за ним уже до самой смерти. Ольга Елпидифоровна пользовалась благосклонностью князя года полтора. Когда надоела, Александр Юрьевич сплавил ее – во всех изумрудах и с очень хорошим денежным приданным на Москву, где ее, действительно, превосходно выдали замуж за весьма солид-

ного чиновника по почтовому ведомству. Всего любопытнее, что едва ли похищенная барышня Тузова, равно как и Авдотья Елпидифоровна, жена Хлопонича, не были родными, хотя и внебрачными сестрами князя Александра, так как родительница их была у покойного князя Юрия в несомненном и долгом фаворе. Впоследствии Зинаида, дочь князя от Матрены Даниловны, поражала своим сходством с Ольгой Тузовою, хотя и не была так хороша собою. Знал ли князь об этой возможности, когда увез Ольгу, а Авдотья лишь маскаррадом беременности спасалась от его донжуанских притязаний? Хлопонин впоследствии уверял, что не знал. Но другой много ближайший к князю человек, верный его управляющий Муфтель, лишь возражал задумчиво:

– Знал ли, не знал ли, – что из того? Не таков был мальчик, чтобы обрывать в узду свою натуру.

Но мало того, что князь сам причудничал и дурил, заходя далеко за пределы, допускаемые законом и добрыми нравами, он имел еще странную страсть – принимать под свою защиту всякий подозрительный народ; стоило только поссориться с земскою полицией, чтобы рассчитывать на поддержку Радунского. Сам он никогда не прибегал к помощи местных властей:

– Я, как сицилианец: за обиду взыщу сам, а судиться за подлость почитаю.

– На что ты нужен? – говорил он местному исправнику, большой-таки и весьма неглупой шельме из разоренных, сев-

ших на полицейский пост, чтобы исправить состояние. На что тебя дворянство избрало и царь хлебом кормит?

– Ах, ваше сиятельство, неровен час, пригодимся и мы вам. Маленькая мышка в басне сочинителя господина Крылова перегрызла тенета царя лесов-с...

– Это ты говоришь напрасно. Я тобою не брезгую. Все люди одинаковы, и все – дрянь. Вот – обедать тебя позвал. Сижу с тобою за одним столом, и ничего, не тошнит. Только не вижу надобности ни малейшей в тебе со станowymi твоими, зачем вы существуете в природе.

– Вот-с? А для порядка?

– Суета от вас по уезду, а не порядок. Куроцапы вы.

– Ах, ваше сиятельство! Обидные ваши слова.

– А если обидно, – зачем ты ко мне ездешь?

Исправник знает, чем князя взять, – сейчас же шшутует:

– Затем-с, что стол французский очень люблю. Хорошо кормите-с. В нашей глуши только и поесть сладко, что у вашего сиятельства.

Хлопонин подхихикнет:

– Врет! Все врет, ваше сиятельство! За оброками ездит. Оброк ему у Муфтеля в конторе приготовлен... в пакете... особенный.

– Уж и оброк! Уже и в пакете особенном! Ах, Андрей Пафнутьевич!

– К концу трехлетия в особенности учащать изволит, – дразнит Хлопонич, – на выборы-то без княжой протекции –

ну-ка! покажись!

Совсем развеселится князь Александр Юрьевич шляхетскими шутами своими, но свое твердит:

– Куроцапы! Сор вы человеческий! Помелом бы вас!

– Ваше сиятельство! – защищается исправник. – Но ежели, например, на вашей земле найдется мертвое тело?

– Что же? Поп Кузьма отпоет, а Муфтель пошлет рабочих зарыть.

– Без следствия-с?

– А кому от твоего следствия польза? Становому, лекарю да стряпчему. Покойнику все равно, по какой причине ни гнить, потому что мертвым телом хоть забор подпирай, хуже ему не станет, – мужикам же разоренье. В первом году, когда я здесь поселился, стали было пошаливать бродяги во-круг Волкояра. Голенищев, солдат беглый, да Артем Брусок с товарищами. То клеть сломают, то корову угонят, то бабу обидят. Я выгнал в лес Муфтеля с охотничьей командой – изловили четырех молодчиков. Я и поговорил с ними по душе: вы что же это делаете, черти? Когда вы видели от меня какую-нибудь обиду? Коли вы голодны и холодны, то приходите честь-честью в контору, – там для вас припасено, но самовольничать на моих землях не смей! После этого Муфтель всыпал им каждому по двести лозанов, потом накормил их, водкою напоил, выдал по рублю серебра, и – ступайте на все четыре стороны. Уж как они благодарили меня за науку! И с тех пор как рукой сняло: у соседей шалят, у меня – тихо, по-

тому что русский человек и в разбор умен. Видит, что я ему не враг, и сам меня милует. Вон мой Муфтель долго жил в Сибири, так рассказывал мне, что там умные хозяева из крестьян кладут на ночь за оконницу хлеб – для варнаков. У одного такого хозяина пропала лошадь. Он подстерег какого-то варнака и пожаловался ему на пропажу: вот как ваша братия обижает меня за мои же хлеб-соль. Что же ты думаешь? И лошадь назад привели, и обидчика словили, да, разложивши у костра, кишки ему на кол и повымотали. Знай, мол, сволочь, каторжную совесть, – не обижай своих, не порочь варнацкую честь! Ты один шкодишь, а все за тебя отвечай?! Так-то, господин исправник. Во всей губернии и есть хороший порядок, что у меня в Волкояре. Именно потому, что я вашей братие, чинушкам, у себя хозяйничать не позволяю. Нет большей ненависти, чем народ питает к подьячему семени, к подлой волоките вашей. Стало быть, стоит только не пускать вашего брата на свой порог, – тогда и порядок найдешь, и в уважении будешь, и во всем с мужиком безобидно поладишь... А не поладим – сам сокрушу, к тебе кланяться за помощью не поеду. Мои люди! Я им отец, и барин, и царь, и бог. А ты – которая спица в колеснице? Брось! Так-то, господин исправник. А к столу прошу. По делам объезжай Волкояр за версту до околицы, а к столу прошу.

В волкоярской конторе, в прихожей, на конике, всегда сидел казачок с мешком медных денег. Всякий просящий милостыню получал монету. Князь сердился, если к вечеру ме-

шок не опорожнялся, и слушать не хотел оправданий, что нищие не приходили...

– Этого не может быть, – говорил он, – нуждающихся в гроше всегда больше на свете, чем грошей. Мальчишка ленился или играл в бабки, вместо того чтобы раздавать милостыню... К лебедям его!

И беднягу запирали на ночь, полунагого, в чулан, где в зимнее время содержались выписные лебеди – летом украшение волкоярских прудов. Чулан был тесный, мальчик мешал огромным птицам; они злились и исхлестывали наказанного крыльями до синяков, да и пощипывали порядком. Ребятишки боялись этого наказания больше, чем розог.

В округе держался слух, – может быть, и ложный, но совершенно определенный и твердый, – что князь Александр Юрьевич не только был знаком лично с знаменитым Фаддеичем, последним мужицким богатырем и «справедливым» разбойником, лесным рыцарем Верхнего Пlesa, но даже не раз пировал с ним по притонам его и сам принимал Фаддеича у себя как почетного гостя. Вообще же, если приходилось к слову в беседе, князь отзывался о Фаддеиче с величайшим уважением и похвалою.

– Преполезнейший человек был. Чрезвычайно жалею, что его поймали и до смерти задрали в Костроме на кобыле. Если бы десятка два таких сермяжных Дон-Кихотов пустить по России, острастка разным подлецам получилась бы куца надежнейшая, чем от сенаторских ревизий, ныне назначаемых.

Сенатор все же чиновник, а всякого чиновника, как бы высоко ни стоял он по табели о рангах, всегда купить можно. Не деньгами, так бабой, не бабой, так протекцией, не протекцией, так страстишкой какую-нибудь – либо жрать горазд, либо пьет, либо картежник, либо собачей, а то коллекции какие-нибудь собирает: картины, табакерки. Ну, а Фаддеича не купишь, врешь, брат, нет! Он, прежде чем за топор-то взялся, может быть, годы вокруг себя на мир озирался, жалел людей, злость жизни видя, да ночи напролет плакал, пред иконами стоя, молясь, чтобы развязал его Бог – буйную силу и гневную волю с робкою совестью помирил бы. Он на разбой-то, бывало, едет, а сам крестится да молитву читает, – сам же и сочинил: «Не дай, – говорит, – пути неправого, не попусти греха обидеть вдову, сироту, убогого, но помози свободити насильника от излишков его...»

Большой любимец князя, хотя и вечный с ним спорщик, губернаторский чиновник по особым поручениям, Павел Михайлович Вихров, молодой человек, высланный из столицы за какую-то либеральную поэму или повесть, – возражал Радунскому:

– Почему вам это нравится, князь? Ведь вы же *libre penseur*⁶, в крайнем случае, деист – и до религиозных дисциплин не охотник?

Князь отвечал с надменностью:

– Мало ли от чего могу себя уволить я, князь Радунский!

⁶ Вольнодумец (*фр.*).

Меня к аристократизму свободной мысли с Дмитрия Донского семнадцать боярских поколений вырабатывали. Между мною и Божеством нет никого, и ничье посредничество неуместно. Мне религии не нужно, коль скоро я сам себе религия. Но, вообще, я люблю видеть людей религиозными. А мужика – в особенности. Вы в наши края, поди, опять – с раскольниками воевать пожаловали?

– Ах, уж и не говорите! – сокрушался, краснея, молодой чиновник. – Такие все гнусные дела поручают. Душа от них разлагается!

– Жаль. У раскольников с религией – куда крепче. По мне – хоть дыре молись, – есть тут у нас секта такая: так дыромолами и называются, – да веруй в нее, держись в ней за мирскую совесть какую-нибудь – и чувствуй, что держишься, и трепещи потерять.

В числе таинственных людей, принятых князем под свою властную руку, особенно выдавался егерь Михайло – по дворовой кличке Давыдок. Давыдок был верзила лет сорока пяти, с лица – хоть сейчас в разбойничьи есаулы, но души добрейшей и ума недалнего. В Волкояр он пришел откуда-то издалека, с воли. Что за Давыдком осталась в прошлом какая-то черная туча – никто не сомневался. Но какая именно, – никто не знал: во-первых, этого милейшего добряка все любили и не хотели обидеть лишним спросом; а во-вторых, Давыдок ломал подковы, как лучину, и, следовательно, разломать голову назойливого допросчика не составило бы для

него большого труда. В княжескую милость Давыдок вошел как отличный стрелок, доставлявший отборную дичь к столу, и чудовищный силач, умудрившийся в борьбе грохнуть оземь даже самого Хлопонича.

Однажды Александру Юрьевичу пришло в голову спросить Давыдка:

– Михайло, секли тебя когда-нибудь?

– Никак нет, ваше сиятельство...

– Как же это, любезный? У меня вся дворня драная, а ты не драный... Им перед тобою обидно, а тебе должно быть конфузно: чем ты лучше других? Ступай, брат, на конюшню!..

Чуть ли не весь Волкояр сбежался к барской усадьбе, когда разнеслась весть, что Михаилу будут сечь, чтобы посмотреть, как «Давыдок будет не даваться». Но Давыдок обманул общие ожидания и позволил выпороть себя на обе корки ни за что, ни про что. А затем, по заведенному в Волкояре обычаю, отправился благодарить князя за науку.

– Ты, по крайней мере, знаешь ли, дурак, за что тебя пороли? – спросил князь.

– Никак нет... не могу знать... А только ежели пороли, стало быть, есть за что! Без вины пороть не будете...

Ответ Давыдка привел князя в восторг.

– Вот это слуга! – сказал он и наградил Михаилу десятью рублями.

С тех пор егерь стал его любимцем. Но в дворне этой пор-

кой сильно возмутились и долго дразнили ею Давыдка.

– Черт, дьявол! как тебе не стыдно? – привязался к нему товарищ-егерь, – диви бы мы... Что ж? уж наше такое дело несчастное – холопское... А ты ведь, сказывают, вольный!..

И вот тут-то случился было грех. При слове «вольный» Давыдок вдруг побагровел, приподнялся с места и с размаха хватить егеря по уху. Беднягу после такого гостинца часа два приводили в чувство и еле-еле привели.

– Очумел ты, сатана? – попрекали Давыдка дворовые, – ни за что его порют, – молчит, товарищ словом обмолвился, – мало-мало не убил.

Давыдок оправдывался:

– А он зачем волею дразнится? Я за волю-то, может быть...

– Что Давыдок?

– Ничего, дурачок, много знать будешь, скоро состаришься.

После этого все в Волкояре порешили окончательно, что у Михайлы Давыдка есть на душе недобрая тайна и не трогать ее – и для него, и для других будет лучше.

Князь не слишком доверял своей избалованной дворне, в которой – он понимал хорошо – как ни щедро осыпал он ее своими милостями, не один человек носил на душе смертную обиду на него и жажду мести, хоть до ножевой расплаты. Однако вдвоем с Давыдком он спокойно уходил в глубь своих лесов, – и между барином и слугою оставались свиде-

телями только сосны да небо...

Михайло был стрелок замечательный, а местность знал как свои пять пальцев, открывая князю в собственных его владениях уголки, новые даже для Муфтеля – волкоярского сторожила.

– Должно быть ты, Михайло, у лешего на посылках был, – шутил князь.

– Нешто одни лешие в лесу живут? – отшучивался Михайло.

– И разбойники тоже...

– Ништо! – невозмутимо соглашался Михайло, не отвечая ни да ни нет на намек своего господина.

Одну лишь предосторожность соблюдал князь: на лесных тропах Давыдок шел впереди, а Александр Юрьевич сзади, готовый, при первом подозрительном движении егеря, пустить ему в спину пулю. Но с тех пор как князю случилось однажды сорваться с жердочки в болотную трясину и Михайло вытащил его, рискуя сам увязнуть, была оставлена и эта предосторожность. Князь убедился, что слуга его – раб честный и верный.

Раза два или три из-за страсти князя воображать себя каким-то средневековым феодалом-бандитом, атаманом шайки полурабов-полуразбойников, поднималась серьезная переписка. Но, во-первых, князь был богат, закован в золото и недоступен стальному копыю закона. Во-вторых, он был мастер отписываться. Его ответы ходили в списках по всей

губернии как образчики местной сатиры – ябеднической, оскорбительной, но ловкой: прицепиться не к чему, выюн-выюном! Пригласит к себе Хлопонича, запрутся вдвоем в кабинет и высидят, ехидствуя и грохоча, какую-нибудь такую бумажку, что, читая, губернатор с правителем канцелярии только губами, белыми от бессильной злости, трясут, а дворянство и обывательство помирают со смеха, хватаясь за сытые животики. Слухи и глумы пускали они по губернии самые злобные и язвительные. Укусила в губернском городе полицеймейстера, человека весьма свирепого нрава, болонка его супруги. Собачка была дорогая, пожалели пристрелить. Полицеймейстер распорядился посадить болонку в клетку – на испытание, не бешеная ли. Князь Александр Юрьевич немедленно выдумал, будто губернатор, в видах справедливости, приказал и полицеймейстеру тоже сидеть в клетке:

– Потому что неизвестно, кто скорее взбесится и от чего: полицеймейстер ли от собачкина укушения или собачка от того, что полицеймейстера укусила?

Слух этот распространился настолько широко и с такою уверенностью, что в Костроме перед домом полицеймейстера однажды собралась толпа простонародья – смотреть, как бесится полицеймейстер, и – правда ли, что, когда он вовсе взбесится, то губернатору пришла эстафета из Петербурга – вывести его в поле и пристрелить?

В конце концов, на князя перестали обращать внимание или, по крайней мере, сделали вид, что внимания не обра-

щают.

– Все равно, – говорил губернатор, – с этим чертушкой ничего не поделаешь.

– А между тем был этот губернатор не из потворщиков и послабников – к власти своей ревнив, как Отелло, и в самодурстве необуздан, как Тамерлан. Именно с этого сановника, говорят, были списаны А. Ф. Писемским свирепые губернаторы в его романах «Люди сороковых годов» и «Взбаламученное море»...

– Но отчего же именно с чертушкой ничего нельзя сделать? – приставал на первых порах к правителю канцелярии молодой – только что из Петербурга – чиновник особых поручений Вихров, тогда еще не знакомый с князем Радунским, который впоследствии умел-таки его, если не очаровать, то примирить о собою. Вихров был честен, молод, сгорал жаждой деятельности, а дела ему давали все такие скучные да антипатичные... то раскол душишь, то в казенных поправах и порубках разбираться.

– Стало быть, нельзя-с, – улыбался правитель канцелярии: он очень хорошо понимал деловую горячку молодого человека и сочувствовал ей, как воспоминанию о своей еще не очень давней юности. – Их превосходительство дело говорят-с.

Вихров язвил:

– Я еще понимаю, когда мы бессильны тронуть князя Г., графиню Д., сколько они ни изуверствуй над своими кре-

стынями и соседями, как ни издевайся над нами и законом. Этим господам стоит шепнуть словечко кому надо в Петербурге, и не усидим на местах не только мы с вами, но и наш принципал. Это потворство подлое, но – что же поделаешь? в нашей матушке России без этого не проживешь. «В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена». Но к чему же мы, кроме необходимых, делаем еще добровольные подлости? Что за птица князь Радунский? Он в немилости, государь хмурится, когда слышит его фамилию, знакомые и родные от него отеклись, его нигде не принимают, у него нет никакого влияния... И все-таки мы стоим пред ним в полном бессилии, а он своеволит, как киргиз-кайсак, и в ус себе не дует...

– Молодой человек, – серьезно возразил правитель канцелярии, – я вам скажу на это татарскую охотничью поговорку: «Нет острей зубов одинокого волка». Вот вы помянули князя Г. Человек властный и страшный – что говорить! Но, если бы меня послал к нему губернатор с неприятным для него поручением... ну, предположим крайнее: хоть арестовать его, – я поеду, в ус себе не дую. А к Радунскому – извините: подам рапорт о болезни.

– Что так? – насмеялся Вихров.

– А то, что преданность закону, сознаюсь вам, у меня далеко не превышает чувства самосохранения. Я не Сидрах, не Мисах, не Авденаго, чтобы лезть в пещь огненную, и не Дон-Кихот, чтобы подставлять свою физиономию под крыло

ветряной мельницы.

– Но чем же он так запугал всех? что он может сделать? – недоумевал молодой человек.

– Решительно ничем не запугивал, кроме того, что он Радунский, и мы слишком хорошо знаем эту змеиную породу. А сделать... да он все может сделать...

– Не понимаю! Человек потерянный, без связей, без дружбы...

– Именно потому-то и опасен, что ему терять нечего; вам же и мне, а наипаче его превосходительству – есть что терять и даже весьма много-с... Дедушка этого самого Радунского, молодой человек, губернаторов-то плетью драл-с!

– Мало ли что было при царе Горохе.

– И вовсе не при Горохе, а императрица Екатерина правила.

Вихров смеялся.

– Неужели вы думаете, что внучек вышел в дедушку и высечет нашего?

– Ну, высечет не высечет, а... Да нет-с, и высечет! – решительно махнул рукой правитель.

– При нынешнем-то государе? Николай Павлович вздернул бы за такую штуку!

– Очень он смерти боится! Татарская кровь.

– Это любопытно, однако. Романтик какой-то...

– Вот я вам расскажу, откуда мне стала известна эта история о высеченном губернаторе, – тогда и судите, что может

сделать эдакий человек. В городе нашем Радунский бывает редко, разве по крайней какой необходимости. Однако как-то раз попал на выборы – хотелось протащить на должность, в исправники что ли, мелкую сошку из своих прихвостней. Он на это предобрый. Ладно. Принимали его, как принца, а он угощал дворянство, как не всякий принц угостит. На предводительском обеде встречается он с *нашим*, и наш на него пофыркивает: помни, дескать, что ты в некотором роде опальный боярин, а я здесь царь и Бог, и всё, начиная с господ дворян, зажато у меня в кулаке. Однако говорит несколько любезных слов; вспоминает, что гостил у покойного князя Юрия в Волкояре, восхищается именем, домом, а в особенности хвалит Венерин грот в саду... А князь перебивает:

– Я этот Венерин грот велел засыпать.

– Какая жалость! зачем же это, князь?

– Становые от него уж очень шарахались, ваше превосходительство. «Не можем, – говорят, – здесь близко стоять, ибо место сие есть свято».

– Не понимаю, князь.

– Существует, ваше превосходительство, такая легенда об этом Венерином гроте, будто на сем самом месте дед мой, князь Роман, наказал розгами на теле современного ему плута-губернатора со всею его челядью. Ввиду такой неприличной легенды, ваше превосходительство, я, человеколюбиво щадя чувства становых, распорядился уничтожить грот. А, впрочем, если он вашему превосходительству так нравится,

я, пожалуй, прикажу его восстановить.

– Благодарю-с, – говорит *нам*, – сам налился кровью, еще минута и паралич. Мы сидим ни живы, ни мертвы, князь же – как ни в чем не бывало. Так вот-с это какой человек! А вы говорите: не высечет...

Народная молва, с губернаторского слова, так и прославилась князя Александра Юрьевича «Чертушкой на Унже». Кличка, однако, не мешала крестьянам чувствовать к князю большое уважение. Помещик из Александра Юрьевича вышел – надо отдать справедливость – хороший и управляющего нашел себе под пару – немца Муфтеля, из отставных гвардейских унтер-офицеров. Этот Муфтель обрусел настолько, что мог бы сказать о себе, как гоголевский Кругель: «Какой уж я немец? Дед был немец, да и тот не знал по-немецки». Князь очень любил этого исполнительного крутого служаку и в шутку звал его своим Аракчеевым. Но маленький волкоярский Аракчеев был куда и мягче, и честнее большого Аракчеева грузинского. Князь и Муфтель не били мужика по карману, не разоряли, не вымогали, в нужде давали немедленно помощь на поправку; но оброки Муфтель взыскивал с неумолимою строгостью; барщина была дельная; за добропорядочностью труда следили сурово.

– Если, – говорил князь, – я вижу, что мужик плохо работает на меня, я ему спущу шкуру со спины; если я замечу, что он худой работник на себя, я его переверну и спущу шкуру с брюха.

Словом, барин был грозный, но не жадный и, что в соседских, что в господских отношениях обычного права, довольно справедливый. Особенно нравилось, что он мир уважал и в мирскую волю не мешался, предоставляя крестьянству самоуправляться, как оно знает – к своему лучшему и как от отцов заведено. Мироедам засилья не давал и никогда не отказывал своему мужику в помощи купить рекрутскую квитанцию либо поставить за себя охотника. Его мелкое тиранство и самодурство мало касались села – это оттерпливала дворня, почти вся пришлая: переселенная из других княжеских поместий либо даже наемная. Князь любил иметь в услужении закабаленную какою-либо безвыходностью вольную голь. Жалованья им не платили, но – живи, сколько хочешь, за сытые кормы, угол и одежду.

– Эти люди надежнее, – говорил князь. – Своего мужика я – хорош ли он, нет ли – все равно, должен терпеть. Драть его за худую службу – не радость. В солдаты сдать – себе убыток. А вольный да голый всегда в страхе: ну прогоню я его, – куда он денется? Волкоярские крестьяне, таким образом, благоденствовали и слыли по округе завидными богачами. И, если б Александр Юрьевич меньше обижал их по бабьей части, пожалуй, его даже любили бы.

IV

В зелени векового волкоярского парка тонул красивый ка-

менный флигель, построенный еще князем Романом для одной из его многочисленных любовниц, которую он увез от мужа, потому что находил ее похожею на Психею, а мужа «и Ферситом коль назвать – Ферситу будет злая клевета и обида». Флигель, по имени Психеи, так и звался: «Псишин павильон». Волкоярская чернь, в мифологическом своем неведении, переделала мудреные слова по понятному для нее созвучию – и стал павильон не Псишин, а Псицын. Впоследствии наследник князя Александра Юрьевича приказал разметать эту постройку до основания. Очень уж грустные воспоминания дарило ему ветхое здание. Здесь провела свою безрадостную жизнь и отдала Богу душу «нечаянная княгиня» Матрена Даниловна. Сверх всякого ожидания, Радунский после своей дикой женитьбы не бросил бедную идиотку на произвол судьбы. Обвенчанная чуть не насильно попом, запуганным настолько, что вряд ли он сам понимал в те страшные минуты, какой именно обряд он совершает, – княгиня после свадьбы безумно влюбилась в своего грозного супруга. Она выказала ему столько слепой и рабской преданности, что даже никогда никого не жалевшему Радунскому стало совестно обижать это убогое существо. Притом в первое время он сам был не совсем равнодушен к своей молодой, полной здоровья и силы, жене, увлекаясь ею, конечно, по-своему, – грубо и чувственно: только так вообще умел увлекаться и любить суровый «чертушка». Александр Юрьевич считал нужным увековечить свою жену в мраморе и красках:

выписал в Волкояр из Петербурга скульптора и живописца, а из Италии – глыбу каррарского мрамора, – и вот фамильную портретную галерею Радунских украсила Леда, а цветник сада – белая Церера, скопированная с монументальных форм Матрены Даниловны. Возвратившись в Петербург, художники – оба с именами – кажется, не столько были рады огромным деньгам, какие заплатил им князь, сколько удовольствию вырваться, наконец, из гнезда «чертушки», откровенно блеснувшего пред ними всеми своими чудесами и безобразиями. Живописец – человек старого века, почтенный и богомольный, хотя и сделал свою карьеру и даже стал знаменитым именно как специалист по женскому телу, которое он вырисовывал столь обстоятельно, что драгоценные картины его потомство сохраняет под зеленым коленкором – даже лишний раз говел по возвращении в Петербург и сам просил священника назначить ему какую-нибудь епитимью:

– Уж очень много греха, батюшка, хватил я в проклятом Волкояре... Кажется, в Содом-Гоморре подобных игр не видно, как его сиятельство забавляться изволят!

Мифологическая позировка стоила Матрене Даниловне немало стыда и слез, но она очень хорошо знала крутой нрав своего супруга, чтобы возражать против его прихоти. Откровенную Леду впоследствии уничтожил сын Радунских, князь Дмитрий Александрович, благоговевший пред памятью своей матери, хотя он никогда ее не видал: Матрена Даниловна умерла именно его родами. Церере же, по смерти княгини,

приказал убрать сам князь Александр, так как между дворнею прошел суеверный слух, будто мраморная княгиня по ночам ходит по саду, стонет и плачет.

Введя Матрену Даниловну в свой дом, Радунский сперва окружил ее истинно-княжеским почетом и от души хохотал, когда бедняжка невольно разыгрывала роль вороны в павлиньих перьях. Но вскоре забава эта прискучила Александру Юрьевичу, и он бесцеремонно перевел беременную жену в садовый флигель, где она и стала жить да поживать одиноко, на странном положении жены – не то в отставке, не то в бессрочном отпуску. Радунскому очень хотелось иметь наследника. В его мрачной, безбожной, но суеверной душе жили самые тяжелые воспоминания об ужасном детстве, прожитом под властью ненавистника-отца. А отцу он не простил и за могилой. Князь Александр Юрьевич знал, как о нем говорят и думают люди, сам лучше всех понимал дикие выходки своего самодурства.

«Я зверь, я чертушка, – мрачно думал он, стоя пред портретом отца, который улыбался ему с полотна своим лицемерным, язвительно-красивым лицом, – но кто меня сделал таким? ты, изверг, ты!..»

Как бы в возмездие за самого себя – потому что самого себя он, чем становился старше, тем откровеннее считал истинным несчастьем и казнью рода Радунских, – князь Александр Юрьевич мечтал создать из своего наследника человека, которого благословляли бы люди, – «ангела мира и кро-

тости». Князь обожал несуществующего сына заранее.

– Воспитаю его чистым, как стеклышко, – говорил он, – он снимет с меня все пятна; он должен сделать для нашей фамилии все, что я был бессилён сделать, по злосчастной натуре моей, подлomu воспитанию и ожесточению моего отрочества. Пусть он будет и умен, и образован, и великодушен, – слава роду, слуга отечеству. Мы, проклятые, выбились из истории, пусть же он снова введет нас в историю. Тогда и меня помянут за сына, не злым, но добрым словом – что я родил и воспитал такого, что я не загубил его, как меня загубил мой старик...

Этим заключением неизменно завершались его беседы и размышления о будущем ребенке. Точно мечты князя о сыне-идеале рождались как противовес унылым отголоскам его собственного детства, точно он собирался быть образцовым отцом, потому что собственным горьким опытом узнал, каким отцом быть не следует.

Княгиня обманула ожидания мужа и родила дочь Зинаиду. Гнев князя был ужасен. Появление дочери вместо сына расстроило вконец его мечты. Он был оскорблен до глубины души. Сколько ни было Радунских в родословном древе, у всех были первенцы, а у него – на поди – девчонка! Он не ждал дочери, не хотел ее; он считал ее появление нарушением законов природы и исторической справедливости. И за все это возненавидел ее так же жестоко, как ненавидел его когда-то покойный отец, князь Юрий. Под впечатлени-

ем первых поздравлений с дочерью, в первом порыве гнева, князь сделал родильнице страшную сцену, так что она от испуга захворала и, после родильной горячки, едва не потеряла последний остаток своего скудного ума. Наконец, даже тупую, рабскую, полуживотную душу Матрены Даниловны ожесточили безумства и злосердечие Александра Юрьевича. Матрена Даниловна не жаловалась, не плакала, хотя лишь слоновой натуре своей она была обязана тем, что распущенность князя не отправила ее на тот свет. Но с этих пор муж умер для нее: она отдала всю свою привязанность отвергнутой отцом новорожденной, а князю оставила тупую бессловесную покорность – покорность бессильного страха. Года через полтора гнев князя обошелся. Он возвратил княгине свою милость, – слишком поздно, чтобы возратить себе ее любовь и воскресить ее разбитое сердце. А встречая дочь, только равнодушно произносил:

– Это та самая девчонка, что ли?

Зина росла, не зная отца. Она жила во флигеле с матерью. Князь один-одинехонек коротал дни в большом доме-дворце, превосходном здании XVIII века, начатом стройкою еще при императрице Елизавете лейб-компанцем князем Федотом Радунским по плану и рисункам Растрелли, а доконченном уже в екатерининское время князем Романом, с поправками и вариантами Баженова.

Дикая и разнузданная жизнь шла во дворце, хотя и жизнь под вечным страхом. Порядок дня шел скачками – как при-

дется, глядя по тому, когда и каков духом встанет с постели князь Александр Юрьевич. Обеденный стол готовили к полдню, а случилось, что князь садился за него едва в сумерки. Обеденная церемония совершалась изо дня в день с большою торжественностью. В старинной холодной столовой накрывали стол на двенадцать приборов, хотя садился за него, если не было гостей, только сам князь и, в очень редких случаях, в виде особой милости, управляющий Волкояром, немец Муфтель. Гости полагалось иметь не больше одиннадцати, чтобы за столом сидело, вместе с хозяином, не свыше двенадцати человек. Если приезжал тринадцатый, ему был – от ворот поворот. За каждым стулом, занятым ли, порожним ли, стояло по лакею – в ливрее и на вытяжку, – лично князю прислуживали две красивые девки, любимые одалиски его крепостного гарема. Перед этими двумя фаворитками гнул спину весь Волкояр, не исключая и Муфтеля. Дело в том, что после обеда князь делался податливым на просьбы, охотнее миловал виноватых, легче принимал неприятные известия; между тем только две избранницы его сердца имели право входить в его покои во время послеобеденного отдыха.

Крупных соседей у волкоярского хана не было. А те, которые были покрупнее, по возможности, избегали бывать у него, храня свое достоинство от насмешек и унижительных выходов князя. Зато в большие праздники, когда положение об одиннадцати гостях отменялось, дворец наполнялся мелкопоместными дворянчиками-просителями и прихлебателя-

ми, чающими княжеского угощения и благодеяний. И потешался же князь над этою нищею толпою!

Однажды на Рождество он вышел к обеду сердитый. Подали суп. Князь попробовал и оттолкнул тарелку.

– Эй вы! – сказал он, – какой это суп: скоромный или постный?

– Скоромный, ваше сиятельство, – отозвалось несколько недоумелых голосов.

– А я говорю, что постный.

– Постный, ваше сиятельство, – торопились согласиться голоса.

– А день сегодня какой?

– Вторник, ваше сиятельство... – сказали одни.

– Какой вашему сиятельству угодно, – сказали другие.

– Кто говорил: «вторник»? – громко крикнул князь, – пятница!

– Пятница, ваше сиятельство!

– Значить, суп постный, а день – пятница?

– Точно так, ваше сиятельство.

– Ну а так как я не хочу, чтобы в моем доме потакали поповским предрассудкам и ели по пятницам постное, то и... не жрите вовсе!

Вышел из-за стола и скрылся к себе в кабинет, где его ждал другой обед. Голодные гости разъехались, втихомолку ругаясь.

Решительно никого не уважал и ровнею себе не считал,

ни с кем и ни в чем не стеснялся. Созовет гостей со всех волостей и, оказавшись не в духе, не выйдет к ним, вышлет – «быть за хозяина» – Хлопонича либо которого-нибудь из мелкопоместных своих дворянчиков-прихлебателей: этими полушутами-полулакеями, чающими кормов и благодеяний, всегда кишел волкоярский дворец.

Как-то раз князь устроил такую штуку даже на именины свои, 30 августа, когда в Волкояр съехалось все уездное дворянство и многие чины из губернии. Только и чести прибавил, что вместо Хлопонича посадил на председательское место любимца своего, губернаторского чиновника Вихрова и, конечно, не «послал» его, но «попросил». Молодой человек сконфузился было, начал отказываться:

– Помилуйте, князь, среди ваших гостей столько почетных лиц старше меня возрастом и гораздо более заслуженных.

– А черт с ними! – бесцеремонно отрезал князь. – В вас мне нравится именно то, что вы молоды и еще не служили. Когда у вас на шее будет висеть владимирский крест, а может быть, даже протянется через плечо красная лента, – тогда, поверьте, господин Вихров, я уже не попрошу вас быть моим заместителем. В матушке России порядочны только молодые люди, не перевалившие за тридцать лет.

– Но у вас в доме находится маршал наш, губернский предводитель дворянства...

Князь ядовито скривился.

– Достаточно и того, что я каждое трехлетие покрываю его недочеты и тем спасаю шкуру его превосходительства от энергии господ дворян, кои до нее добираются. Что вы, господин Вихров! Уж если мне выбирать из лакеев, то я Муфтеля пошлю, или Лаврентия-дворецкого, или егеря Михаилу Давыдка: они, по крайней мере, честны.

За обедом гости решили все-таки отправить Вихрова к отсутствующему хозяину депутатом, чтобы от имени всего общества чокнулся с именинником шампанским и произнес приличную речь. Вихров застал князя за пикетом с Хлопочником. Александр Юрьевич очень обрадовался юноше.

– А! приятно, что пожаловали. Что это? Шампанское? Ах, да... тост? Ну, нечего делать, произносите ваш тост.

Выслушал, выпил, кивнул головою.

– Тост к черту... глупости! Очень мне нужен их пьяный тост!.. А с вами мы еще выпьем. Я рад с вами выпить. Люблю пить с умным человеком. Я, господин Вихров, когда-то сам был умный человек. Ваше здоровье!

Пьет и смеется.

– И образованный был. Да. Очень образованный. Байрона в подлинниках читал. В масонской ложе молотком стучал. С Пушкиным в Кишиневе был приятель. И после встречались. Положим, только в штосе играли, но – все-таки... А хорошо он писал стихи, Александр Пушкин:

Гляжу, как безумный, на черную шаль,

И хладную душу терзает печаль... –

Пушкин многое получше этого написал, князь! – почти обиделся Вихров.

Александр Юрьевич внимательно изумился:

– В самом деле? Не знаю... не помню... Возможно!.. забыл... Во всяком случае, очень рад. Он был презабавный, Саша Пушкин... Конечно, между нами сказать, не более как дворянин среднего круга, сел не в свои сани; в свете, между этих новых, жалованных, он был смешненок. Но все-таки жаль, что его французишка Дантес застрелил так глупо, и Мишель Лермонтов прекрасно о том в стихах описал. Из-за бабы!.. Нашел, за что умирать. Я и Наталью Николаевну знал... Ну – что же? Красавица была, но – баба, кругом баба... Бойтесь видеть в бабе человека, господин Вихров! Держитесь мужицкого взгляда, что у бабы, что у кошки, вместо души – пар. Это мрачно, но справедливо.

Он усмехнулся и продолжал:

– Да, да, да... Вот как идут времена и меняются люди, господин Вихров! Был приятель с Пушкиным, а теперь – приятель с Хлопоничем...

Хлопонич так и привскочил на стуле.

– Смею ли я, ваше сиятельство? – шутить изволите...

– Почему же не смеешь? С Пушкиным я в штосе играл – с тобою в пикет играю... только и разницы!

Омрачился, поник головою и повторил:

– Только и раз-ни-цы!

И, с усмешкою, договорил:

– Нехорошо это, господин Вихров, когда человек проживет свою жизнь так, что для него между Пушкиным и Хлопоничем только и разницы остается: с одним играл в што-се, с другим – в пикет... А могло быть и наоборот... Ха-ха-ха! Вот – доживу лет до семидесяти, память ослабеет, начну из ума выживать, – и вовсе различать перестану, который из двух Пушкин, который Хлопонич...

Он долго и зло смеялся, потом ткнул пальцем на стенной портрет князя Юрия:

– А все вот эта красивая рожа виновата! И задумался гла-боко.

Вихров думал уже, не беспокоя его хмурой задумчивости, тихонько отойти, как князь окликнул:

– Господин Вихров, вы знаете на память какие-нибудь этого... Пушкина... стихи?

– Я не какие-нибудь, а все стихи Пушкина знаю на память, ваше сиятельство!

– Будьте добры – прочтите мне что-нибудь.

Вихров подумал: как бы не влопаться? Пушкин так обширен: не хватить бы что-нибудь хозяину не в бровь, а в самый глаз? – и, с осторожностью, прочитал сильную, но безобидную «Элегию»:

Безумных лет угасшее веселье Мне тяжело, как смутное похмелье...

Князь одобрительно кивнул головою и сказал с недоумением:

– Он, однако, в самом деле, умен был – Пушкин? Это глубоко... Пожалуйста, еще!

Вихрова просить не надо было. Красивый и страстный декламатор, он рассыпал перед угрюмым князем весь лучший жемчуг пушкинской лирики. Князь внимательно слушал, покачивая головою и изредка бросая короткие словечки:

– Красиво...

– Правда...

– Умно...

– Еще, еще, пожалуйста!.. Прошу!..

Вихров, увлекаясь, читал пьесу за пьесою – и, давно позабыв о своем слушателе, выбирал только стихотворения уже по охватившему вдохновению – самые свои заветные, любимые, какие в пламенную голову приходили и мысль жгли, к которым больше влекло молодое, кипящее гражданским огнем сердце:

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимых поток
На лоне счастья и забвенья! –

гулко звенел страстный, высокий голос под лепным, в фресках, екатерининским плафоном...

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее тащится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут;
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея...

Ужасное рабским испугом лицо Хлопонина, корчившего предостерегающие гримасы, изумило Вихрова – и тут вдруг, как молния, осветило его запетую стихами память:

«Да – что же это я – с ума сошел? Кому читаю? Князю Александру Юрьевичу Радунскому! „Чертушке на Унже“ читаю!»

Князь сидел в креслах своих, красный, стеклышко выпало из глаза, рот раскрылся и по щеке кралась к усам одинокая капля крупной слезы... Плохо дочитал сконфуженный Вихров гениальное стихотворение, слишком живо чувствуя, что не в ту аудиторию он попал.

Кончил. Долго молчал князь, видимо, потрясенный.

– Да, это все так, господин Вихров, – сказал он, наконец. – Совершенно так. И это страшно, господин Вихров... да! страшно!.. Благодарю вас за все, а за «Деревню» в особенности...

– Уррра-а-а-а-а! – взревел в это время нескладный взрыв сотни голосов.

Князь сотрясся, как от нервного удара.

– Кто смеет? Где? Хлопонич! Что такое?

Хлопонич бросился к окну и доложил:

– Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, – ничего чрезвычайного: гости вышли в сад и пьют здоровье вашего сиятельства...

– О, черт бы их побрал! Муфтель!

Муфтель вырос, как из-под земли.

– Пойди, скажи этим скотам, что я занят, – не смели бы орать под окнами!

Вихров вспыхнул.

– Позвольте вам заметить, князь, что там нет никаких скотов, но лишь благородное общество, удостоившее меня избранием – быть пред вами его представителем.

Князь вставил в глаз стеклышко и стал как ледяной.

– Что же из этого следует, господин Вихров?

– То, что я также, значит, зачисляюсь вами в категорию, вами поименованную.

– Я вас не зачислял, но – в какой категории себя числить, вам, господин Вихров, несомненно, самому лучше знать.

– В таком случае... – глухо произнес Вихров, бледный, сходячею челюстью, голосом, в котором от волнения кричали петухи. – В таком случае... Вы, князь, вдвое старше меня, – и искать обычного дворянского удовлетворения оружием я на вас не могу... Но из дома вашего я должен удалиться... Любезнейший! – обратился он к уходящему Муфтелю, – при-

кажите подать моих лошадей.

Муфтель остановился, глядя на господина своего в замешательстве: таким тоном при нем с князем Александром Юрьевичем никто еще не разговаривал. Хлопонич трепетал, ни жив, ни мертв.

Князь высоко поднял брови – подумал – и очень любезно возразил Вихрову:

– Вам лучше переночевать, – уже темно, а дороги худые.

– Нет-с, я поеду.

– Как вам угодно... Муфтель, распорядись.

И, уже не глядя на Вихрова, тоже вышедшего с коротким кивком вместо поклона, взял карты давно забытого пикета.

– Четырнадцать королей, Хлопонич. Вот привалило-то!

– Па... па... пас... Играли...

– Скажите, пожалуйста! – воскликнул князь, бросая на стол новую сдачу, голосом, скорее удивленным, чем сердитым, – каков мальчик объявился? Нотации мне читать приехал... вот гусь-то? Хлопонич? А? Хлопонич залепетал было:

– Опомниться не могу... Неисповедимо растет дерзость человеческая... Только что снисхождение вашего сиятельства, а то бы...

– А ты молчи, – оборвал князь. – Тебе ли о нем судить? Он порядочный человек, а в тебя вместо души природою всунута поношенная ливрея!

В ближайший же свой приезд в губернию князь Радунский удивил город и взбесил завистью власти и знать, сделав

Вихрову личный визит. Конечно, о каких-либо извинениях при этом свидании даже и речи не было, и неприятная история на княжеских именинах не была помянута в беседе хотя бы словом. Но – обыкновенно, почиталось уже честью, если князь Радунский, в виде ответного визита, присылал с кем-либо из своих прихвостней, буде не просто с камердинером, свою карточку, – а тут личное посещение – и кому же? столь незначительной особе, как чиновник особых поручений, да еще из ссыльных! Это было равносильно извинению. Вихров был растроган, и сделались они – старый и юноша, деспот и демократ – осторожными друг к другу, совершенно не фамильярными, но, по существу, большими друзьями. Впоследствии князь даже пригласил Вихрова подписать в качестве свидетеля свое завещание, которому суждено было сделать немало-таки шума в России.

V

Княгиня Матрена Даниловна, робея пред мужем, – а робела она до того, что, завидя издали его, тихонько творила кресты и читала про себя молитву Давидову, – ни словом не решалась заикнуться, что дочка ее растет, что Зине нужно хоть какое-нибудь образование и воспитание. Помощи со стороны ей тоже неоткуда было ждать. Всякое постороннее вмешательство в дела князя только раздражало его и вело к тому, что он поступал наперекор – хоть дико, да по-свое-

му. Единственный человек, имевший на волкоярского хана некоторое влияние, монах Иосаф, в эту пору уже умер. Наконец, Муфтель сжалился над бедною матерью и, зная, что с князем невозможно говорить о дочери, самовольно выписал для девочки гувернантку, пожилую обруселую немку, свою дальнюю родственницу. Немка прибыла и была водворена во флигель, как некая контрабанда, с строгим запрещением выходить, до поры до времени, за порог своей комнаты – «пока князь не обдержится». Оставалось доложить князю о сделанном. Обе застольные и послеобеденные фаворитки князя наотрез отказали Муфтелю в посредничестве.

– Нет уж, Карл Богданович! – говорили они, – выпутывайтесь сами, как умеете. В другом чем-нибудь готовы служить с великой радостью, а в этом – извините. Вам самим довольно хорошо известно, каким зверем становится князь, когда ему что-либо напоминают насчет княжны. Своя рубашка ближе к телу! Вы знаете, каков наш князь, когда сердает... Он спину-то под бархат отделает... с разводом.

– Да ведь жалко девочку, и княгиню жалко... – уговаривал Муфтель.

– И самим нам жалко, а только мы не можем. Розги не свой брат.

– Уж и розги!

– Наш князенька без розог ни на шаг.

– Пожалее таких красавиц.

– Да, как же! пожалел волк кобылу – оставил хвост да гри-

ву!.. Про Клавдию забыли что ли? Уж она ли не была у него в силе, а ведь не пожалел. Разве у него есть человеческие чувства? Ему что я, что она, что другая-третья. Была бы девка, а которая – все равно, – ни к кому любви нет! Он нас, поди, и по именам-то не знает.

Клавдия, о которой говорили девушки, была взята в гарем из деревни – всего на семнадцатом году. Вскоре она забрала над Александром Юрьевичем такую власть, как ни одна из княжеских фавориток ни прежде, ни после. Это случилось сходством характеров. Зверь наткнулся на звереныша. Клавдия, во все время своего властного случая у князя, никогда ни за кого не попросила. Наоборот, по ее жалобам, частенько оглашалась криками барская конюшня, немало людишек отправилось на поселение в далекие вотчины. Фавор князя к этому бесенку во плоти дошел до того, что Александр Юрьевич начал сажать Клавдию с собою за обеденный стол. Этому порядку он не изменил и тогда, когда, в кои-то веки, в Волкояре проявился гость-ровня – дальний родственник князя, тоже самодур не из последних. Дня два или три все обходилось благополучно. Но в один день Клавдия забылась: заговорила с князем чересчур капризно и фамильярно. Гость-родственник улыбался: ага! есть, мол, и на тебя гроза-страстишка, которая держит тебя под башмаком! Князь внутренне взбесился, как сатана, но в лице его хоть бы жилка дрогнула. Он только кивнул пальцем Муфтелю и бесстрастно шепнул ему приказание, а управляющий бесстрастно его выслу-

шал. После обеда гость и хозяин отправились в бильярдную. Гость только что намылил кий и прицелился в шар, как вдруг в соседней зале раздались отчаянные вопли.

– Это что такое?

– Пустяки: наказывают одну виноватую девушку...

– Послушайте! но ведь это голос вашей... как ее там зовут? Клавдия...

– Извольте не ошибаться.

Князь с треском положил шар в лузу. Партия тянулась, крики не прекращались. Гость сказал:

– Однако она страшно кричит... простите ее, князь!

– Вот доиграем партию, – и прощу, у меня такой порядок.

– Но она действует на нервы...

Князь сказал казачку:

– Пойди скажи Клавдии, чтобы она не смела кричать, а не то я сыграю две партии...

Князь выиграл. Опираясь на кий, он учтиво поклонился гостю:

– Угодно реванш?

– Нет, покорно благодарю... вы сильнее меня... довольно, – забормотал гость, опасливо оглядываясь через плечо на двери, откуда неслись уже не крики, но мычанье.

Князь пожал плечами.

– Как угодно!

И, обернувшись к дверям, приказал:

– Муфтель, довольно...

Тем же вечером еще бесчувственная Клавдия была отправлена в самую дальнюю вотчину и, по прибытии на место, немедленно была выдана замуж за самого бедного и тоже штрафованного мужика – вдового и с детьми.

Печальную участь Клавдии, рано или поздно и в большей или меньшей степени, испытывали все крепостные фаворитки князя. Когда любовница ему прискучивала, он, придравшись к какой-нибудь провинности, сплавлял ее в степные деревни, где бедняжку постигала самая плачевная судьба. Из недолгой роскоши она попадала в вековечную нужду. Из среды лести и подобострастия переходила в среду, где ее ненавидели, презирали и злорадно мстили ей за недавнее, но уже невозвратное прошлое. Клавдия, например, и года не выжила на поселенье: ее травили, как злого волчонка, – пока не нашли ее в петле, на осине... Один раз, на каких-то дворовых именинах, очередная фаворитка князя сказала дерзость Муфтелю. Управляющий на пирушке подвыпил и осмелел.

– Не груби, красавица, не груби! не ссорься с Богданычем! – сказал он. – Сейчас ты у князя сильнее меня, – это что и говорить. Только вашей сестры у него сколько хочешь, а Муфтель один. И сегодня Муфтель перед тобою картуз гнет, а завтра Муфтель тебе спину дерет.

Девушка обиделась, расплакалась и пожаловалась князю. Но он расхохотался:

– Ха-ха-ха! Немец не врет, – хоть глуп, а правду говорит. Где я возьму другого такого? Помиришься с ним, Серафима; не

плюй в колодезь – пригодится воды напиться.

Волкоярская дворовая хроника сохранила всего лишь одно имя женщины, которая, даже выйдя из фавора, не утратила княжеской милости. Звали эту женщину Матреною, а прозывали Слобожанкою, потому что князь сманил ее – уже вдовую по первому мужу – из пригородной костромской слободы. Бабенка красивая, умная и пронырливая, Матрена поставила себя так хорошо, что, когда княжой интерес к ней охладел, князь сам спросил ее:

– Ты чувствуешь, что мне надоела?

– Чувствую, ваше сиятельство. Когда и куда прикажете убираться?

Князь купил Матрене дом в ближайшем уездном городе и выдал ее замуж за какого-то мещанина, наградив молодых недурным денежным приданым.

Отчаявшись найти себе поддержку в своем благом намерении воспитывать княжну, Муфтель, – в душе человек очень добрый и только на службе готовый хоть зубами загрызть всякого, кого князь прикажет, – решил:

– Взявшись за гуж, не говори, что не дюж; сделанного не разделявать статью, а надо доделывать до конца.

Вскоре пришлось ему подавать князю приходо-расходную ведомость за четверть года.

Муфтель, стоя среди княжего кабинета, монотонно вычитывал расходные рубрики. Князь, закрыв глаза, слушал его и время от времени кивал головою: так... верно... согласен...

Он отлично знал, что Муфтель ничего не украдет и не поставит лишней копейки в ведомость, и эти четвертные отчеты были не более как формальностью. Но князь форму любил и соблюдал строго. Муфтель читал, читал, и... его осенило нежданное вдохновение. Тем же ровным голосом, как читал он о шитье новых ливрей и черкесок для дворни, о вывозе нечистот с хмельников заднего двора, он произнес:

– Гувернантке княжны Зинаиды Александровны, иностранке Амалии Густавсон, сто рублей...

– Что-о-о?!

Князь широко раскрыл глаза.

– Гувернантке княжны... – храбро начал было повторять Муфтель.

– Стой! не то!.. Разве у княжны есть гувернантка?

– Как же-с!

– Откуда же она взялась?

– По приказу вашего сиятельства.

– Я приказал?!

– Так точно-с.

– Я?!

– Без приказа вашего сиятельства у нас в Волкояре ничего не делается.

– Гм!..

Радунский пронзительно посмотрел на верного слугу; он отлично помнил, что ничего подобного не приказывал, но смелость Муфтеля ему понравилась.

– Читай дальше! – спокойно сказал он.

Муфтель кончил ведомость.

Князь взял бумагу из его рук и скрепил своею подписью.

– Смотри у меня, Муфтель! – заметил он, погрозив немцу пальцем. – Не умничать и не вольничать!

У Муфтеля душа раздвоилась и ушла в пятки. Ему живо представилось, что его уже выкупали в дегте, обваляли пухом и выбросили за ворота, как – по княжескому приказу – сам он должен был сделать лет пять тому назад с одним из «вольных» княжеских домочадцев-супротивников... Однако гроза прошла. Выговор только тем и ограничился.

– Много, матушка ваше сиятельство, грехов простится мне за эти полчаса! – говорил потом Муфтель Матрене Даниловне.

VI

Вяло и скучно жилось в садовом флигеле княгине Матрене Даниловне, хотя у нее был свой штат женской прислуги и завелись свои друзья и знакомые, подстать ей самой – из мелкопоместных дворяночек и попадей округи. Жизнь проходила – кроючись и крадучись.

– Что ты, матушка, забыла меня? – упрекала иной раз княгиня давно не бывавшую гостью, – или угощение мое не по нраву? Кажется, стараюсь – как для родной сестры, и ничем ты от меня не обижена.

Гостья откровенно извинялась:

– Княгиня, голубушка, хоть семь дней в неделю рада бы у вас гостевать, всем от вас удовлетворена, на всем вам благодарна. Да уж больно жутко. Собираешься к вам в Волкояр, ровно во Сибирь некую. Как подумаешь о князе, так сердце и упадет. неровен час – встретится...

– Зверь он, что ли? – с горечью возражала княгиня, – если и встретится, что он тебе сделает? Ты не к нему, а ко мне. Он мне в гостях не препятствует.

– И ничего не сделает, голубушка, да посмотрит. А у меня потом от его глаза на целую неделю трясение в суставах. Я, княгинюшка, когда к вам еду, трястись-то начинаю еще за околицей; селом еду – лихорадка бьет; а как во двор вкачусь, – так и глаза зажмуриваю: избави, Господи, от мужа кровей и Арида!

Нескольких дворяночек – поголоднее, а потому и посмелее – княгиня поселила при себе приживалками.

Князь, отдалив от себя жену, не видал ее по целым месяцам и ничуть не заботился, как она живет и что делает. Разлюбленная и разлюбившая, молодая женщина, – да еще богатырского сложения и здоровья, – прямо-таки задыхалась в своем бездельном и бесцельном одиночестве. Избыток сил душил ее; надо было найти ему выход, – и, обманутая в любви, нашла она выход печальный. Две из ее приживалок попивали втихомолку. Выучилась у них пить и княгиня. Чарочка стала необходимою принадлежностью длинных зимних ве-

черов, в которые тосковала она среди своего бабья, под песни работающих девок. Зашел к ней как-то Муфтель в такую пору и ахнул: княгиня едва ворочала языком... речи и мысли были нехороши, движения нескромны... Окружающие ее женщины были не лучше. Глупые песни поют, верхом дру на друге ездят. На другой день Муфтель пришел к Матрене Даниловне с выговором.

– Ваше сиятельство, что же вы это изволите делать над собою? Так нельзя-с. Доведается князь – и вам будет плохо, и мне: зачем недосмотрел? Убедительнейше прошу вас: перемените ваши поступки. Я не могу быть за вас в ответе. Если вы этих занятий не оставите, я доведу до сведения князя.

Матрена Даниловна стиснула зубы и махнула рукой.

– Доводи!

– Да как же-с? – оторопел Муфтель.

– Доводи, говорю, – бессвязно кричала княгиня, – пусть уььет, дьявол бессердечный! Один конец, по крайней мере. У! ненавижу его... Зачем он на мне женился? за что погубил? Не пара я ему, вишь ты... Сама знаю, что не пара. Ему было в ровнях высватать за себя принцессу гишпанскую, а он мелкопоместную дворянку взял. Ни то я по-французскому, ни то я по-немецкому. А теперь и грамоте-то, что знала, забывать начинаю... Не пара! Не я ль его просила, не я ль молила: отступись! не женись! деньгами ты меня наградил, найду человека, который погибнуть мне не даст, девичий стыд мой венцом покроет? Кому было вперед-то глядеть, видеть,

что не пара, – мне ли, дуре, или ему, умнику? Нет, – лишь бы блажь свою потешить да характер оправдать, а – что человек живой пропадет, о том и думочки нисколько... Известно: на что я ему теперь? Красота моя свяла. Красоты нет, – муж глупую жену любить не станет. Одна, весь век одна! в тюрьме легче. Господи, да ведь мне же тридцати годов нету... должна же я иметь в жизни свое удовольствие! Ох, Карл Богданович, тяжело... Так тяжело, что... ну, будь только люди в нашей мурье, уж отсмеяла бы я ему, злодею, свою обиду!

– Что это вы говорите, ваше сиятельство!

– А то, что я греха бы не побоялась, стыд бы забыла, а уж нашла бы себе мила дружка по сердцу, чтобы он любил меня по-моему, нежил, приголубливал... Мне ласки надо, Муфтель, слова доброго... и ничего у меня нет! Словно все каменные...

И загуляла княгиня Матрена Даниловна. Стукнет с горя у себя в павильоне хересу бутылочку, а то и просто зелена вина, и пошла, очумелая, бродить по саду, – в самом развращенном виде, сама не своя, – песни визжит, точно девка деревенская. Дворня, любя ее за кроткий нрав, понимала в ней обиженную женщину и тщательно укрывала от князя, чтобы не доведется, как она пьет. Однако в скорости отступились – опасно с нею стало: уж слишком полюбила вино. Пришлось Муфтелю доложить казус этот князю.

О всех проделках Матрены Даниловны Муфтель не донес, но осторожно намекнул, что княгиня хандрит – хоть руки на

себя наложить готова, и, заметив, что попал к своему грозному повелителю в добрый час, позволил себе посоветовать ему немножко приблизить к себе жену:

– Так как вся их ипохондрия – осмелюсь доложить вашему сиятельству, – по замечанию моему, проистекает исключительно оттуда, что княгиня без памяти обожают ваше сиятельство.

Князь – стареющийся прежде времени, опустившийся, изношенный развратом – был польщен этою крепкою привязанностью. Он посетил жену, – которую перед тем не видал с полгода, а когда видел, то почти не глядел на нее, – и был поражен переменою в ее наружности. Вместо белой, румяной, веселой красавицы он нашел ожирелую, обрюзглую бабу, с равнодушным неподвижным лицом, со взором тупо-покорным всегда и враждебно-испуганным в минуты волнения. Князю стало совестно. Он захотел воскресить убитую им женщину, но было уже поздно! Насильственно-пылкие ласки его, нежные слова, от которых в прежнее время Матрена Даниловна ходила бы целую неделю, как шальная, в счастливом полусне любви, – теперь пропадали бесследно. С женщиной обращались долгие годы, как с самкою, как с рабою, – она и стала самкою и рабою. Александр Юрьевич не встречал в своей княгине ни страсти – хотя прежде она была богата страстью – ни отвращения, но одну тупую рабскую покорность, мертвый, безразличный взор, неулыбающиеся губы. Пила же она тайком по-прежнему, хоть и остерегалась

теперь, чтобы не попасться князю. Он, однако, догадался, но смолчал. Ему стало противно; он понял, что потерял жену навсегда. Недели полторы он выдерживал это печальное повторение медового месяца. Потом ему надоело, – и он забросил Матрену Даниловну сызнова.

Это было к концу девятого года их супружества – весной. С княгиней же, когда муж стал от нее удаляться, случился совсем неожиданный переворот. Она вдруг ожила, отказалась от вина, повеселела, помолодела, похорошела.

Теплый апрель переселил ее из душных комнат флигеля в чудный волкоярский сад. Один за другим бежали веселые вечера – с горелками и хороводами, в которых вместе со своими девушками принимала участие и Матрена Даниловна. К ней возвратились ее звучный смех, ласковое выражение глаз, добрая усмешка и розовые щеки.

Осенью Муфтель таинственно доложил князю Александру Юрьевичу, что княгиня совестится сама сказать ему, а – по всей видимости – она вторично готовится стать матерью. Первые признаки беременности почему-то поразили княгиню ужасом: она едва решилась сообщить Муфтелю для передачи князю, что ждет ребенка; с лица ее не сходило совсем несвойственное ей выражение испуга и беспокойства; она пожелтела, похудела; часто заставляли ее в слезах. Потом она что-то писала, но либо уничтожала написанное, либо прятала листки невесть куца. Напротив, сам князь Александр Юрьевич был очень доволен и на этот раз ждал уже

непременно сына.

Так и случилось. Восторг князя не знал границ.

– Ай да княгиня! ай да Матрена! – вопил он, буквально прыгая по залам дворца своего, – вот, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Полагали: ау! иссохла смоковница, – ан, глядь, врешь: взяла да плод принесла. Он велел звонить в колокола, палил из домашней пушки, богато одарил сельскую церковь, простил крестьянам оброк за год. Младенца отняли от бесчувственной матери – роды были очень несчастливы – и перенесли в большой дом, где окружили няньками, мамками, боннами. Мальчик был слаб, хил, мал, без ногтей.

– Боже мой! – воскликнула принимавшая его акушерка, – точно недоносок. Семимесячные не хуже бывают!

В хлопотах о сыне Радунский совсем забыл про жену и очень изумился, когда, дня через три, Муфтель с испугом доложил ему, что княгиня совсем плоха, и если он желает проститься, то поспешил бы прийти.

– Что же с нею такое?

– Не могу знать, ваше сиятельство. Надо полагать, либо молоко в голову бросилось, либо вообще уж... звезда такая...

– Доктор есть у нее?

– Как же-с! Двоих вызвал: из Костромы и из Ярославля.

Когда князь Александр Юрьевич пришел взглянуть на жену, Матрена Даниловна уже не узнала его. А он, если бы не

знал наверняка, что вот этот длинный, желтый, едва обтянутый кожей скелет – его жена, совсем не узнал бы ее. Так изменилась Матрена Даниловна за короткое, но ужасное мученичество своей болезнью. Она умерла в присутствии князя. Видела она его или нет, – Бог знает. Взор ее поумневших, просветленных перед смертью глаз был мрачно и безразлично уставлен в какую-то далекую точку, созерцая ее, бедная женщина и отошла в вечность. Печально смотрел Александр Юрьевич в лицо покойницы, но не о ней – своей невинной жертве – жалел он...

– Грустным предзнаменованием начинаешь ты жизнь, сынок! – вырвалась наружу его заветная мысль.

Говорят, что беда одна не ходит, а беда беду ведет. Не успели воюющие бабы обмыть охладевший труп княгини, как прибежал к Муфтелю испуганный казачок:

– Карла Богданович, у нас в саду висельник... покойник...

– Что? Кто?

– Матюшка-доезжачий удавился... на яблоне висит... на вожжах...

Муфтель за голову схватился.

– Это еще хуже княгини!

Матюшка-доезжачий был любимцем князя: мастер своего дела, ни разу не сечен, подарки имел. Парень был совсем еще молодой, не переломил третьего десятка, собою красавец писанный, богатырь, настоящий Бова-королевич. Нравом – не в обычай вол коя рекой распущенности – красная девушка, не

пьющий, не охальник, не зерщик, – только песенник. На что уж княгиня-покойница недолюбливала наглуую волкоярскую дворовую орду, а Матюшку – и она ласково привечала, отличая между всеми. С чего он вдруг так затосковал, что отчаялся в жизни и стал черту баран, никто в Волкояре не мог ума приложить: казалось, все в жизни улыбалось молодчине этому, а он – поди же ты! – вот те и на! Только одно о покойнике и вызнал Муфтель, что ночь перед тем, как удавиться, Матюшка провел на пасеке у деда своего, Антипа Пчелинца, и оба они до света не спали, а шепотами гудели между собою неведомую беседу.

Послал Муфтель за Антипом Пчелинцем, – ан, того нету. Работница говорит: внука проводивши, чуть свет ушел неведомо куда, мешок на плечи и посох в руках.

– Коли будут спрашивать, – говорит, – скажи: вернется, когда замолит погубленную душу. Не иначе, что в скиты поплелся, на Ветлугу...

– Без спроса-то? Без паспорта? Да я с него шкуру спущу! Три дня минуло, неделя, месяц, – Антип назад не бывал.

Значит, либо помер безвестно, либо ударился в бега, в старцы постригся – пропала ревизская душа. И опять было непонятно, – зачем? Антип Пчелинец был старик замечательный, – при князе Романе в хоромы казачком взят, а князя Юрия слуга, фаворит и когда-то прелютый приказчик. Князь Александр, войдя в наследство, отстранил Антипа от должности, как всех отцовых любимцев. Антип ушел на по-

кой и занялся пчелами. Годы и пасека его будто переродили: сошелся со староверами, стал читать божественные книги и рукописные тетрадки, раздал решительно все деньги и ценные вещи, которые накопил во времена своего величия – и без разбора раздал, первому просящему. Из недавнего свирепого холопа выработался, в какие-нибудь десять лет, угрюмый созерцатель-начетчик... Что он кончит жизнь в скитах, того все ждали. Но – бежать-то было зачем? Спроситься у князя – тот не стал бы держать, мигом отпустил бы: ведь нерабочая сила в убыль из его хозяйства уходила, а ни на что непригодный старый старик, который даром хлеб ест.

Решили на том, что, надо быть, Матюшка – перед тем, как удавиться, покаялся деду в каком ни есть великом грехе и возжалел Антип внука – благословил его на вольную смерть, а сам бежал – душеньку его отмаливать.

– Под сердце подкатило, – толковал дворне Лаврентий Иванович, дворецкий, человек пожилой, почтенный и богобоязненный, весьма уважаемый самим князем, один из всей орды волкоярской, имевший разрешение ходить не в ливрее, но в «собственном» длиннополом гороховом сюртуке. – Когда подкатит под сердце господскому человеку, это – хуже нет. Единое средство против – в бега! А то долго ли бесу опутать душу человеческую? Бес у нас в Волкояре не то что людьми, – горами качает!

– Это так точно, – поддакивали ему, – княгиня-то перед смертью тоже была – как обаянная.

Тихо отпел и ранним утречком схоронил княгиню Матрону княжеский попик Кузьма – тот самый, что когда-то венчал ее с князем, чуть ли не под дулом пистолетным. А по селу – песни, догорает, чадя, иллюминация, всю ночь пылавшая площадками с салом и бочками смоляными... Князь на отпевание жены едва заглянул – только для приличия пред немногими успевшими к скорому погребению соседями; прощаться с покойницею не подошел и сейчас же, как понесли гроб из церкви, возвратился во дворец к сыну, предоставив положить жену в сырую землю Муфтелю и Хлопоничу.

Михайло Давыдок и вырыл, и зарыл могилу, – сам напросился по усердию к покойнице, потому что очень ее уважал за доброту. Много сердец потерял в этот день князь Александр Юрьевич. Почти громко гудели и соседство, и дворня, и село:

- Обиженная женщина!
- Загубленный человек!

С похорон этих отвернулось от князя и сердце Михайлы Давыдка, начинавшее было привязываться к старому властному барину за удаль, которой в обоих – и в господине, и в слуге – была полная чаша. Уж больно не любил несправедливости простодушный волкоярский богатырь. И всегда впоследствии хмурился, если кто-либо из дворни вспоминал при нем, хвастая, эти дни.

- Мы тогда на радостях целый месяц пьяны были!
- Хвались! – угрюмо рычал Михайло.

– А чего – нет? Не вру, правду говорю.

– Правда-то твоя не больно красивая. Помолчать бы о ней. Вот что. Праведница в гробу, а они дорогу водкой поливают! Поохотали, поди, над вами в аду бесы-то.

– Эх, Михайло Васильевич! Чего с нас взять? Русские люди! Не кори вином: татаринном обзову.

Только головою качал на полузверей этих в чекменях и черкесках трезвый Михайло.

– Демон вас поймет, тутошных! Что радость, что горе – не разобрать у вас в Волкояре. Все равно, – все пьяные. И когда только вы, черти, протрезвитесь?

И слышал в ответ бесшабашные, взывающие о снисхождении, хмельные слова умиления едва лыко вяжущего и добродушного самоунижения:

– Милый человек! Не надо... на што?.. В Волкояре иной раз и пьяному-то совестно смотреть на Божий свет, а ежели человек тверезый... и-и-их!

И – выразительный пример был налицо:

– Вон – Матвей – покойник: в рот не брал вина... ну и повис на яблоньке!

Яблоня, на которой удавился Матвей-доезжачий, уцелела в волкоярском саду. На первых порах забыли срубить, а после князь пожалел: хоть яблоки кислые давала, да уж больно хороша была старуха – серебристая, раскидистая.

– И то сказать, – говорила дворня, – ежели у нас из-за каждого удавленника дерево рубить, так это и сада не станет.

VII

Как ни мало любил и уважал князь Александр Юрьевич свою жену, однако преждевременная кончина Матрены Даниловны сильно потрясла его. Может быть, потому, что это была первая смерть человека, хоть и не близкого ему по душе, но все-таки не вовсе безразличного, которая случилась у него на глазах.

– Такая молодая, сильная, здоровая, – думал он, – ей бы жить да жить... Смотри, экое дерево свалилось, а гнилушки держатся и копят небо.

Загадка смерти припугнула князя. Сам он тоже прихварывал в последнее время, – старое пьянство и разврат откликались: там щемило, там покалывало; он ожирел, схватил одышку, а вместе с нею, поистине, Саулову тоску. Возраст его приблизился к роковому для Радунских десятку. Раздумавшись над судьбою Матрены Даниловны, князь не мог не сознать в глубине души, что он кругом виноват в ее ранней гибели, и голос напуганной совести мало-помалу нашептал ему суеверное предчувствие, что ему суждено еще заживо получить жестокое возмездие за грехи против жены. Мучась своим тяжелым настроением, в напрасном стремлении развлечься, Александр Юрьевич задумал пуще прежнего. Причудам его конца не было. Нелепые милости и напрасные наказания без разбора сыпались из рук его на правого и вино-

ватого. Фаворитки менялись одна за другой. Муфтелю приходилось жутко: за свою многолетнюю службу князю он претерпел и пережил много унижений, только бит не бывал. А при новом настроении князя, выходившего из себя по всяким пустякам, не трудно было дожидаться и этого.

– Хоть бы выдумать ему, черту, забаву какую новую! – мучился немец – и ничего не выдумывал: князю опостылело все земное, а он не знал ничего надземного.

В противность отцу своему, под конец жизни ударившемуся в ханжество, князь был более, чем не религиозен. Местный архиерей, когда объезжал епархию, демонстративно не останавливался у волкоярского магната, почитая его вольтеррианцем и веротерпимцем – покровителем раскола. Да и вообще задерживаться в Волкояре не любил, чувствуя себя в недружелюбной среде. Князь тоже не терпел духовенства, однако своего попа Кузьму не обижал. Впрочем, и попик ему попался смиреннький: ко всему на свете равнодушный, кроме своей старухи-попадьи и бесчисленных ребят, перед князем благоговеющий и всегда князю покорный.

– Ведь заставь я тебя, отец Кузьма, петь панихиду этому медведю, – сказал князь однажды, хвастаясь только что застреленным зверем, – и ты споешь.

Попик подхихикивал, благословляя втайне свою судьбу, что князь лишь примеривается к такой затее, а не приводит ее в исполнение. Так как население в Волкояре было, действительно, на две трети старообрядческое, писалось же оно

все сплошь церковным, то жить попу Кузьме было очень сытно, даже не считая княжеских подачек. К вере он особенно не ревновал, а князь ему, сверх того, пригрозил, что если он будет соваться в раскольничьи дела, то ему не ужиться в Волкояре.

– Чуть первый донос – я тебе спуска не дам!

– Ваше сиятельство, но что же я должен делать, если начнут писать доносы против меня самого за нерачительность? Я человек неученый, неумелый. Меня консистория съест живьем!

– Приходи ко мне за советом, вместе будем отписываться. А расправиться с доносчиком будет мое дело. Ты так и оповести своих духовных – ябедников между вашей братии много, – что я за тебя ответчик. Думаю, что и доносов тогда не будет. Потому что меня и расправу мою хорошо знают.

– Осмелюсь, ваше сиятельство, спросить, – подобострастно осведомился священник, – какая причина, что вы так усердно защищаете сих еретиков?

Князь улыбнулся.

– А что? или ты и меня заподозрил в расколе?

– Смею ли я, ваше сиятельство? Но...

– Причина простая, батька. Сколькими перстами кто крестится – мне все равно. А миссионерства эти ваши через полицию лишь мутят мужику ум и душу. Мужик же, напуганный, со смущенною душою, не работник ни на себя, ни на меня. Не знаю, много ли пользы вы приносите церкви, но мне

как хозяину от вас с обращениями этими, да проверками их, да слежкой, да поборами, – прямой вред. Личной же симпатии к сим толстобородым невеждам не только не питаю, но даже противны они мне, как все фанатики. И ты, батька, если будешь фанатиком, будешь мне противен, и посажу я тебя на такую ругу, чтобы тебе только не околеть голодом с попадейкой твоей и детишками.

Отсутствие религии не отнимает у человека возможности быть суеверным. Тысячами примеров доказано, что человеку легче переменить, ради выгод или даже прихоти, исповедание, расстаться с верою в бессмертную душу, стать кошунном и богохульником, чем не бледнеть при виде трех свечек на столе или сесть тринадцатым за стол. Князь был отменным суевером, приметчиком и любителем до всего таинственного.

– Там-то что? That is the question!⁷ – задумывался он, шагая по величественному своему кабинету, между портретами гордых предков, зорко глядевших на него со всех четырех стен.

– Выдумывают науки, искусства, а, в конце концов, единственное знание, которое нужно человеку, это – о том, что там, за перегородкою...

– За перегородкою-с? – робко недоумевал вечный слушатель князя, Хлопонич.

– О, дурак! – сердился князь, – за перегородкою между

⁷ Вот в чем вопрос! (англ.).

здесь и там, на тот свет... понимаешь?

– Да-с, если на тот свет, конечно, оно занимательно... только ведь, ваше сиятельство, страшно-с!

– Почему?

– А мытарства-то?

– Бред!

– Помилуйте, ваше сиятельство, как – бред? У моей Ду-нечки в тетрадку списан «Сон Богородицы», – без ужаса читать невозможно...

Но князь шагал и философствовал:

– Живыми телесными глазами не заглянешь через эту перегородку, как ни становись на цыпочки. Человеческий разум ничтожество. Он – до стены. А за стеною – дудки! бессил-лен! Покойная моя княгиня Матрена была дура, но она теперь знает, что там. А я не глуп, да стою в потемках, перед запертою дверью. Догадки, теории лопаются, как мыльные пузыри. Евреи говорят правду: в раю осел умнее мудрейше-го из наших мудрецов. Поговорил бы я теперь с Матреною Даниловною... много охотнее, чем с живою.

В то время только что прошли по Руси первые слухи об американском спиритизме и появились первые адепты этого учения. Князь заинтересовался спиритизмом, выписал из Англии первые брошюрки Юма и с головою утонул в мире духов, грез и видений. Он изо дня в день занимался столо-верчением, муча и Муфтеля, и тогдашних своих дворовых фавориток – Аграфену и Серафиму, в которых почему-то

почудились ему медиумические способности. Бедняги решительно не понимали, что это за чертовщина и зачем, впутывает их в нее самодур-барин?! Аграфена была грамотная. Обе были сметливы. Однажды Серафима сказала подруге:

– Знаешь, Груша, этих самых щелчков, которых князь дожидается, я могу оказать сколько хочешь, и никто не догадается, что это я. Слушай.

Раздалось несколько костяных спиритических стуков.

– Как ты это делаешь? – удивилась Аграфена.

– Ишь ловкая: так и выдала, глупа была... Значит, повелась с господскими чертенятами – ведьмой стала!

Но Аграфена настояла:

– Ты знаешь: из этого нам может быть польза. Князь, когда долго не начинаются стуки, серчает, лается, – горе с ним тогда, одна неприятность. Когда ответы не складываются в слова, – еще хуже. А теперь, когда у тебя объявилось такое мастерство, у нас будут завсегда и удачные вечера – стало быть, без ругани – и складные ответы.

– Я стучу не хитро, – призналась Серафима, – большим пальцем на левой ноге. Он у меня не совсем по правилу: длинный и сухой какой-то, Бог с ним. Как сожмешь его, – он и щелкнет, точно орех раскусила. Я этим с детства баловала, братишек забавляла...

И, для примера, она простучала раз пятнадцать подряд.

– Могу и правой ногою, – только выходит хуже. Босою – ничего, а сквозь башмаки слабо слышно.

Девки похотали вдоволь...

– Однако, – спохватилась Аграфена, – как же мы будем правильно стучать, если ты не знаешь счета буквам и на какую сколько раз надо щелкнуть?

– Видно надо учиться грамоте, а, покуда что, мы с тобой устроим знаки.

– Как же?

– Ты грамотная, буквы по азбуке знаешь в порядке и на счет быстра. Когда князь заганет вопрос, ты загадай ответ и делай мне знак перстами, сколько раз выходит стучать по буквам; а не то за пуговицу возмись рукою... «Да» – глаза прищурь; «нет» – ухо почеси. Уж все эти знаки мы придумаем, успеем. А я буду коситься на тебя да постукивать по твоим знакам.

В первые дни знаков подруги сбивались и путались, но скоро наострились, так что сеансы – к великому удовольствию князя – пошли гладко и интересно. Ответы получались удовлетворительные почти на все вопросы, которые князь ставил коротко и ясно, а на длинные или предложенные на иностранных языках стол стучал на удачу: «да» или «нет». Когда «духи» отвечали невпопад, и князь переспрашивал или пробовал забираться в сбивчивые подробности, стол сердился и выстукивал:

– Не хочу говорить.

Увлеченный спиритической удачей, князь не подозревал обмана. Муфтель смекал, что между девками завелось ка-

кое-то мошенничество; он замечал, что они иной раз очень хитро переглядываются и даже как будто едва удерживаются от смеха; но, не понимая в чем дело, он только принимал лукаво-строгий вид: знаю, мол, я все ваши шашни и проказы, — чем, разумеется, утешал Аграфену и Серафиму еще больше. Впрочем, немца и самого забавляло, что так по-детски увлекается князь, который мнит о себе, что он на три аршина под собою насквозь видит.

— Удивительный человек наш князь! — говорил управляющий Хлопоничу, — в Бога не верит, в дьявола не верит, а в девок щелкающих уверовал!

Александр Юрьевич, в самом деле, был человеком проныцательным и легко угадывал людей. Но теперь фантастическая страсть совсем заслепила ему глаза. Его несколько огорчало, что стучащий ему дух-безымянный. Он много раз спрашивал:

— Кто ты?

И не получал ответа, потому что Аграфена не знала, как отвечать, и давала Серафиме знак: «Не хочу».

Наконец Муфтель сказал медиумичкам:

— Девки, вы бы хоть нарекли как-нибудь вашего сатану: вот как его сиятельство по нем убивается, что он не помнит своего родства и имени.

— Какого сатану, Карл Богданович?

— Э, полно! разве я не понимаю, что все эти разговоры устраиваете вы, бестии. Только как вы это проделываете, —

не могу отгадать.

– Ах как много в вас ошибки! – воскликнула Серафима, – смели бы мы шутить с князем?

– Стало быть, и в самом деле, шалют черти или покойники?

– Конечно, черти, Карл Богданович... Нам с Аграфеной от этих сеансов даже жутко, потому – хоть и не наша в том вина, а господский приказ, – но все же какого греха мы набираемся! Ведь это волшебство. За него в ответе на том свете. Да и страшно, инда дрожим.

– Ладно. Видел я, как вы дрожите. Палец вам покажи в то время, – обе прыснете. Щеки от смеха лопнуть хотят. Вот возьму и покажу палец.

Девушки расхохотались.

– Нет уж, Карл Богданович, не показывайте, а то и впрямь неровен час.

– Хорошо. Секрета вашего я знать не хочу. Черти – так черти, однако и у чертей бывают имена.

Девки приняли совет к сведению. В ближайший сеанс, на вопрос:

– Как тебя зовут? Стол простучал: – Анфис Гладкий.

Этот Анфис долго пребывал в оракулах с переменным успехом. Трудно было девкам морочить князя только тогда, когда он, уверившись в своем неизменном общении с таинственным Анфисом, стал писать и говорить свои вопросы не открыто, потаючись, про себя. Тогда Анфис внезапно глупел

и нес бестолочь, попадая ответом на один из десяти вопросов, да и то двусмысленно. Князь сердился, однако не утрачивал веры.

Однажды Хлопоничу привалило счастье. Дальняя родственница, седьмая вода на киселе, умерла бездетною, и Хлопоничу, ближайшему и единственному наследнику, досталось весьма недурное имение в Симбирской губернии. Сперва Хлопонич задумался: не перебраться ли ему в новые владения? Но, посчитав, убедился, что никакими хозяйственными доходами и выгодами не заменит он щедрот князя, которые, конечно, немедленно потеряет, если скроется с глаз волкоярского владыки. Приязнь-то у него недолгая: прочь с очей, – вон из памяти. Иметь же доходы с заглазно-го хозяйства Хлопонич не надеялся. Тогда он стал просить князя, чтобы тот купил у него это симбирское имение, так как оно близко прилегало к тамошним землям Радунского.

– Сколько просишь?

– Ваше сиятельство, просить не смею, что изволите пожаловать, то и возьму.

– Подай Муфтелю справки... если окажется недорого, оно мне, пожалуй, кстати, я возьму.

Насчитали Муфтель с Хлопоничем семьдесят тысяч. Поморщился князь:

– Большие деньги. Взмолился Хлопонич.

– Ваше сиятельство! Вы имение знаете: вдвое стоит.

– Ну хоть и не вдвое, а семидесяти тысяч – это ты прав,

помню, – стоит.

– Так зачем же дело стало, ваше сиятельство? Соблагово-
лите!

– Да решиться тревожно, братец. Это тебе не Мышков-
ские хмельники. Деньги велики.

– Развяжите душу, ваше сиятельство.

– Спешись?

Стал Хлопонин плакаться, что старший сын от первого
брака жениться задумал, выдела просит, а второй и третий –
один кончает корпус, другой Демидовское училище в Яро-
славле, обоих надо на службу экипировать; что от второго
брака дети тоже – кто уже свезен учиться в Кострому, кого
пора везти, маленьких полон дом, а Авдотья Елпидифоровна
опять на сносях ходит... Выслушал князь, кивнул головою.

– Хорошо. Я спрошу... посоветуюсь.

Изумился Хлопонич: когда же это было, чтобы князь
Александр Юрьевич советников не то чтобы искал, но хотя
бы принимал?

– Помилуйте, ваше сиятельство! Кого вам спрашивать?
Вы сами все на свете лучше всех знаете.

– Духа спрошу, стол стучащий. Как он скажет о твоём
имении, так тому и быть.

Оторопел Хлопонич.

– Слушаю, ваше сиятельство.

– Сегодня же вечером. Первым вопросом твоё желание
поставлю. Вот – нарочно – при тебе в памятную книжку за-

писываю, – смотри: «Взять ли мне за себя симбирское имение Хлопонича?» Возблагодарил Хлопонич князя и – по обычаю всех волкоярских просителей – бросился к фавориткам князя, медиумичкам Аграфене и Серафиме, с подарками и деньгами.

– Старайтесь, голубушки! Если устроится мое дело, я вас и еще благодарю!

Девки деньги и подарки взяли, но на посул заявили:

– Нет уж, вы, Андрей Пафнутьевич, это ваше «еще» теперь нам пожалуйста, до сеанса. А то мы – ученые! После дела с вашего брата взятки гладки.

– Богом вам клянусь, кралечки: ежели выгорит мое дело, не пожалею прибавить сто рублей.

– Не очень-то расщедрились: сами семьдесят тысяч ухватить норовите.

Сторговались на двухстах, да изумрудные сережки должен был подарить Хлопонин Аграфене, а Серафиме – отрез французского бархата.

К вечернему сеансу князь вышел серьезный и задумчивый. После обеда он видел во сне Матрену Даниловну и очень нехорошо, грозно видел. Пришла голая, желтая, обрюзгая. Ходит кругом, губами красными ворочает, чавкает, что-то жует.

– Что ты ешь? – спрашивает князь.

– А косточку гложу, Сашенька, косточку... твою, Сашенька, косточку – от ножки твоей.

– Что ты врешь, дура? Чай, нога-то моя – вот она, при мне!

– Не вру, Сашенька: мы, покойники, все так-то – в могилах лежим да друг друга едим.

– Так ведь это ты – покойница, а я то живой. Засмеялась и пальцем грозит:

– Отольются волку овечьи слезки!

Сновидение очень раздражило Александра Юрьевича, и напрасно Хлопонич утешал его, что видеть во сне покойника – это ничего, только к перемене погоды.

А Муфтель шептал фавориткам:

– Девушки! На совесть вам говорю: врите князю, что хотите, только приятное. В нем черная меланхолия расходилась. Давно таким не помню. Сам на себя не похож.

Хлопонич, изнывая в корыстолюбивой тоске, не разглядел настроения своего милостивца и все вертелся возле князя, пытая: не забыл ли он о дельце?

– Помню, братец... спрошу.

– В первую очередь обещались, благодетель?

– В первую, в первую...

– В самую первую, ваше сиятельство?

– В первую... сказано! – уже рыкнул Александр Юрьевич.

Хлопонин выкатился из кабинета горошком, выразительно переглянувшись с медиумичками. Князь заметил. Ему показалось подозрительно.

– Быть может, перешептались тут? – подумал он, садясь к столу и открывая спиритическую азбучку.

Притушили свечи. Завели орган. Серафима «впала в транс». Князь написал вопрос и, как всегда, положил бумажку на стол под шандал. Памятуя «первую очередь» вопроса о земле Хлопонича, Аграфена дала Серафиме знаки:

– Взять.

Серафима простучала. На лице князя выразилось величайшее изумление – до ужаса.

– Так ли это? – глухо спросил он, уже не скрываясь, вполголоса, после долгого молчания.

Аграфена моргнула Серафиме: стучи опять тот же знак.

– Впрочем, я так и думал, что это будет оттуда, – пробормотал князь. – Уведомь меня еще раз, чтобы я окончательно убедился, что не ошибаюсь.

Серафима опять простучала. Попросил князь в третий раз, – простучала и в третий. Князь встал и сказал:

– Спасибо. Теперь я знаю, что мне делать. Идите спать, девки, и ты, Муфтель. Сегодня заниматься больше не будем.

– Ты что же «веди» – то проглотила? – укоряла Серафиму Аграфена, оставшись наедине.

– Какие «веди»?

– Такие! Я тебе показываю: «веди»... «земля»... «я»... «твердо», стало быть, по началу стукни три раза, а ты выстукиваешь прямо с земли, семь разов...

– Недоглядела я твоих «ведей»... Грамотная я, что ли?

Князь тем временем блуждал по своему кабинету, мрачный, как ночь. Вопрос, заданный им Анфису, был вовсе не о

земле Хлопонича. Под влиянием неприятного сновидения, князь спросил:

– Чего я должен больше всего бояться в своей жизни? И стол трижды простучал ему слово: «зять».

– Опять эта девчонка, – с ненавистью думал князь. – Всюду и всегда она у меня на дороге, и даже самая погибель моя – от нее... И еще после этого люди будут удивляться, что я ее не люблю? Наши натуры противны друг другу, между нами природная антипатия... Она с тем и родилась, чтоб уморить меня... Но это ей не удастся, я ее перехитрю.

Глупая спиритическая случайность – ошибка в одной букве неграмотной девки, которую, должно быть, в самом деле толкнул в это время Анфис Гладкий, определила судьбу княжны Зинаиды Александровны. Князь решил, что, пока он жив, дочери его замужем не бывать.

Княжне Зинаиде в это время шел тринадцатый год.

Князь завернул в ее флигель, посмотрел на рослую, быстро развивавшуюся девочку и покачал головой. Он нашел, что время получить зятя для него не за горами. Еще года два-три, и Зина – уже. невеста.

Гувернантка княжны – старая, совсем обезножившая от ревматизмов немка – ко всему своему убожеству вдобавок еще и добрая до полного безволия, показала Радунскому слишком слабою охранительницей его покоя.

«Тут только не досмотри, – размышлял он, – ее и украдут, уводом уведут. Собою, надо полагать, будет недурна. Сосе-

душки жадные, – думают, конечно, что она не без состояния, да и правда: для такой швали, как они, и ее будущие деньги – капитал. Ведь законной четырнадцатой части у нее не отнимешь. Хорошо бы вспомнить матушку-старинку – сплавить ее в монастырь, пусть бы грехи рода нашего замаливала. Но время не то. Насильно – нельзя, добровольно – не пойдет. Если и уговаривать, – что пользы? Молоденьких, до тридцати лет, не постригают, – закона нет. На воспитание разве в монастырь отдать? Оно можно бы, каждый монастырь княжну Радунскую с радостью примет. А ну как она из монастыря-то убежит и замуж выскочит? Спасибо. Нет, мы лучше своим глазом досмотрим... Родитель-покойник или дедушка Роман Федотович не задумались бы как распорядиться, если бы им такая беда в глаза взглянула. Но не то время! не то! Да и годы мои тоже не те: нет энергии, чтобы выдержать шум скандала, нападки, угрозы, как бывало смолоду. С отцом воевал, на целый полк шел в одиночку – и одолел; царя не боялся; а теперь вот трушу, что не совладаю с девчонкой. Не бывать же тому! Скручу и ее, и судьбу, которая грозит мне ею». Он кликнул Муфтеля:

– Слушай, Карл Богданович, смотрел я намедни княжну Зинаиду. Видел и Густавсоншу. Она, брат, плоха: и стара, и добра чересчур. Девчонка забрала ее в руки, командует ею: дикою козою растет! Нехорошо. Я не против Густавсонши: пусть остается при княжне для наук. Но мне нужен настоящий присмотр за Зинаидою – верный человек, который бы

держал ее в ежовых рукавицах и был верен мне, как собака...
Понял?

– Точно так, ваше сиятельство. Няня требуется.

– Да, – только не для одного услужения, но и для смотра, и для строгости.

«Это выходит уже не няня, а тюремщица», – подумал Муфтель и сказал:

– Такая, ваше сиятельство, есть у меня на примете. Думаю, что и вашему сиятельству она будет по нраву, так как ваше сиятельство ее знаете и весьма отличали годов десяток тому назад.

– Кто такая?

– Матрена Никитишна, если ваше сиятельство изволите помнить... Еще ее Слобожанкою прозывали...

– Гм!.. помню. Пожалуй, что ты говоришь дело. Баба умная, расторопная, преданная, благодетельствована мною. Разыщи хоть Матрену. Я согласен.

Судьба Матрены-Слобожанки после ее ухода с княжого двора, несмотря на милость к ней Александра Юрьевича, сложилась невесело. Мещанин, за которого ее выдали, свершил все, что уездному мещанину в пределе земном свершить предназначается: завел торговлю и проторговался; проторговавшись, запил; запивши, проворовался, попал в острог и умер. Вдова осталась в бедности и жила, перебиваясь чем попало, не брезгая ни дурным, ни хорошим, когда прикатил к ней Муфтель с известием, что князь надумал-

ся поручить ей уход за княжной Зинаидой. Матрена обрадовалась княжеской милости, как только может обрадоваться умирающий с голода человек неожиданно упавшему с неба куску хлеба. Она наскоро спихнула своего подростка-сына в науку московскому куму-портному и, забрав свой скудный скарб, немедленно очутилась в Волкояре, где князь принял ее не без почета и, после долгого разговора наедине, поселил в садовом флигеле.

VIII

Княжне Зине исполнилось восемнадцать лет. Ростом и дородством она вышла в мать, а лицом в отца. Она не была красавицею, но статная фигура, богатеишие светлорусые волосы, замечательно белый цвет кожи и огромные серые, с отцовским стальным отливом, глаза делали ее очень видною девушкою. Она не осталась бы незамеченною в каком угодно обществе, если бы хоть когда-нибудь бывала в обществе. Более уединенной, более затворнической жизни, чем устроил князь в Волкояре для нелюбимой дочери, нельзя и представить.

Княжна после смерти матери выросла в полном забросе, никого не видя, кроме своей гувернантки Амалии Карловны и няни Матрены. Росла она едва грамотною. Девушка упрямая, самовластная, вспыльчивая и капризная – истинная Радунская по темпераменту и инстинктам – Зина, в этом князь

Александр Юрьевич был прав, в грош не ставила свою старую, добродушную безногую немку, нимало не боялась ее и не слушалась. Амалия Карловна любила Зину без памяти и скорее согласилась бы, чтобы княжна вовсе не умела ни читать, ни писать, чем увидеть на ее глазах хоть одну слезинку. Поэтому Зина занималась, чем хотела, как хотела и когда хотела. Чаще же всего она вовсе ничем не хотела заниматься. Если немка пробовала ее принуждать, своевольная девушка убежала куда-нибудь в глубь волкоярского парка, – и уж, конечно, не безногой Амалии Карловне было за нею угнаться. Если к этому прибавить, что и сама-то Амалия Карловна была чуть ли не из ревельских швеек или прачек, то будет понятно, что ее уроки Зине многого принести не могли. В результате всего этого восемнадцатилетняя княжна Радунская разнилась от девушек своей дворни только платьем да несколькими дюжинами ломаных немецких и французских слов, кое-как схваченных у гувернантки и у Муфтеля. Искалеченная и бессильная, Амалия Карловна не играла никакой роли в жизни садового флигеля. Настоящею хозяйкою в нем стала с первого же дня, как поселилась в Волкояре – Матрена-Слобожанка. Эта баба, выдавшая на своем веку всякие виды, уживчивая и покладистая, сразу сошлась с княжной и приобрела на нее огромное влияние. Матрена распоряжалась всем бытом флигеля – совершенно отдельным от быта княжеского дворца – и была предводительницей и руководительницей неустанной вражды флигеля с главным домом. А

вражда была сильная, хотя, разумеется, торжествовал в ней всегда и неизменно главный дом. Маленький князек, окруженный кормилками, боннами, няньками, был строго огражден от общества сестры. Даже когда мальчика приводили гулять в сад, княжна не решалась подойти к брату, потому что ей однажды навсегда было сказано придворными маленького принца:

– Вы бы, княжна, подальше держались: знаете, как князь к вам относится... Мы за вас можем быть в ответе.

Бабья свита сынка-любимца в своем холопском чванстве, конечно, глубоко презирала опальных жительниц флигеля и старалась всячески задевать их за живое, дразнить их, трунить над ними; тем более, что все такие выходки – жалуйся не жалуйся – сходили виновным с рук совершенно безнаказанно, если не считать ответных сцен, какие устраивала им сторяча Матрена. Она слыла в дворне и на селе бабой брехучею: не спустит обиды никому, хоть самому князю. Эта-то самостоятельность характера вместе с несомненной симпатией няньки к своей угнетенной питомице и привязали к ней Зину. Князь несколько ошибся в Матрене. Преданной ему она была действительно, но – лишь собачьею преданностью страха; Зину же она возжалела нутром, и Зина оценила это. Самовластная капризница, не признававшая над собою ничьей воли, кроме своей собственной, охотно подчинилась Матрене, и, когда нянька приказывала что-нибудь, слушалась беспрекословно.

– Ты мне новая мама, – говорила она.

Нелепая задача, возложенная князем на Матрену – следить, чтобы княжна по возможности не знала мужского общества – оказалась нетрудною, так как половину ее выполнил князь. С годами он совсем одичал; у него не бывал никто из соседей. А если и навертывался какой-нибудь случайный гость, то принимали его, конечно, в главном доме, даже не заикаясь о забытой княжне, отшельнице садового флигеля. Едва ли не единственными мужчинами, кого видала Зина, были: Муфтель, слуги и, в последний год, – Конста, сын няньки Матрены, нежданно свалившийся из Москвы на волкоярские хлеба; Но как ни унижил Александр Юрьевич свою дочь, все-таки для нее, княжны Радунской, этот народ не имел пола. Это были безличные живые машины для исполнения приказаний – не более. За исключением же этих людей, Зине решительно некого было видеть. Даже отцу она показывалась на глаза лишь в дни своих и его именин да по большим праздникам.

Дело доходило до того, что, не желая видаться с дочерью чаще обязательных встреч, князь запретил пускать ее во дворец свой по главному подъезду и парадной лестнице. Если княжне надо было повидать кого-либо во дворце, она должна была пробираться боковыми крыльцами и держаться в задних комнатах, куда, можно было наверное рассчитывать, князь не заглянет. И даже в редкие официальные встречи отец не умел и не хотел скрыть своих чувств к дочери – слож-

ной смеси гнева и боязни, одолевавших волю его, будто одержимого.

– Какой праздник? – бормотал он, – что за праздник? Кому нужны праздники? Кто верит в праздники? Ну-ну-ну... благодарю... вот тебе!..

Она со страхом целовала у него руку; он с отвращением, только приличия ради, целовал ее в лоб, совал ей наскоро в руку сторублевую бумажку и спешил расстаться с дочерью, сказав ей несколько спешных, ничего не значащих фраз:

– Ну-ну-ну... Там... ты довольна?.. Там все для тебя... Муфтелю велено. Спрашивай. Веди себя хорошо. Прощай.

Даренные князем деньги Зине и девать было некуда, так и лежали они у Матрены в шкатулке. Когда княжне исполнилось шестнадцать лет, Муфтель, по приказанию князя, передал ей бриллианты ее матери. В унылой теремной жизни княжны появилась, по крайней мере, новая забава: она была способна по целым часам играть в свои камешки, утешаясь их яркими переливами.

Необразованная, невоспитанная, Зина развивалась на опасной почве – точно пышная лилия на гнилом болоте. Во флигель постоянно забегали к Матрене посидеть и посудачить о том о сем ее приятельницы из дворовых женщин. На княжну эти бабы смотрели, как на существо переходное от «своей сестры» к барышне, и не стеснялись при ней никакими откровенностями, сплетнями и двусмысленностями. Таким образом, перед княжною последовательно проходили

все романы Волкояра, не исключая любовных походов ее отца. Распушенность волкоярских нравов не знала границ, сплетня – также, – и юная головка княжны была отравлена, воображение ее было развращено, даром что свет и жизнь не касались ее своею действительностью. Она, по разговорам, знала все, что принято обыкновенно скрывать от девушек. Никто и не думал о том, что эта оригинальная узница растет, развивается, зреет; что она такой же человек, как и все другие, с такою же плотью и кровью, как и у всех других. Все точно порешили вместе с князем, что Зиночке суждено быть «бесщастною» – так тому и быть. Но она-то не порешила и бунтовала, – хотя еще глухо, про себя, но уже бунтовала. В тереме своем княжна – пока была подростком – часто чувствовала себя жутко и тоскливо, но то была тоска неопределенная и безобидная, исходившая исключительно из недовольства затворническим одиночеством. Девочке хотелось бы повеселиться, порезвиться, побыть на людях, а тут – тюрьма. С годами же в Зине ясным и понятным языком заговорило самолюбие, и вот тогда-то открылся ей во всю свою величину ужас ее несносного положения. Она – по природной гордости, вполне достойная дочь своего отца – признавала себя последним лицом даже в ничтожной среде, ее постоянно окружающей. Матрену часто навещала ее племянница – красавица Олимпиада, высокая, белая, статная девка в платьях из дорогих, – гораздо лучших, чем на самой княжне, – материй, в золотых браслетах и бриллиантовых

серьгах. Княжна хорошо помнила эту Олимпиаду грязной и оборванной дворовой девчонкой Липкой. А теперь Липку князь сажал с собою за стол. Муфтель, встречая ее во дворе, сажень за пять снимал картуз и кланялся чуть не до земли; сама княжна принуждена была звать ее Олимпиадой Евграфовной, здороваться с ней как с равной и покорно сносить, если фаворитке приходила фантазия звать ее, без церемонии, Зинойчкой.

Этой выходки, впрочем, даже Матрена не стерпела. Так и вскипела за питомицу свою, так и зыкнула на племянницу:

– Какая она тебе Зинойчка, пес? Ошалела ты, барская барыня? Раскаркалась ворона, – залетела в высокие хоромы!

Олимпиада смутилась было.

– Ежели их крестили Зинаидою, то – кроме Зинойчки – как же их в ласковости назвать?

– Да не смеешь ты, ничтога, барышне ласковость оказывать! Хамка ты! Она для тебя княжна! Ваше сиятельство!

Но Олимпиада уже оправилась и приняла гордый вид.

– Вы, тетенька, не кричите. От крика пользы нет, только уши пухнут. Я вам ничего дурного не сказала, а в вашем положении надо быть скромнее и горячиться – ни к чему. С моей стороны это большая смелость и учтивость, что я, помня родственные чувства, так свободно вас посещаю и с вами разговариваю.

– Что-о? – взревела Матрена. – Да ты с ума сошла? Пред кем ты стоишь? с кем говоришь? Ах ты, шлепохвостая!

Но Олимпиада отпела, глазом не моргнув, и словно Зины тут и не было.

– Я к вам и к княжне настолько благородна, что рискую быть за знакомство с вами в строгом ответе, а вы, однако, между прочим, лаетесь. Но я это отношу к вашему несчастью и необразованию и на вас не обижаюсь. Напротив: если что вам нужно у князя, пожалуйста, прямо ко мне. Я вам помочь всегда готова... Прощайте, тетенька! до свидания, Зиночка!

И ушла, торжественно шумя пышными юбками. Матрена чуть на нее не бросилась, но Зина сдержала:

– Мама Матрена, оставь!

– Как оставить, Зинушка? Племянница она мне или нет? Я учить ее должна! Как есть очумела девка! в шалом бреду ходит!

– Не очумела она, а обнаглела, – угрюмо сказала Зина. – Одна она, что ли? Все из дворца стали теперь к нам таковы...

– Шлюхи! швали! – кипятилась Матрена, – что же это, Господи? Жили худо, а такого еще никогда не было.

Зина взмахнула на нее огромными, стальными отцовскими глазами своими:

– Чему же хорошему быть, если отец сам подает пример?

– Каков он с тобою, это его родительское дело. А девки – рабы! Не смеют они! да! не смеют!

– Кого им бояться-то? Кроме тебя, за меня заступиться некому – никто слова не скажет, пальцем не шевельнет. За-

точенные мы с тобою. Сгинем в своем павильоне и пропадем, как покойная мама через него, изверга, пропала.

Но, едва речь князя касалась, у Матрены сразу пропадало все мужество. Она даже в лице выцветала и только крестилась, да – шикая на Зину: «Кыш ты! кыш! кыш! про отца-то родного? Да он тебя расклеянит, разразит! – боязливо поглядывала по окнам, не подслушивает ли кто – не довели бы злые холопы до лютого господина своего дерзких дочерних слов. – Не шуми, Зинаида, пожалей ты свою и мою голову. Не шуми».

Все эти унижения глубоко ложились на душу княжны. Кровь, кипела в ней. На нее стали нападать то безотчетная тоска, то припадки безумного гнева. Из-за каких-нибудь пустяков она кричала, бранилась, бросала вещи на пол, топтала их ногами. В такие минуты даже Матрена терялась, что ей делать со своей воспитанницей. Просьб не слушает, на брань и на прикрикивания огрызается, побить – что прежде случилось и, по любви, переносилось легко – уже поздно: не девчонка, сама сдачи сдаст, – да и жаль: за что бить? Разве не видно, что девушка стала сама за себя не ответчица, и все ее вины не виноваты? И – действительно – Зина сама была не рада своему характеру и, после сцен бешеного гнева, переходила к не менее бурным сценам раскаяния – плакала, давала зарок овладеть собою, просила прощения у Густавсонши и Матрены, целовала у них руки...

– Эка кровяща-то в тебе гуляет, девка! – смущенно гова-

ривала тогда Матрена, – ни словом тебя не унять, ни водой отпить... вся в отца: зверь зверем!

А Густавсонша всхлипывала:

– O, du armes grossmüthiges Kind! Was flir ein edles Herz!
Mein Gott! Mein Gott!⁸

И в неизменном добродушии своем была уверена, что дикие сцены больше уже не повторятся после данного Зиною честного слова. А Зина, на другой же день после своих трогательных покаяний, устраивала скандал лучше вчерашнего.

– Замуж тебе пора, Зинаида Александровна! – вздыхала Матрена.

– Кто меня возьмет? Я необразованная.

– Зато из себя видная. Княжна!

– Бесприданница! – горько подчеркивала Зина.

– Только бы родителя уломать, чтобы он блажь свою насчет тебя переменял, а то женихи тебя – и без приданого – с руками у нас оторвут.

Зина безнадежно махала рукою.

– Э! какие женихи! Кого мы видим? Каких людей? Кто меня видит? Тюрьма! тюрьма! тюрьма!

Зина знала, что отец никогда и ни за кого не позволит ей выйти замуж. Между тем все ее одинокие мечты, – а для них она имела свободными двадцать четыре часа в сутки, – были о замужестве. И не столько манили ее замуж возраст

⁸ О, бедное великодушное дитя! Какое благородное сердце! Мой Бог! Мой Бог! (нем.).

и молодая чувственность, обостренная воспитанием между грубо-откровенными женщинами, для которых в чувственности не только укладывалась вся любовь, но слагался и почти весь интерес самой жизни, – сколько толкала неволя. Брак манил ее воображение главным образом потому, что это слово было для нее равносильно слову «свобода». Волкояр был ненавистен ей, как тюрьма, а князь-отец, как опытный, беспощадный тюремщик. Бывали минуты, когда Зина всю себя чувствовала воплощенной злобою на отца, и если бы князь Александр Юрьевич видел в эти минуты свою дочь, он не отказался бы признать в ней свою плоть и кровь, свой живой портрет. Не раз Зина мечтала убежать из дому, но – куда идти, зачем идти? Она понимала, что очутится в жизни, как в темном лесу, и бегство кончится лишь тем, что ее опять привезут в эту же отцовскую тюрьму. Притом, почти никогда не видаясь с отцом, она все-таки разделяла суеверный страх, какой внушал «Чертушка на Унже» всем окружающим. Отец представлялся ей человеком, от которого не уйти, не уехать, не улететь на ковче-самолете, не уплыть щучкою в море; он всюду погонится за нею грозною, неуклонною тенью, внезапно вырастет за спиною, настигнет ее, схватит и накажет страшною расправой. О том, чтобы жаловаться на отца, искать людей сильнее его, ей и в голову не приходило. И вот она, невероятными усилиями над собою, сдерживала свои мечты и порывы и, под призором няньки, вяло влачила скучные дни... Едва расцвела, а уже готовилась

бесплодно отцвести и завясть. В восемнадцать лет выработывала себя в обреченную старую деву, день ото дня ожесточая в себе замкнутое сердце свое, уже от природы крутое и буйное. Характер слагался угрюмый и опасный. Привыкнув терпеть оскорбления, Зина мало-помалу начала находить в них то злобное самоуслаждение, то язвительное сладострастие обиды и бессильно-мстительного злопамятства, которым учат людей только тюрьма да рабство. Именно – «глотать» оскорбления перестала, а жевать и смаковать их выучилась. Сидит под сумерками с нянькою на крыльце Психиатрической больницы и шипит, как змея, поливая ядом кипящие в сердце гнев!

– Платье-то на Олимпиаде? Ха-ха-ха! Французская материя – издали видать. Серьги бриллиантовые, браслеты, золотая цепочка... ха-ха-ха! А у меня башмаки дырявые, и Муфтель ждаться просит: не смеет в расход включить, – его сиятельство осердятся... Без башмаков держит! Барышню! Взрослую дочь!.. А девка в бриллиантовых серьгах, в браслетах. А давно ли босиком по лужам шлепала, индюшек пасла?

– Это – как есть! – поддакивала Матрена.

– Тварь ползучая! Нашел сокровище – наверх взять! С псарями под заборами валялась... Помню я!

– Ну этаких дел помнить тебе неоткуда, – остановила нянька.

Зина вскинула голову – надменное лицо, глаза металлом сверкнули, – надменно-отцовский голос:

– Что такое?

– То, что не видала ты таких примеров, а слов подобных не должна выкликать. Ты девушка. Стыд имей.

Зина выслушала и зловеще улыбнулась.

– Я где живу, нянька? – спросила она с нехорошим спокойствием.

– Что-й-то – где? Известно – где. В Волкояре живешь, у папеньки.

– Откуда же мне было стыда набраться? У волкоярских людей стыда нет. Какой такой стыд на свете живет? Я не знаю. Всего в Волкояре насмотрелась, а стыда не видала. Гувернанток, учительниц не имела. С девками росла... С родительскими наложницами. Все знаю. Про всех. И про тебя, мамушка, тоже... какова ты была, когда он тебя – молоденькую-то – наверху держал!.. Все до ниточки! По-французскому, по-немецкому, – этого я не могу: не научили княжну, не удостоилась... А кто с кем спит, это я тебе хоть про весь Волкояр. День-деньской длиннохвостые сороки во флигель вести носят... И не стыди ты меня! Не хочу я никакого твоего стыда! И так в неволе этой безумной... Что ты мне стыдом в глаза тычешь? Без стыда-то я хоть посмеюсь!.. Смехом из себя злобу выведу!

IX

Когда в Радунском объявился Конста, затворницам стало

немного веселее.

Сынишка Матрены, отданный ею в ученье к московскому купцу-ремесленнику, в столице свихнулся с пути. Брошенный мальчиком в мастерскую вечно пьяного портного, в глубине какой-то Драчевской трущобы, он не взвидел света от потасовок. Однажды, когда хозяйский шпандырь чересчур усердно поработал по его спине и ребрам, Константин – уже четырнадцатилетний парень – сбежал, стянув у пьяного хозяина малую толику товару и денег. Сбежал и как в воду канул. Его поглотил океан столичной бесприютной и беспаспортной голи, что уже клокотала в то время на дне столицы, только что начинавшей обстраиваться на европейский лад, расширять свои окраины, обзаводиться бойкою ремесленной, торговой и фабричной жизнью. Шатущая жизнь переласывала Константина с места на место, из части в часть, из одного конца города в другой, как мячик; если бы полиция и хотела его поймать, так при тогдашнем формальном, долгом порядке и переписке было трудно. А и ловить-то ей была не велика корысть: с хозяина Константина, чуть ли не такого же голыша, как и сам беглец, были взятки гладки. В своих перелетах по столице Константин спознался и освоился со всяким вольным народом. К шестнадцати годам из него выработался отчаянный уличный плут и вор, хорошо знакомый преступным подонкам Москвы, – удальцам и проституткам «Ада» на Цветном бульваре, «Волчьей долины» у Каменного моста, Крестовской заставы, Марьиной роши, от которой

теперь остались: две березы, повесть Жуковского да у дряхлых старожилков – пьяные воспоминания. В то время еще и Сокольники были едва-едва застроены; на Ширяевом поле, над Яузой, роптал столетний бор; сельцо Богородское, – две-три хатенки лесного люда, – терялось в дубравном мраке; на Лосином острове и в самом деле водились зимою лоси; переправа к Богородскому через Язу вместе с шинком над нею звалась Грабиловкою. По преданиям, здесь в половине XVIII века имела свой притон знаменитая Танька, ростокинская разбойница, и пировал, и людей губил, то мертвою хваткою пятерни своей, то доносом и предательством – Ванька-Каин. Унаследованные от восемнадцатого века привычки были крепки, и лишь к восьмидесятым годам XIX-го место это перестало слыть разбойничьим. В начале же пятидесятых годов, когда Конста окончательно завертелся в воровской компании, Грабиловка была местом страшным. У дороги, в кустах и под мостом, залегали громилы, поджидая проезжих, и не один труп, ограбленный догола, переносила в Москву-реку, к устью, тогда еще не засоренная и не семцветная Яуза. Всякую работу Константин бросил и питался исключительно тем, что давали ему улица и воровская удача. Он был смел и ловок и голодом не сидел. Ему везло каторжное счастье – «фортунило», как говорят хитровцы: раза три он вывернулся из трудных перетасовок, по которым его менее ловкие товарищи пошли «соболей ловить». Воровской народ подметил, что Конста – такова была его уличная клич-

ка, за которую забылось и настоящее его имя, – точно приносит удачу предприятиям, в которых принимает участие. Он стал знаменитостью; его отличали и приветствовали бродяги-товарищи; женщины улицы и ночлежных домов гонялись за ним, наперерыв стараясь отбить одна у другой такого мастера и добычника. Конста не пьянствовал, но водку пил и с женщинами стал знаться с пятнадцати лет.

Но всякой удаче бывает конец. На девятнадцатом году своей жизни Конста попал в подозрение по разгрому одной дачи в Сокольниках. В деле этом он, действительно, участвовал, попав новичком в компанию опытных старых громил. Участие Консты состояло в том, что он бесшумно высадил с помощью вымазанных медом листов бумаги три стекла в оранжерейной раме, сквозь которую и пробрались его товарищи, а потом стоял на стреме, пока они вернулись с узлами. Дорогою в Грабиловку Конста узнал, что товарищам его пришлось «оглушить» лакея и горничную, проснувшихся было, когда они крались уже с ношею мимо людской. Уложили они этих горемык насмерть или только обеспамятили, – громилы не знали. У Консты екнуло сердце. Он до сих пор не был причастен к крови.

«Не бывать добру, а худа не миновать!» – подумал он.

На дерзкий грабеж было обращено внимание высших властей, – и полиция с ног сбилась, стараясь отличиться в поимке преступников. Один проболтался, был схвачен и назвал остальных. Вскоре остался на свободе только Конста; он, с

ночи преступления, осторожно держался в стороне от своих соучастников; но выслеживали и его. И попасть бы Консте за каменные стены, кабы не был он бабьим любимцем и баловнем; бабы и кормили его, и укрывали, и перегоняли, загодя до опасности, из одного притона в другой. Таким образом, недели три с лишком Конста метался по Москве, увертываясь от розысков, точно волчонок от стаи гончих. Наконец, в платье своей любовницы, – фабричной работницы Груньки Щербатой, – он вышел за заставу и только за Мытищами опять превратился в мужчину...

И вот Конста пропал, и слух о нем простыл в Москве. А вынырнул он живым и невредимым в Волкояре, и здесь, под крепкую руку князя Александра Юрьевича Радунского, вздохнул спокойно. Князю он понравился, а мать, обрадованная неожиданным приходом сына, – он же, кстати, явился в Радунское не с пустыми руками, – выхлопотала для него у Муфтеля место – сторожем к саду... Дела не было никакого: огромный волкоярский сад давно уже глож без всякого ухода. Но Матрене хотелось, чтоб обретенный ею блудный сын оставался как можно ближе к ней и под ее непосредственной охраной.

Князь любил видеть вокруг себя богатырей и здоровяков. Его егеря, псари, конюхи, кучера смотрели какими-то двуногими слонами: все народ – кровь с молоком. Поэтому Конста, истощенный столичными мытарствами, резко выделялся среди волкоярской дворни. Это был высокий, костлявый,

тонкий, как хлыст, и такой же гибкий малый – блондин, с вихрастой головой и большими голубыми глазами, наглыми и веселыми, – «заманущими», как говорили дворовые женщины. Столичная водка и разврат ночлежных квартир не дали ему доразвиться как следует. Грудь у Консты была впалая и узенькая, острые плечи немного сутулились, но длинные руки с продолговатыми мускулами таили в себе недюжинную силу, а ловок и увертлив был Конста, как бес. Если бы не чрезмерная хуцоба, бледное, без кровинки, чуть-чуть веснушчатое лицо Консты могло бы назваться красивым, особенно, когда он оживлялся, смешил других своими рассказами о Москве и сам хохотал над своими похождениями, скаля из-под узких губ острые, неправильные и уже попорченные зубы. Мастер он был на прибаутки, побасенки, модные слова, – и при этом строил такие диковинные рожи, что волкоярская деревенщина умирала со смеху. Смешил Конста дворню, смешил Муфтеля, смешил обитательниц садового флигеля. По вечерам, когда Матрена с княжной усаживались в сумеречной прохладе на ступенях крыльца своей уединенной обители, Конста без умолку плел им небылицы о Москве. Ему самому было скучно в Волкояре; и он понимал настроение флигельских затворниц, а они его понимали также. Наступили как раз последние николаевские дни, в воздухе пахло войною.

Севастопольский разгром, еще никем не ожидаемый, уже висел дамокловым мечом над Россией, во искупление трех-

сотлетних крепостных грехов ее, в возмездие за тридцатилетний «покой, полный гордого доверия»... Мрак стоял над Русью гуще, чем когда-нибудь. Рабство казалось бессмертным и непоколебимым. А между тем – когда все было полно или отчаянного самодовольства, или отчаянного ужаса безнадежного застоя – в народном мраке билась неясная живая жилка, что-то бродило, зрело... Тогда-то прошел по крестьянской Руси слух о «новых местах». Новороссийские степи, Одесса, черноморские берега носились в воображении русского крепостного или бесприютного люда, как оазисы с молочными реками в кисельных берегах. Этими слухами потянуло и в Волкояре. Принес их богомолец от Киева-града – тот самый Антип, что в день смерти княгини Матрены Даниловны ударился в бег. Тому пошел уже десятый год, и волкоярцы давно почитали старика – он и в пору бегства своего был древен – в покойниках.

– Ты зачем же к нам пожаловал дед? – спрашивал его Муфтель, – или наскучило на воле?

– На воле, сударь Карла Богданович, никак никому наскучить не может. Но желательно успокоить свои кости в родной земле.

– Князь, выходит, тебе не страшен? Я должен доложить о твоём возвращении, а он, дедушка, не любит, если кто от него бегаёт; милости не жди...

Старик ухмыльнулся.

– Что мне может сделать князь? Я доживаю восьмой де-

сяток. Хуже смерти мне быть ничего не может, а смерти я не боюсь и даже очень желаю. Самое время, Карла Богданович. Зажился!

– Смотри, старик: не пришлось бы готовить спину для расчески, – предупредил Муфтель. – Кому плеть, а тебе, пожалуй, и все две. Не больно охоч князь Александр Юрьевич до вас, старых стариков, папеньки своего прихвостней.

Антип пожал плечами:

– Да меня и драть-то не по чем... Секи, друг, коли совесть не зазрит. Хлопай по костям. Все равно, что – на муху с обухом.

Муфтель доложил князю о вернувшемся беглеце. Александр Юрьевич не велел наказывать старика, но пожелал его видеть. Когда Антипа проводили по барскому двору, с крыльца главного дома сходил вприпрыжку девятилетний князек Дмитрий Александрович, в сопровождении своего дядьки.

– Князек молодой? – спросил Антип своих провожатых.

– Он самый, Антип Ильич.

– «Сам» любит сынишку-то?.. или – как с княжной?

– Какое! души не чает.

Потухшие глаза старика сверкнули любопытством, и на лице заиграла странная улыбка – насмешливая, холодная, жестокая.

– А княжна Зинаида по-прежнему в черном теле?

– Как было, так и сейчас.

Улыбка Антипа стала еще резче. С тою же насмешкою во злорадных глазах стоял он перед князем.

– Здравствуйте, Антип Ильич, здравствуйте, – приветствовал его Радунский, – приятно вас видеть... Сколько лет, сколько зим. Нагулялся, старый черт?

– Нагулялся, – коротко возразил Антип и не прибавил «ваше сиятельство».

– А уходил куда?

– К Богу ближе захотелось.

– От нас, стало быть, к Нему далеко? Усмехнулся Антип.

– Да не близко, – рукою не достать.

– Скажи пожалуйста! А ведь я, по глупости, думал и в катехизисе, помню, учил, что Он вездесущ и, следовательно, до Него от всех мест – одинаково?

Зорко посмотрел на него Антип.

– Напрасно думали. Бог на воле живет. В крепости Бога не бывает.

– Люди-то, по-твоему, выходит, пред Ним не все равны?

– Так – люди ж... а которые в крепости – разве люди? и который крепостью владеет – разве человек?

– Кто же?

Не выдержал Антип прямого стального взгляда, насмешкою налитого, отвернулся, под нос себе проворчал:

– Что мне вас учить? Имеете возраст и ума довольно. Самы знаете.

Долго молчал князь, рассматривая бегуна с любопыт-

ством, как невиданное чудовище.

– Вот ты какой философ стал... Умудрился, любезный, поздравляю, просветлел.

– Мир видел, – гордо сказал Антип. – Между людей тереться – ума наберешься.

– Хорошо, если так, – с большою насмешкою похвалил князь, – а слышал ты, старик, что меня соседи ныне стали Чертушкою на Унже звать? Как же! Нашелся какой-то остроумец – метко потрафил.

Промолчал Антип.

– Или вы, Антип Ильич, настолько великодушны, что Чертушки во мне не усматриваете?

Промолчал Антип.

– То-то! – говорит князь. – Обмишулился ты, Антип Ильич. Охота тебе была от меня куца-то там к Богу бегать, юли от Бога ты все равно назад, ко мне, к Чертушке, пришел? Тебе бы лучше наоборот.

– Ничего, – отвечает Антип, – жизнь свою определить и прикончить где-нибудь надо. В рай не пускают, – так в аду.

Тут уже князь немного осекся. Хватило его по лбу. Задергал было усами, Муфтель уже вперед подался, ожидая: вот-вот пальцем кивнет, чтобы вели бегуна на конюшню... Да взглянул князь на Антипа, сколь тот бесстрашен и гневен стоит перед ним и прямо, и гордо в мрачные очи ему глядит, – и заулыбался.

– Резон, – говорит. – Ну, старик, не знаю, набрался ли ты в

бегах ума, но дерзить выучился. Только напрасно, дед: дудки! Не выпорю.

Покоробило Антипа.

– Ваша воля, – сказал он будто бы и равнодушно, но глаза, как свечи, зажглись.

– Да. Не выпорю. Потому что очень уж ты напрашиваешься. А я вот и не трону. Что тебя истязать? Ишь как ты приготовился! Тебя пороть теперь – одно тебе самодовольство. Я такого человека никогда пальцем не коснусь.

– Ваша воля.

– Именно, душа моя, что моя. Тебе вот мучеником быть хочется, а я тебе вместо мученичества – шиш! Розог и плетей больнее... Так-то, старик! Злись не злись, дерзи не дерзи, хоть родителей моих не добром помяни, – не выпорю. Только смеяться буду, как тебя от злости корежит.

Почернел Антип.

– Умеете надругаться над человеком. Что и говорить! Понравилась новая забава князю, что у него в крепости объявился такой свой философ, – мысли вольные в голове имеет, а силенки оправдать их нет. Повадился призывать Антипа каждый день пред свои ясные очи и истязать словами. Со всем шута из старика сделал. И чем тот больше волнуется, тем князь, как бес, холодный.

– Ходил ты к Богу, Антип, а ведь Бог-то тебя не принял.

– Ну и не принял. Вам-то что?

– Не принял, не принял... Смирения в тебе ни капли нет.

Ни спокойствия, ни смирения нет.

– Ему чистые духом нужны, а не такие, как мы с вами.

– А-а! Полюби нас черненькими, беленькими нас всякий полюбит...

– И вы покаетесь, да – поздно.

– Лучше поздно, чем никогда. А вот неудачно покаяться, как ты... это, должно быть, неприятно.

Участливым прикинется:

– С чего ты бежал-то, в самом деле? По Матвею заскучал?

– Так точно, – рубит Антип.

– Вот скажи, если знаешь: с какого лиха он стал черту баран? Сколько лет вспоминаю его: не могу понять. Кажется, не был от меня ничем обижен.

Много злобы было в потупленных глазах Антипа, когда он глухо бормотал свой ответ:

– Ничего мы не знаем, и кто может знать? Знает Царь Небесный... Чужая душа – потемки... Карает нас Господь за беззакония наши в чадах наших даже до седьмого колена.

Хохочет князь.

– А, что правда, то правда, Антип. Беззаконник ты. Кого хочешь по уезду спроси, всякий тебе скажет: бывали у князя подлецы-приказчики, а все не такие, как Антип Ильич...

– Для вас же совесть грязнил и славу свою в людях портил...

– Те-те-те! С больной головы на здоровую. На меня своих грехов не перекладывай. Ты не мой слуга, покойного па-

пеньки. При немоприричничал. Зверь.

– Что стариною корить? Был зверь, стал человек. Дай Бог всякому.

– Чудо природы: зверь в люди вышел!

Недели полторы этак тягал князь бегуна и мучил. Наконец надоело.

– Куда же, отставной зверь, мне теперь тебя определить? К делу ты не годишься, а нищим на паперти сидеть, под окнами в кусочки ходить – нельзя: из моих крепостных нищих не бывает, только захожие... Муфтель! что с ним сделать?

– Я так думаю, ваше сиятельство: положить ему паек и поселить его в садовой бане; пусть – будто сторожит, дело не мудреное.

– Там сторожить-то нечего, – презрительно заметил князь, – развалина. Я думаю, ее не топили уже лет шесть...

Он взглянул на Антипа:

– Ступай, старик, не поминай меня лихом. Живи – служи. Взыска на тебе не будет. Вот тебе, лысый, какая благодать: десять лет бегал и выбегал богадельню!

Заброшенная баня, где поселился Антип, уже несколько лет служила садовникам складом для их орудий. Заходя иной раз за скребком или лопатой, Конста разговаривал со стариком, который, с наступлением весны, по целым дням сидел на банном крылечке, грея на солнышке старые кости. Тут-то он – первый в Волкояре – просветился сказанием бродяги-очевидца о «новых местах» и о привольной в них жиз-

ни. Рассказы Антипа всколыхнули всю его страстную душу. Он нашел свой идеал и уцепился за него всеми своими помышлениями. Он бредил новыми местами и делился впечатлениями в вечерних беседах с матерью на флигельском крыльце.

– Эх, кабы хороший товарищ, да денег побольше... так рублей пятьсот либо тысячу, – часу бы не сидел в этой вашей мурье. Ударился бы я в Одест-город!

– Только там тебя и не видали, – лениво отзывалась Матрена. – За каким бы это лихом, дозволю спросить?

– Зачем за лихом? Добра сыщем. Большую бы я там коммерцию завел, потому как у меня к этому делу охота и талант есть.

– Откуда знаешь? В купцах-то, кажись, не бывал, – разве что в проходных дворах пылью приторговывал.

– Сердце, маменька, говорит, потому что я свой профит до ужаса как глубоко понимаю. Вот хоть сейчас парей держать, – десять годов от сего дня спустя – миллионщик, Константин Егоров Завесилов, первой гильдии купец и кавалер.

– А я так думаю, что просто ты по этапу давно не хаживал, так в охотку?

– Этап не для нас...

– А для кого же?

– Этап для дураков писан.

– А ты умный?

– Я, известное дело, маменька, рассудком в голове ма-

ленько владею. А в Одессе большие дела можно делать. Пшеница эта... табак... виноград... Ну, а ежели смелый дух в сердце имеешь, так и того лучше – беспошлинный товар через границу перевозить – мимо таможни: мое вам почтение, здравствуй да прощай! По трюмам пароходным работать, – хозяев от товара, а матросиков от лишнего труда облегчать, чтобы разгрузка спорнее шла и дешевле обходилась, – тоже дело не худое, будешь иметь свою халтуру.

– Чай, вашего брата за это не хвалят.

– Да уж тут, на контрабанде, знакомое дело, чья взяла. Может, – на всю жизнь богат будешь, а то и ко дну, рыбам на корм, пойдешь. Пуля в лоб – и шабаш. Опять же законы военного времени. Князь Воронцов сидит, и власть ему дадена – что султану Махмуту, как царь второй. Захотел – без вины повесил; захотел – виноватого помиловал. Но я, маменька, того мнения, что два раза не помирать, а одного не миновать, и еще не сеяна та конопля, из которой веревку совьют, чтобы Константина Егорова Завесилова повесить. А живут там из наших ребята – во как! хорошо живут.

– Бреж ты малый! Как ты до тех мест дойдешь-то? Пашпорт-то где у тебя?

– Пашпорт что? Первое дело: и без пашпортов люди живут. Второе – на новых местах пашпортов не требуют; а кроме того... пашпорт – дело рук человеческих; на эту механику у нас имеются свои мастера знакомые. Была бы бумага, а там разбирай, кто ты – цеховой Завесиллов или граф Бутылкин. На

роже клейма не положены, а написать – все пропишем и даже при казенной печати.

– Непутевый ты, Консточка, право, непутевый! – вздыхала Матрена.

– Ну нет-с! Я своего пути не терял, да и вас еще на путь наведу.

– Помяни ты мое материнское слово: не миновать тебе Сибири.

– И Сибирь – земля, и в Сибири люди живут.

– Живут, да худо.

– А худо будет, – убегаем.

– Вот каторжный! Истинно каторжный в тебе, Конста, дух! И в кого такой уродился!

– Как тятеньки не припомню, единственно надо быть, что в вас, маменька.

– Ах, жулик московский!

И что не сойдутся – видать, что у всех в мозгах одна и та же мечта завязла: опять же за ту же игру, – дела нет, так хоть словами побаловаться.

– Так на новые места?

– Как пить дать.

– А скоро?

– Как скоро, так сейчас. За малым дело стало: денег нет.

– А денег нет, стало быть, и разговор твой весь пустой, и напрасно ты его затеваешь.

– Денег, старики сказывают, нет перед деньгами. Что нам

деньги? Мы сами деньги! Выньте, маменька, тысчонки две из вашей укромной щикатунки, дозвоьте в пустыню удалиться от прекрасных здешних мест.

– Это тебе все Антипка голову морочит! Вот я его, ужо увижу – отчитаю.

– Бывало бы за что. Ты Антипа сперва послушай, – потом и отчитывай. Сама увидишь: дело говорит, не пустомелит.

При таких беседах сына с матерью княжна обыкновенно молчала. Она не понимала практических расчетов Консты и Матрены. Но от их разговоров на нее веяло духом незнакомой свободы, пред нею вставал смутный призрак счастливой воли, – всего, чего ей так недоставало. И ей становилось и жутко, и сладко мечтать об этом несбыточном просторе. Ее глаза искрились, и грудь тяжело и страстно вздымалась.

– Вздор ты все бредишь, Конста! – обрывала свой всегдашний спор с сыном Матрена. – Вздор!

– Чего вздор? – и злился, и вместе смеялся разгоряченный мечтами Конста. – Это ты, мать, больно засиделась на месте, зажирела на сытых княжеских хлебах; тяжело тебе мясами-то своими шевельнуть, – вот тебе и кажется, будто вздор. А ты посмотри: вон каково забористы они, новые места! инда барышня наша развеселилась... понравились ей мои речи... Так ли я, барышня, говорю?

– Хорошо говоришь! – веселым, возбужденным голосом отзывалась Зина.

– Поет-то хорошо, – где-то сядет? – насмешливо проро-

чила Матрена.

– Зачем садиться! – еще веселее отгрызался Конста, – мы сперва побегем... Побегем, что ли, барышня?

– Пожалуй, хоть и побегем, – смеялась Зина.

– Уж я бы вас, вот как предоставил! Что зеницу ока!

– Далеко, не дойду... – слабо возражала Зина, но глаза у нее так и вспыхивали.

– Куда бежать? Бегают непутевые, как ты, да кому жрать нечего, – возражала Матрена, – а Зинушка – княжна Радунская.

– Какая я княжна! – вырвалось у Зины. – Из подворотни. Дура малограмотная. Меня княжною-то и не зовет никто.

– Ну все же, барышня, – смутилась Матрена.

– Много я от этого радости вижу!

– А ты не блажи и не ропщи! Не все несчастные деньки, когда-нибудь и солнышко взойдет!

– До тех пор роса очи выест.

– Все-таки от родимого гнезда на чужую сторону не уйдешь.

– Да разве оно мое – гнездо-то это? Я здесь последняя спица в колеснице. Ведь последняя поломойка живет радостнее и краше меня. Дворовым девкам приходится завидовать. Девка князю приглянется, в случай попадет, князь ее наверх возьмет, – хоть кусок сладкой жизни девка ухватит. А нам – век-тюрьма! И пока папаша жив, так оно и будет. Я для него хуже змеи, хуже жабы, червя земляного. Да что – пока жив!

Он и по смерти будет гнать меня. Разве в Волкояре есть у меня часть? Он Муфтеля нарочно в Питер посылал, чтобы Волкояр сделать родовым и все бы брату досталось... Чтоб ему, этому мальчишке...

– Тише ты, безумная, – робко озираясь, прервала Матрена, – неравно кто услышит, доведет до князя... и не разматывать тогда беды!

Княжна умолкла, стиснув зубы, но в выразительных глазах ее засверкал огонек такой мрачной, глубоко продуманной, сосредоточенной злобы, что Матрена только головой покачала, а Конста, пристально глядя в побледневшее от гнева лицо Зины, мотал ее слова себе на ус, хотя последнего у него почти что не было.

Наконец Матрена послушалась сына: кликнула старого Антипа и заставила его разговориться о его похождениях в Одессе и у молдован. Зина и Конста слушали медленную, спотыкливую речь старика, как очарованные, поминутно меняясь восторженными взглядами:

«Что? видите? не врал я вам – правду говорил!» – без слов указывал один.

«Ах как хорошо, как привольно!» – безмолвно отвечала другая.

Даже Матрена увлеклась. А старик лукаво посматривал на возбужденные лица своих слушателей, и холодно-насмешливое выражение, которое всегда появлялось на его лице при виде кого-либо из Радунских, как будто согрелось новою

улыбкою – улыбкою торжества.

– Не язык – гусли! – заключила беседу Матрена. – Однако и спать время. Вались, бабушка, в свою берлогу. Врешь хорошо, а когда скажешь правду, будет еще лучше. Пойдем домой, Зинаида.

– Правду? – засмеялся Антип. – А довольно у тебя совести, чтобы принять мою правду?

– Как совести не быть, – чай, крещеная.

– А коли совесть есть, что же ты, совестливая, сыну в ответ на вольные слова, о кормах кудахчешь, пашпортами пугаешь, безденежьем застрашиваешь? Известно: на воле жить – не жирну ходить. Кто кормы больше совести почитает, тому не бечь, а в курятнике на лукошке сидеть, индюшкою яйца парить.

– Уж и больше совести! – смутилась Матрена.

– Что воля, что совесть, – едино оно. Воли нет – совести нет. Воля – цветок, а совесть – ягодка. В вольном человеке она вызревает, а рабу – зачем совесть? Эх тетка! Даром, что соколую смотришь, – индюшка ты. И как это, и откуда ты такого орла-сына высидела?

Проводив Зину и Матрену, Конста и Антип долго сидели вдвоем, молча. У Консты голова шла кругом: так и тянуло вдаль. Антип, кряхтя, приподнялся, взглянув на Консту раз, другой... рассмеялся дробным и хриплым старческим смехом и заковылял к своей бане...

– Чего ты? – крикнул ему вслед озадаченный Конста, но

старик не отвечал и, продолжая смеяться, исчез за поворотом аллеи.

Назавтра, когда Конста зашел в баню, дед по обыкновению сидел на крыльце. На лице у старика заиграл вчерашний смех. Консте почему-то эта улыбка не понравилась, он покраснел.

– Черт его знает! – злился он про себя, выбирая из кучи хлама крепкий заступ, – ишь, строит из себя полоумного! смеется, как кикимора! Или и впрямь старик выживает из ума, и на него порою находит одурь?

Он выбрал вещь, какую хотел, и повернулся уйти.

– Константин! – окликнул его Антип.

– Я, дедушка.

– Что же, парень? – серьезно заговорил старик, уже без улыбки, – только и будет твоей удали, что на тары-бары, бабы растобары, или в самом деле побежишь?

– Побегу, дедушка.

Конста молодецки тряхнул головою.

– Беги, парень, беги, – Антип одобрительно закивал головою, – ты малый золотой; я, брат, до дурней неохоч, а тебя полюбил, человека в тебе вижу, добра тебе желаю. Что киснуть в этом погребе? Лес да болото, да тиранство – и люди-то все стали, как зверюги. В сраме и подлости рабской задохлись. Только и радости, что издеваться друг над другом. Сильный слабого пяткою давит. Слабый сильному пятку лижет, а сам змеей извивается, норовит укусить. Твари! Гнус-

нецы! А там, брат, степнина... море... орлы в поднебесье... ветер-то по степи жжж... жжж!.. Народ вольный, ласковый, удалой. Ни господ, ни рабов. Все равные, всяк сам себе владыка. Таким, как ты, там рады. Были бы голова да руки, – и золото в карманах забрякает...

– Побегу, дедушка! – с увлечением прервал его Конста.

Антип пожевал губами и устремил на молодого человека испытующий взгляд:

– С барышней-то давно слюбился? – сказал он. Конста вспыхнул и растерялся.

– Бог с тобою, дедушка! откуда ты взял такое?..

– О?! – не без удивления отозвался Антип, продолжая держать его под своим пронизательным взглядом. – А ведь я, грешным делом, глядячи на ваши веселые шутки, думал, что вы в любви состоите...

– Как можно, дедушка? что ты?

– А отчего же нельзя, дурашка?

Старик ждал, что ответит Конста. Но Конста молчал и смотрел на него широко открытыми глазами, как человек, пораженный тем, что невзначай наткнулся на решение трудной-трудной задачи, до тех пор для него совсем темной.

Слова Антипа гвоздем засели в голове Консты. И когда он, впервые после этого разговора, встретил Зину, она показалась ему совсем новою, невиданною. Раньше он чувствовал себя настолько удаленным от Зины, что ему и в голову не приходило рассматривать ее как женщину. Но лукавый

вопрос Антипа открыл ему глаза, как открылись они у Адама и Евы, когда, по совету змия, они отведали рокового яблока. Княжна Зинаида Радунская отошла вдаль, затуманилась, потускнела, а далеко впереди ее явилась в воображении Консты и всю ее заслонила просто Зина – красивая молодая девушка, – и стала она любя Консте, и отуманила его голову страстным порывом – до неизбежного выбора: или – и она пусть любит, или – пропадай голова, хоть на свете не жить!

Все это было так, пока Конста оставался наедине с самим собою. Но, чуть зарождалась в нем решимость открыть Зине свою страсть, княжна Радунская снова выплывала из туманной дали, заслоняла Зину, и малый падал духом:

– Скажешь ей, – а она насмеется или рассердится, надругается, нажалуется, велит прогнать вон со двора, – думал он.

За неделю таких колебаний Конста совсем истомился. Зину он стал избегать, потому что почти не владел собою в ее присутствии, злился, грубил матери, так что та изрекла приговор:

– Слава Богу, пожаловал милостью! До сих пор одна бешеная была на руках, а теперь – вся честная парочка...

Об Антипе Конста не мог вспомнить без бешенства.

– Словно дьявола в меня посадил, – колдун он, что ли? – волновался он в бессонные весенние ночи, ворочаясь на жесткой постели.

Однажды он нашел Зину одну в глухой глубине сада. Лежа на скамье под цветущею яблонью, она рыдала на голос,

рыдала так, что все ее грузное тело колыхалось.

– Что с вами, барышня? Господи спаси! кто вас изобидел? – торопливо заговорил Конста, подходя к Зине.

Зина подняла заплаканное лицо.

– А то со мною, – с гневным страданием сказала она, – что мочи моей больше нету! Если я еще здесь останусь, либо я Волкояр сожгу, либо сама удавлюсь вот на этой самой яблоне, как Матвей-доезжачий. Все мне здесь постыло. Провалиться бы и дому, и селу! Ох, зачем только мамаша родила меня девчонкой? Была бы я мальчиком, – уж не заперли бы меня в четырех стенах. А кабы и заперли, сумела бы я найти свою волю. А девушка сама что может? Куда я пойду? что знаю? Вот и терпи! Кто хочет, тот над тобой и старший. Муфтелю кланяйся, Липке кланяйся, да еще благодари, что пока не заставляют ручек у нее целовать! Всякий надо мной измывается, и никто мне не поможет... И пожаловаться-то некому... У! проклятая, подлая жизнь!

Порывисто бросая эти слова, она в клочья изодрала свой носовой платок и раскидала лоскутья по дорожке. Слезы ее высохли. Гневный румянец шел к ней.

– Эка ведь красивая! – думал Конста.

– Значит, на новые места, барышня? – заговорил он шутливо, но голос у него сорвался.

Зина сердито перебила его:

– Убирайся ты со своими новыми местами! Мне не до шуток, я тебе по-настоящему говорю, что мне пришло – хоть в

петлю полезай!

– Зачем в петлю? Петля – последнее дело. В петлю всегда поспеть можно. А надо бы придумать что-нибудь поскладнее. Коли вы всерьез, так и мы всерьез. Попробуем вместе умом раскинуть.

Зина опять прервала Консту:

– Если бы какой-нибудь человек вывел меня из этой ка-торги, так я бы ему всю жизнь отдала, в кабалу бы к нему пошла.

– Из кабалы-то опять в кабалу?

– Да уж хуже теперешнего не будет!

Конста в раздумье взялся за ствол яблони.

– А если такой человек найдется, да... не под пару вам, низкого рода? – спросил он и сел на конец скамьи.

Зина, не глядя на него, досадливо махнула рукой.

– Говорю тебе, петля мне, петля!.. Не все ли равно удавленнику, кто его снимет с дерева?

– И любить вы стали бы такого человека? – тихо сказал Конста.

– И любить! – точно отрубил Зина, зло и решительно.

Конста побледнел и грубо придвинулся к ней по скамье.

– Коли так, поцелуй меня, Зинушка! – зашептал он, крепко схватив в объятия сильный стан Зины, – я как раз по тебе человек. Я тебя не выдам. И от лихого батьки вызволю, и на новые места... Да что на новые места? Хоть во все заграни-цы проведу. А уж любить-то... любить – как буду.

Х

Давно замолкли и соловей, и кукушка. Отцвела липа. Хоры кузнечиков денно и ночью трещали в саду. Трава на скошенных полянах выгорела от июльского зноя; кое-где на деревьях проглянул желтый лист. Доспел орех. Лето пышно догорало, осень стояла настороже, чтобы вместе с августом ворваться в суровую природу унженских лесов. Матрена не раз уже озабоченно приглядывалась к желтым листьям и сердито качала головой, когда кузнечики кричали чересчур резко. Она сильно изменилась в последние месяцы, даже румянец на все еще красивом сорокалетнем лице ее будто выцвел. Извел Матрену страх – за себя, за Зину, за Консту. Она давно знала о любви молодых людей. Не прошло недели после того свидания под яблонью, как она застала княжну в объятиях Консты. Это было для Матрены совсем неожиданным подарком. Она чуть не умерла на месте от испуга: угрожающей образ князя так и встал пред ее глазами...

– Живую в землю закопает! – холодный пот выступил на лбу... колени подкосились...

Оправившись, она прыгнула к сыну, как разъяренная тигрица, и вцепилась властными материнскими руками в его волосы. Зина бросилась было удержать Матрену, но и сама получила от рассвирепевшей няньки несколько хороших тумаков. Сорвав первый гнев, Матрена села на землю и заревела

в три ручья.

– Дьяволы вы эдакие! Что же вы со мною делаете? Коли вы Бога забыли, так хоть о князе помнили бы... Ведь мы теперь, все втроем, – почитай, что уж и не жильцы на белом свете: съест он и меня, и Зинушку, живьем съест! А тебе, Константин, и казни такой не придумать, как он тебя расказнит.

Пока она причитала, Конста с лукаво-унылым видом подбирал клочья своих выдранных волос, чем, в конце концов, рассмешил, по обыкновению, и мать, и оробевшую было Зину. Узнав о намерении Консты и Зины куда-то сбежать из Волкояра, Матрена перепугалась и растерялась пуще прежнего.

– Да что вы! – замахала она руками, – вовсе обезумели? Ты-то хороша, – обратилась она к Зине, – с колокольню выросла, а ума не вынесла; слушаешь всякие враки... Куда вы пойдете? Ведь он смолоду это врет все, антипкиными снами бредит.

– Нет, не врет, – вспыхнув, резко сказала Зина. – Я его за то и полюбила, что он обещал вывести меня отсюда... Ведь выведешь, Конста?

– Сказал: выведу, – стало быть, так; мое слово крепко. Не оправдаю слова, – сам пойду к князю с повинною: пускай тиранит, потому, значит, поделом, – лишь это заслужил. А насчет, чтобы не бежать, – ты, мать, слушай: чем охать да плакать, скажи: какого же добра нам тут дожидаться? Сама говоришь, что, коли слух о нас дойдет до князя, так он нас

живьем съест, закопает... Значит, покуда целы, – уноси свои кости! И сами уйдем, и тебя с собой уведем.

– Он нас на дне морском найдет!

– Это еще бабушка надвое сказала. Земля велика, а мозги не у одного князя в голове положены. Мы сами с усами: тоже не дуром побежим, а с оглядкою, не сейчас за руки схватимся да втроем в лес... Дело это надо устроить тонко... Время еще терпит. И опять же: найдет ли нас князь, нет ли, кто знает, а здесь под его рукою мы наверняка пропадем. Ты молчи, мать, я это дело сейчас обмозговываю, а как обмозгую, ни к кому другому – к тебе же приду на совет, и как ты скажешь, так и будет.

Матрена ходила, думала, и чем больше думала, тем больше тянуло ее к выдумке Консты. Волкоярская скука сделала свое дело и взбунтовала против князя еще не старую и охочую пожить бабу.

– Тоже сказать, – рассуждала Матрена, – пишушь я вольною, за двумя посадскими мещанами замужем была, а какую из-за этого, прости Господи, ирода-князя, волю себе видела в жизни? Хуже крепостной! Ответ мой перед князем большой, и беда мне теперь пришла неминуемая. Грех этот Зинушкин, – что шило, в мешке не утаишь. Если и будет такое счастье, что никто не уследит, не догадается – а где уж? и надежды такой не имею! из дворца-то змеиши за нами по пятам ползают, все грехи наши стерегут, все ошибочки считают, – как не доведаться? Да и мудреного нет: месяц-другой прой-

дет, – он сам себя выдавать станет. Зинушка – король-девка... Кто ее узнает? может, и сейчас уже ходит не порожняя. А уйти можно. Только бы лесищем пробечь, а там – в скиты. С староверами возиться мне не впервой. Я еще в Костроме тому научилась. Кормилась тоже от них и все их обряды произошла. В какой хочешь толк попаду и не ударю в грязь лицом. В скитах примут всякого – только ругай никониан посолонее, крестись двумя перстами да покажи деньги; так тебя упрячут, что ни князю, ни Муфтелю, ни какому пройде-ярыжке и в ум не вступит. Но только с одним Констою уходить боязно: малый он у меня, – что его хаять? – голови-тый, да молод и горяч, и сторону нашу плохо знает... Нужен нам, хоть убей нужен, еще товарищ – из тутошних... А кого взять? Народишка неверный, плюгавый... как ты с ним заговоришь об эдаком деле? Антипку разве взмануть? Ходок бывалый, опытный...

– Слышь-ка, Антипушка, – завела она при случае речь со старым бегуном, – вот ты все волю хвалишь да новые места. Скажи по правде, по истине: кабы тебе была возможность бежать, побежал бы ты снова на волю?

Антип ухмыльнулся.

– Что любопытна стала? Аль сама загадала бежать?

– Ой, что ты! – засмеялась Матрена, – это у меня Конста твердит: бегу да бегу! – только бежит-то он все на одном месте; вообще спрашиваю.

– Если вообще, то и я тебе скажу вообще. Слушай, – стро-

го заговорил Антип. – Девять годов назад я убежал в отчаянности, с большого горя, не понимаячи самого себя. А как избыл я от себя первое сердце да поглядел кругом на Божий мир, так и захватило мне душу волею. И понял я тогда, что только с волею и видать человеку мир Божий, а без воли у человека и глаз нету, в рабьей он слепоте. И стал я в ту пору себя корить и проклинать: с чего я, дурень, загубил свою жизнь в волкоярских кандалах? Только на седьмом десятке и свет увидал! И все десять годов прошли, словно сон приятный. А вспомнить – что в них было радостного? Какая сладость для тела? Ничего. Не покоил я старые кости, а трудами трудил. В тюрьмах сиживал. По этапам через всю Россию прошел, непомнящим сказывался, кандалами звенел, на пруте ходил, из-под караулов бегал, и голодал, и холодал, и бивали меня, и обкрадывали.

– Сохрани Бог всякого!

– Да все на воле, Матреша, на воле! А с нею, голубушкой, все сладко. Лучше ее не выдумал человек ничего. Воля – весь человек! Есть воля, и человек есть. Нет воли, и человека нет... Так, склизь!

– Так что, если бы... – медленно начала Матрена. Старик, взволнованный, замахал руками.

– Нет, Матреша, ты меня не мани, сердца не вороши...

– Да я не маю, – куда мне тебя манить? Бог с тобой! – отнекивалась смущенная Матрена.

Но старик ее не слушал:

– Эх, родненькая, был конь, да изъездился! Кому и какой я товарищ? Дряхлец! Мне коли куда бежать, так разве в могилу. Сейчас мне, голубка, та воля уже не нужна. Потому что старому ненужному кобелю всюду воля. И здесь мне воля. И управителю я так сказал, и тебе говорю. Хо-хо! Я, друг, свое изжил: дошел до ямы, с меня ничего не требуешь – взятки гладки. Пиши меня чьим хочешь рабом, а я, друг, свой стал. Никому не надобен, потому и свой. Выходит: поздно мне бежать, слаб, только товарищей собою свяжу. Да и дело здесь есть. Большое дело. А то побег бы с вами, непременно побег.

– Что ты, дедушка, право, все с вами да с вами! – лепетала Матрена; – она совсем оробела при виде неестественного оживления, овладевшего стариком. – Я тебя так, для примера, спросила, а ты уж невесть что подумал.

– Эх! – с досадой крикнул расходившийся Антип и стукнул костылем, – полно, Матренушка, не хитри. С кем хитришь? С Антипом – бродягою! Я не колдун, да под тобою на три аршина вижу... Начала сказывать, так досказывай. А то, пожалуй, и помолчи: сам доскажу. Знаю я ваши дела, все знаю.

– К... к... какие дела?

Матрена затряслась всем своим тучным телом. Антип посмотрел на нее.

– Вишь, – даже вся пополовела... И доказывать-то на тебя нечего: лицом себя выдаешь... Неладно так-то!.. Ты не трусь, Матренушка – князю доносить не пойду. Кабы хотел

доносить, так привел бы его сиятельство полюбоваться еще в ту пору, как твой Конста с княжною впервой обнимались под яблонью.

Голос старика хрипел, глаза искрились, усы ощетинились...

– Ох, дедушка! – почти завывла Матрена, – пропала моя голова. И охватить умом не умею, чего мы натворили. Мысли-то – так вот и мчатся кувырком, будто турманы...

– Так ему, злодею, и надо! так и надо! – брызгая слюною, шамкал Антип и тыкал костылем в сторону главного дома. – Погоди. Я тоже поднесу ему, демону, закуску в жизни! За всех – за себя, за княгиню-покойницу, за Матюшу, неповинную душу, внука загубленного. Что мы знаем, то знаем. Сладкая будет закуска. Хо-хо! Скрючит от нее.

– Ты что же, дедушка, неладное, стало быть, что-нибудь проведал про князя?

Матрена насторожила уши. Антип подозрительно осмотрел ее косым взглядом:

– Это, друг, не твоего ума дело.

– Пожалуй, не сказывай: я спросту.

– Ни тебе и никому не узнать, пока не придет смерть – либо за мной, либо за князем. Должно, я помру раньше. Хо-хо! Посмотрю перед смертью, как его задергает. Хо-хо!

– Не смейся, дедушка! страшно!

– Хо-хо-хо... Без того сам не помру и его со света не отпущу!

Матрена слушала старика с ужасом. Он казался ей сумасшедшим.

Но Антип опамятовался и, видя расстроенное лицо своей собеседницы, продолжал спокойнее:

– А коли ты что желаешь знать насчет ухода, – посоветую. Говори.

Матрена изложила ему свои сомнения... Антип рассмеялся.

– Чудная ты баба! Ищешь рукавицы, когда они за пазухой... Какого же тебе надо товарища лучше Михаила Давыдка?

– Давыдок!

Это имя мгновенно осветило Матрене целый план, значительно упрощавший в ее глазах возможности бегства.

– О, Господи! – какая же я была дура, что о нем забыла. Просто затмение нашло. Вот спасибо-то, Антипушка, что навел на разум!.. А только пойдет ли?

– Пойдет. Кто его удержит? Вольная душа. Загнала беда сокола в клетку, – ну и терпит, сидя на жердочке. Спит воля. А ты позови, разбуди. Пойдет.

– Да уж лучше-то нельзя и выбрать – хоть весь свет обыщи!

Любимый егерь князя Александра Юрьевича, Михайло Давыдок носил истинно здоровую душу в своем здоровенном теле: он не пил, не играл ни в подкаретную, ни в орлянку, не путался с беспутными женщинами волкоярской дворян-

ни. За ним водилось только две слабости. С одной он родился на свет: то была страсть к охоте, и даже больше самой охоты, – к лесу. Он знал в лесу наизусть всякую тропинку, всякий уголок – на десятки верст кругом. Лес был его стихией: он чувствовал себя в лесу, как птица в воздухе, как рыба в воде. Стоило ему ступить на опушку, чтобы его красное лицо вдвое ярче засияло от улыбки, стало вдвое добрее и даже красивее. В болота, считавшиеся непроходимыми и действительно непроходимые для непосвященных, он неустрашимо вступал с ружьем своим и лягашем Сибирлеткою и открывал твердые звериные тропы по торфяным кочкам и старым колодам.

– И как только ты, Давыдок, терпишь, – все в лесу да в лесу? – спрашивали егеря. – Ты, должно быть, на лес слово знаешь.

– Чем в лесу нехорошо?

– Жутко... Зверье это... сверчки... тишь... От одного лешего, чай, сколько страха наберешься!

– Вона – невидаль! – хладнокровно возражал Михайло, – что мне леший? Я, брат, сам себе леший.

И, глядя на его огромную фигуру, собеседник невольно приходил к заключению:

– И точно – никак сродни!

Вторую страстью Михайлы, благоприобретенною и недавною, была сама Матрена-Слобожанка, которую он, на общее удивление, залюбил с тех пор, как года три тому назад пиро-

вал с нею на одной дворовой свадьбе. Он ухаживал за Матреною без всякого успеха, но с редким постоянством. На других баб Давыдок и смотреть не хотел, хотя с барским любимцем все кокетничали. А для Матрены даже выучился – очарования ради – играть на еще новом в те годы, только что пошедшем в народе, чтобы убить балалайку и гусли, инструменте – двухрядной гармонике, и быстро сделался настоящим на ней виртуозом. Вообще, музыкальные способности Давыдок имел чудесные и прекрасно пел – голосом, могучим и длинным, как он сам, но гибким и вдохновенным. И эту способность тоже высоко ценил в нем князь Александр Юрьевич, большой любитель русских песен. Когда Михайло, бывало, запевал своего любимого «Орла», то князь непременно либо окно в кабинете своем откроет, либо на балкон выйдет... Как колокол, гудит Михайло над садом:

Как летал-то, летал сизый орел по крутым горам,
Летал орел, сам состарился,
Пробивала у него сединушка между сизых крыл,
Побелела его головушка, ровно белый снег...

– Это он про меня поет! – шепчет князь.

Потупели у орла когти острые,
Ощипались у него крылья быстрые,
Налетели на орла черны вороны
Да терзали они его, сиза орла...

Качает князь головою, ногою притопывает, рукою в такт бьет.

Эх, не прежняя-то моя полеточка орлиная!
Да не прежняя моя ухваточка соколиная!
Разбил бы я черных воронов всех по перышку
Да разнес бы их по дубравушке!

И так разнесет голосом «по дубра-а-авушке», что сад отголосками застонет и лес за Унжею аукнется, а князь либо прослезится, либо обругается:

– И дьявол его знает, Михаилу Давыдка, где он пропадал до сорока годов с таким талантом? Если бы не ушли его лета, я бы его в Питер услал, – пусть бы Михаил Иванович Глинка из него второго Петрова обучил.

А Давыдок уже во дворе ребят веселит – голосина юлит, гармоника хохочет:

Как на Вологде вино
По три денежки ведро!
Хочь пей, хочь лей,
Хочь окачивайся!
Да поворачивайся!

Сам был превоздержный на вино, – разве на большой праздник чарку выпьет, – а пел о вине так забористо, что с

песен его и трезвенники запивали.

– И отчего вы, Матрена Никитишна, столь жестоки, – не желаете мне соответствовать?! – уныло вопрошал он, громыхая пред своей красавицей на гармонике. – Чем я вам не пара – закон принять?

– Ай, что ты, Давыдок! – хохотала Матрена, – какой с тобою закон? У тебя, сказывают, первая жена жива!..

– Жива, коли не померла... это верно! – соглашался Давыдок, – только я от нее, первое дело, за семь рек и семь гор переехал; второе дело, не жена она мне, не в обиду будь при вас сказано, но сука-волочайка; а третье дело, вот уже пятнадцать лет она не имеет обо мне никакого известия. Почему я вроде как бы разженился, вдовый стал. Закон такой есть. Мне поп сказывал.

– Страшно за тебя идти-то: ишь кулачищи... убьешь, – идохнуть не успею.

– Зачем же убивать-с? Я такого греха на душу не возьму...

– Ой ли? А рожа у тебя – хоть сейчас тебя поставить с кистенем на большую дорогу.

Слушал Михаил о, слушал эти грубые шутки да и хватил:

– На большой дороге и без убийства работать можно очень прекрасно...

– Ишь ты! А ты работал, что ли?!

– А уж это наше дело; «нет» – не скажу, а «да» – промолчу. Я, сударыня моя, человек покладистый, применительный. Жизни слушаюсь. На рожон не лезу, а со всякого места

и времени свое удобство беру. Волю знал – за волю стоял. Кабалу познал, – ну, стало быть, жди, терпи, помалкивай. Не черт тебя нес, сам увяз...

И засмыгал гармоникой, и затянул протяжным голосом:

Ходил, гулял добрый молодец,
Искал места доброго,
Не нашел-то добрый молодец места доброго,
А нашел-то добрый молодец море синее,
Камыши высокие, лопухи широкие...

– Что ты, Давыдок, все грустное поешь? Веселую спой.
Подмигнул, загудела гармоника, залился высоко и сладко:

Ах ты, душенька, удалой молодец!
Ты горазд, душа, огонь высекать!
Часты искры сыплются,
В ретиво сердце вселяются,
Сиротою называются...

Смотрела на него Матрена и думала: очень подействовали на нее полупризнания Михаила, его смелое лицо и решительный взгляд человека, надо полагать, выдавшего виды. Охота бежать разбирала между тем Матрену все больше и больше. Она пересчитала сотенные бумажки, в разное время подаренные князем Зине: их было почти на пять тысяч рублей. А еще у Зины оставались бриллианты, настоящей цены

которых Матрена не знала, но все-таки понимала, что вещи стоят не одну тысячу. В ней заговорила алчность и охота пожить в свое удовольствие: она очень хорошо сознавала, что при настоящих условиях их жизни она будет хозяйкою этих денег гораздо больше, чем сама Зина.

– Купцами – где хочешь – заживем... И впрямь, ни в какие новые места не страшно уходить! – мечтала она.

Теперь уже не Зине с Констою приходилось уговаривать Матрену, а Матрена торопила Консту и каждый вечер пеняла ему, что он мямлит и теряет время.

– Осень на дворе: того гляди, начнутся дожди да слякоть, холода пойдут, вот тебе и ушли тогда! – попрекала она.

Конста отмалчивался и только лукаво подмигивал Зине на мать.

– Что моргаешь-то: распостылая душа? – горячилась Матрена. – Вон кузнецы-то трещат, – сигналы дают: осень глядит на дворе. Не слышишь?

– Пусть их трещат, стучат, – улыбалась Зина. – Я теперь их не боюсь.

– Пойдут дни короткие, ночи длинные, темные...

– Раньше спать ложиться будете, маменька! – дразнил Конста.

– А ветры-то лесные? У нас осенью сад под ветром, как море, гудит, деревья к земле клонятся, Унжа-то – аж белая станет...

– Ничего, маменька: под ветер лучше спится. Баюкает.

– Вот я тебя побаюкаю чем-нибудь потяжеле! Погубил ты нас! – взманить взманил, а толку никакого...

– Будет толк, мать! потерпи, не кипятись, а то печенка лопнет...

В противоположность своей озабоченной няньке Зина равно ни о чем не думала и не загадывала, – была весела, жива, резва, как никогда раньше. Она чувствовала, что с плеч ее свалился тяжелый камень, придавивший было всю ее молодую жизнь: ужас перед отцом. С тех пор как Зина отдалась Консте, вера в его удаль и находчивость стала между нею и ее страхом. Отец оставался по-прежнему грозным и ненавистным, но ей как-то верилось, что вся его гроза теперь ни к чему, что Конста и умнее его, и ловчее, и находчивее, что он сумеет за нее всегда заступиться и выручить ее из беды, а князя проведет и оставит на бобах... Девушка была влюблена сильно, но в кого собственно: в своего любовника или в обещанную им свободу? – решить было бы трудно. Восторженное настроение делало Зину временами почти красавицей: она пополнела и как будто еще побелела от этого; живой румянец не сходил с лица, глаза сверкали, как звездочки. В дневные жары она с полдня до вечера пролеживала навзничь на своей любимой скамье под яблонею, следя в небе полет птиц и движение облаков... В уме ее блуждала лишь одна мысль: «На волю! а потом – жить, жить, жить!..»

Когда Матрена слишком волновалась, Зина унимала ее: – Мамушка, потерпи же хоть немного. Если Конста взялся

уладить наше дело, то уж, верно, уладит. А что он молчит – значит, у него еще не все готово; когда будет надо, объявит.

– Уверилась в сокровище! – кричала Матрена, и раздосадованная равнодушием Зины, и польщенная ее высоким мнением о Консте, – слушать тошно! Глупа ты, Зинка. Ведь это для тебя Конста – богатырище: горы ворочает, дубы вырывает с корнем вон, и пешему его не обойти, и на коне его не объехать. А мне он – мальчишка... тьфу! Я его в корыте мыла, прутом драла, – как же мне теперь идти своим умом за его ребячьим разумом? Дрожмя дрожу, чтобы не натворил каких детских глупостей.

Матрена потеряла терпение и однажды, когда Михайло под вечер явился, по обыкновению, гроыхать на гармошке, позвала его на крыльцо.

– Давыдок! Полно тебе по саду основу сновать! Садись рядом, потолкуем ладком. Слушай меня, милый человек: можно говорить с тобой по тайности?

– С превеликим моим удовольствием.

– А что я тебе скажу, ты – уши открой, а язык проглоти. Не разболтаешь? Дело-то больно неладное...

– Доказчиком еще ни на кого не бывал, супротив же вас, Матрена Никитишна, мне в подлецы попадать ровно бы и невозможно.

– Ладно. Потому что, прямо тебе скажу: тут не то что поплагишься спиною, а недолго и жизни решиться.

– Вы, Матрена Никитишна, загодя не пугайте: я не так,

чтобы из очень пужливых. Это какое же ваше дело будет? Уж не то ли, о чем намедни мне говорил Конста?

– А он тебе разве что говорил? – воскликнула Матрена: Зина выходила права, и Конста не бездействовал, но «обмозговывал» и хлопотал, – и как раз попал на человека, какого надо было для дела.

Давыдок мигнул на макушки леса, черневшие вдаль – за садовою оградой...

– Поминай, как звали! – объяснил он.

– Ну... хоть бы и так...

Матрена впилась в него испытующим взором.

– Консте я сказал: это точно – товарища ему для такой затеи лучше меня не найти. Но только вся зависимость от вас, Матрена Никитишна. Без вас я с места не тронусь, а с вами – хоть во все преисподние-с...

Матрена положила руки на плечи егеря и любовно сказала:

– Вот ты, Давыдок, говорил, что любишь меня и в закон хочешь вступить. Я бы ничего, да скажу тебе, не потаю: ты у князя в егерях, что в кабале – чай, до смерти здесь проживешь: а мне Волкояр ваш уже который год стоит поперек глотки. А теперь... тебе все ли Конста рассказал?

– Насчет Зинаиды Александровны? Все-с.

– Вот и посуди, какой грех. Стало, уж вовсе нельзя оставаться... Дело это ихнее всех нас отсюда вон гонит. Надо идти.

– Когда угодно и куда пожелаете. Признаться, кабы не вы, Матрена Никитишна, я бы давно наострил отсюда лыжи. Потому что для человека, который вольготу возлюбил, сласть в Волкояре не ахти какая. А кому в душу совесть дана – даже и несносно. Пьянство, безобразие, девки, своевольство. На конюшне каждый день кто ни кто криком кричит. Поневоле в лес уходишь, – не видать бы здешнего содома-гоморра. Душит меня возле жила. Душа дубравы просит. А уж князь Александр Юрьевич опостылел мне, – глаза бы мои не видали! Верители, – брожу я с ним ономясь по болоту, а сам думаю: «И леший ли меня под руку толкал – тебя из трясины вытаскивать? Толкнуть тебя к болотному бесу в бучило, – и греха на душе не будет».

– Что ты? что ты? Любимый-то егерь его?

– Что – любимый? Я справедливость люблю, меня подачкою не купишь. Я за справедливость-то, когда на воле был, может быть, людей убивал. Несносно мне видеть его тиранство. Сколько народу из-за него мукою мучится. Уж чего хуже? Родную дочь – и ту томит словно в остроге. Вот теперь к саду меня приставил. Вы думаете: в самом деле яблоки стеречь от воров? Очень ему нужны яблоки! Хлопонич их, яблоки наши, возами на плоты грузит да по Унже на Волгу к Макарию сплавляет...

– Любовников наших с Зинаидою поставлен ты стеречь, – смеялась Матрена. – Что же – стража верная – много наловил?

– Уж хоть бы вы пожалели, Матрена Никитишна, не издевались над человеком. Разве своею волею хожу?

– Муфтель намедни заборы осматривал. Где слабо, сейчас же велел покрепче забрать. Потому, говорит, до зимы недалеко, – прошлую зиму волки в сад забегали. Начнут под окнами выть, могут княжну испугать. Заботливый какой! Именно правильно слово ты сказал, что острог нам устроили. Того гляди, и в саду-то нас ограничат. А в горницах у нас несносно. Густавсонша наша совсем плоха. Лекарства эти больным человеком пахнут. Охает она... сердце рвет... И зачем это дано человеку, что ему умирать трудно?

– Эх, Матрена Никитишна! Кабы легко помирать – кто жить бы стал?

С тех пор каждый вечер они подолгу засиживались на крыльце и шептались. В дворне прошел слух, что наконец-то Матрена и Михайло поладили и хотят обзакониться.

Зина не принимала участия в совещаниях своих друзей. Она знала, что посоветовать им ничего не может, а как ее освободят, – ей было все равно, лишь бы освободили. Консте она верила слепо и всецело отдала ему в руки свою судьбу. Пока Матрена, Конста и Михайло шептались, она сидела вдали от них и молча смотрела, как в синем небе загораются изумрудные звезды, радостно волнуемая предчувствием скорой свободы. Когда же очень полно и весело становилось у нее на душе, она срывалась с места и с криком:

– А ну, побежим, Конста... лови! – бросалась в таинствен-

ные сумерки сада.

И когда Конста, после долгой погони за сильной, быстрой и увертливой девушкой, нагонял ее наконец, Зина, пользуясь потемками, бросалась ему на шею и, схватив его голову в свои белые руки, целовала его без счета, так что свет терялся у него из глаз.

...Тихо... Темно... Жарко... Сладко... А Михайло вдали – с крыльца – громыкает гармоникой, и голос, как веселая звезда, мигает:

Канарейка-пташечка,
Вольная кукушечка
Примахала крылышки,
По полю летаючи,
Сокола искаючи...

XI

В первых числах августа Конста ранним утром, на рассвете, стучал к Муфтелю; управляющий занимал отдельный флигелек во дворе, у самых ворот княжеской усадьбы. Муфтель выглянул заспанный и недовольный.

– Что надо? – сердито закричал он, – что ломишься ни свет ни заря?

– Да я не своей волей, Карл Богданович, простите Христа

ради. Меня маменька послала: у нас приключилась беда.

– Что такое?

– Амалия Карловна скончалась.

Бедную немку нашли в кровати уже холодную и черную, как уголь. Давно жданный всеми волкоярскими жителями апоплексический удар оборвал жизнь тучной и сырой старухи, по милости своих больных ног уже несколько лет почти не знавшей движения.

Амалию Карловну похоронили. Никто не ожидал, чтобы княжна Зина питала столько привязанности к покойной, как проявила она на погребении и после похорон.

Несколько вечеров она не показывалась на крыльце своего флигеля.

– Что с княжною? уж не больна ли? – спрашивали дворня и Муфтель Матрену, когда последняя с озабоченным лицом пробегала к людской, чтобы вызвать егеря Михаилу и пошептаться с ним где-нибудь в сенях, по заведенному обыкновению, к которому уже давно успело привыкнуть население волкоярской усадьбы.

– Ах, и не говорите! – сердито отмахивалась Матрена. – Лежит, моя голубушка, уткнула нос в подушку, – на свет глядеть не хочет, в рот куска не берет. Ревмя ревет: «Я, – говорит, – ее огорчала, я ее обижала, я ее не ценила. А теперь уж ее, друга моего, не воротить». Совсем я с нею с ног сбилась.

Минуло еще два дня. На третье утро дворовые, проходя мимо павильона, удивились, как это – уже десятый час, а

ставни в спальне княжны до сих пор закрыты и в павильоне не слышно никакой жизни, словно там все повымерли. Прошел еще час-другой: та же тишь и те же крепко затворенные ставни. Сказали Муфтелю. Он пришел взглянуть, вошел в павильон да так и обмер. В комнатах не было ни души. Постели Матрены и княжны Зинаиды оставались не смятыми... Пробежал управляющий по саду, по селу, по усадьбе, – спрашивал встречных мужиков и баб, своих и чужих. Никто ни о княжне, ни о няньке ее ничего сказать не мог: не видали их и не слышали.

– Сбежала! – простонал Муфтель и бросился в людскую.

– Консту мне подайте!

– Нет Консты, ваше высокородие. Вы его сами изволили отпустить в лес; вот уже третьи сутки бродяжничает...

Потребовал Муфтель Михаилу Давыдка: все-таки егерь ближе других дворовых стоял к затворницам и мог что-нибудь знать... Михаилы тоже не оказалось, и собака его ушла с ним.

Взялись за Антипа.

– Ты, старый черт, чего глядел? Старик ослабился:

– Так! У них девки бегают, а Антипка виноват... Ты меня что сторожить-то сюда поставил – княжну или баню? Баню. Ну баня – вон она тебе: целехонька, хоть завтра топи да мойся. А прочее – нас не касающее.

– Да ведь, если они бежали, то должны были пройти мимо тебя или поблизости... как же ты их просмотрел? Антип

посмотрел на Муфтеля с презрением:

– Чудак ты, Богданыч, погляжу я на тебя! Люди бежать на-думались, а полезут доброй волей на живого человека! Беглецам, друг, чужих глаз не требуется... Беглецы, друг, свидетелей-то – за горло, да и дух вон.

– А ты вот цел остался.

– Потому и цел, что ничего не видал.

Оставалось доложить князю дело, как оно есть, – все равно, что пойти прямо в пасть к некормленому зверю. Князь вышел к обеденному столу, как нарочно, сильно не в духе: верный признак, что он опять видел во сне княгиню Матрeну Даниловну. Это в последнее время был его постоянный кошмар. На Муфтеле, на фаворитке Олимпиаде, на лакеях, по обыкновению торчавших за пустыми приборами, лица не было. Князь сразу заметил: что-то неладно.

– Что случилось? – грозно нахмурился он. – Олимпиада? Муфтель? отчего у вас рожи словно мелом вымазаны?

Муфтель трепетным голосом, путаным языком, запинаясь и перевирая, начал доклад и под конец не выдержал: упал на дрожащие колени и стукнулся о пол повинной головой...

Зашатался князь, схватился обеими руками за голову и не то сел, не то упал на стол, с громом роняя с него ножи, вилки, тарелки; залилась скатерть парным морем супа и кваса. Так пристукнуло волкоярского владыку, что и голос потерял. Шепчет:

– Это она замуж ушла... Вот он зять-то... вот когда стряс-

лось...

Думали: кондрашка! Но – передохнул, ожил и через минуту, на страх всему Волкояру, загремел по хоромам яростный рев князя Александра Юрьевича:

– Зарезали, погубили! Искать ее, проклятую! Слышать ничего не хочу! Слышите вы, хамы! чтобы через час была здесь княжна, а не то я не посмотрю на новые времена и порядки. Пусть меня ссылают в Сибирь, пусть хоть расстреляют, хоть повесят, но я расправлюсь с вами по-своему... тебе первому будет честь, Муфтель! Издохнешь ты, старый пес, у меня на конюшне!

Рассыпались от него люди, как от умалишенного, а он по дворцу один бегаёт, воеет, фарфор-фаянс об пол швыряет и ногами топчет, зеркала бьёт. Лаврентий Иванович на колени пред ним бросился:

– Ваше сиятельство, именем Христовым молю вас: пожалейте себя и нас, – успокойтесь...

Как ткнет князь его в зубы ногой; облился кровью старик, так и покатился по ковру, – думали: убил... нет, встал, только два зуба выплюнул... А князь уже в кабинете бушует. Сел было в конторке письмо к губернатору сочинять, но вместо того посмотрел на родительский князя Юрия портрет, заскрежетал зубами да чернильницею как пустит! Залилось чернилами улыбающееся, язвительное лицо, на лбу провалилась дыра, пропала драгоценная живопись Кипренского!

А князь ослабел как малое дитя, и на руках снесли его в

постель... Выспался – усмирился, вышел тих. Черные тучи на лбу, но о давешнем – ни слова. Вздохнула дворня. А то – кто поробче – уже котомки увязывал: бежать в бега от обещанных плетей.

По лесам были пущены охотничьи команды с собаками, дали знать уездной полиции, поскакали нарочные в Ярославль и Кострому; Муфтель перевернул вверх дном всю усадьбу и село. Все было напрасно: княжна не находилась. Четыре человека и собака исчезли из Волкояра и – хоть бы след по себе оставили! Словно их Унжа поглотила.

Кстати, на Унже, верстах в тридцати ниже Волкояра, поймали перевернутую вверх днищем лодки. Муфтель признал ее за волкоярскую. Но – когда и как она была угнана и где пристали к берегу уплывшие в ней беглецы, если они только не пошли на дно, – оставалось темною загадкою.

Муфтель, однако, в поисках за княжной не унимался. В своем усердии он учинил поистине мамаев разгром в садовом павильоне: даже, сам не зная зачем, поднял полы и ободрал со стен штукатурку. Мышам было от этого большое горе; но ключа к тайне пропавшей княжны Муфтель все-таки не нашел.

Старик Антип без устали следовал за ним в его поисках. Куда Муфтель, туда и он – со своею клюкою, согнутый, лысый, с искрами в глазах и с такою усмешечкой впалого бледного рта, что управляющего даже коробило.

– Не шляться за мной, лысый сатана! – не раз прикрики-

вал Муфтель. – Привязался, как тень... Какой тебе интерес? Что надо?

– Больно занятно роешься, Богданыч, – невозмутимо возражал старик, – ровно бы ты крот.

Когда разгром павильона был кончен, и люди ушли, – Антип окликнул Муфтеля, удалявшегося в большом унынии:

– Богданыч... каков князь-то? Я чаю, кабан кабаном, землю под собой грызет?

Муфтель только рукой махнул. Старик залился беззвучным смехом и долго смеялся еще, оставшись один среди опустошенного дома. Но вскоре смех его перешел в слезы и стоны: он причитал по ком-то и грозил кому-то... поминал Матвея-внука, князя, покойницу княгиню Матрену Даниловну. Неладно, очень неладно было в старой голове Антипа: совсем старик стал забываться.

А Муфтель князю так и отрапортовал, стоя навтыяжку в барском кабинете:

– Ваше сиятельство! Хотите казните, хотите – милуйте. Княжны я не нашел и найти надежды не имею. Вину свою чувствую, но полагаюсь на ваше великодушие, что помните мою верную и долгую службу вам потом и кровью. А впрочем – творите свой суд надо мною, как вам будет угодно. Моя преданность вам все вытерпит.

Это было месяц спустя после исчезновения Зины. Бешенство князя за этот срок перешло в тихую апатию, полную суеверного ужаса перед покаравшею его судьбою.

– Не за что наказывать тебя, Богданыч, – грустно сказал он, – тут приставь хоть Аргуса стоглазого, и тот не уберег бы. Тут высшее... пять лет, как оно мне предсказано, – вот и исполнилось. Судьба! Что будет? Что будет? О Муфтель! страшно!

– Более горестно, ваше сиятельство, а – бояться, осмелюсь доложить, чего же?

– Не знаю, Муфтель, чего, но боюсь. Ужас в душе моей – темный и ожидающий. Страшно зрелище свершившейся судьбы, Муфтель.

– Бог не без милости, ваше сиятельство. Перемелется – мука будет. Не одни мы ищем: весь уезд на ногах. Даст Бог, и вернется еще наша княжна.

Как вскрикнет на него князь:

– Даст Бог? Сохрани меня Бог! Что ты, Муфтель? Ты не знаешь, что говоришь! Ты бредишь! Вернется? Да ведь это конец мой, это смерть моя, Муфтель! Разве она одна вернется? Замужняя! с ним!

– С кем, ваше сиятельство? – изумился недоумевающий Муфтель.

– Почему я знаю? С ним... С зятем!.. с предсказанным!.. Я гибну, Муфтель. Я чувствую, как конец мой окружает меня. Брось искать княжну, Богданыч. Было поймать ее девкою, а бабою она – мне погибель. Глупо, что мы и в первые-то дни, сторяча, столько усердия приложили. Туда – вниз, к черту! в тартарары! – всегда успеем: небось, не забудут, позовут,

нечего самим торопить и напрашиваться.

Уверенный, что княжна Зина выкрадена при помощи няньки, Консты и Михайлы кем-либо из соседей или губернских дворян, и, разумеется, давно уже замужем, князь теперь только и бредил, что этим таинственным чудовищем, своим неведомым роковым зятем, и мрачно замирал в ожидании неопределенных ужасов.

– Хоть бы разведать: кто он? что он со мною сделает? как и от кого пропадаю? Дворянчики все как будто по местам. Обманули нас с тобою, Муфтель! Провели! Выкрали, окрутили девку! Ох, если бы пособников ее мне в руки... Матрину-мерзавку, щенка ее подлого, Давыдка-разбойника...

– Освидетельствовать бы его, – без церемонии говорил лекарь в уезде. – Это – похоже – у нас в медицине называется *mania persecutoria*⁹. Кабы не Чертушка, а наш брат, обыкновенный смертный, как раз пора бы на цепь...

А князь тем временем надумался.

– Муфтель! где Серафима и Аграфена? – спросил он как-то.

– Пятый год, как усланы, по приказанию вашего сиятельства, в симбирские деревни.

– Они были посредницами между мною и загробным миром, – задумчиво произнес князь. – Немедленно вернуть их.

– Осмелюсь доложить вашему сиятельству: раньше месяца не обернем...

⁹ Мания преследования (*лат.*).

– Хорошо, но через месяц – чтоб были!

С приездом отставных фавориток-медиумичек, успевших за пять лет изгнания превратиться из холеных красивых девушек в тощих, загорелых и огрубелых деревенских баб, – князь погрузился в прежние свои спиритические занятия. Но – бабы ли оглупели, сам ли он стал придирчивее и требовательнее – духи, и даже сам пресловутый Анфис Гладкий, не говорили ему ничего не только утешительного, но даже путного и толкового... Княжну теперь искала только полиция, а на нее надежда была плоха. Княгиня Матрена Даниловна снилась князю чуть не каждую ночь, и после каждого сновидения он насупливался все мрачнее. «Торопит, зовет, – соображал он. – Подожди, страждущая тень, свидание мести недалеко. Отольются волку овечьи слезы!»

В это время пошел между дворнею вторичный слух, что покойная княгиня «ходит», – и князь верил.

– Слушай, Муфтель, – допрашивал он. – Где ее видели?

– В разных аллеях, ваше сиятельство. Тоже будто бы на балконе в Псишином павильоне – бывало – сиживала.

– Там она умерла, – задумывался князь. – Ну... и... что же?

– Говорят: беспокойна, – руки ломает, стонет, плачет...

– Кто слышал?

– Как можно, чтобы слышать, ваше сиятельство? Одна пустая молва.

Князь затряс головою.

– Нет, Муфтель, нет. Дух, исшедший из тела ранее, чем свершит земное в пределе земном, тоскует по местам, где он покинул свои страдания и страсти, стремится к ним и навещает их. Возможно, Муфтель, очень возможно.

Муфтель осмелился высказать:

– Я того мнения, ваше сиятельство, что не иначе, как глупый народ принимал за княгиню княжну Зинаиду Александровну. В лунные ночи княжна подолгу оставалась на балконе! – ну кому-либо и померещилось, и пошла ходить глупая сказка. Потому что сходство.

Князь нетерпеливо оборвал:

– Зинаида на меня похожа, не на мать. Смела бы княгиня Матрена от меня бежать! Нет, эта... все-таки... Радунская!

И – струсил князь Александр Юрьевич, оробел перед мертвою женою, которую живую в грош не ставил. Спросил ее портрет – в кабинет к себе, на место испорченного портрета князя Юрия. Хватились: нету в доме приличного портрета княгини Матрены Даниловны, – только в картинной галерее голая Леда бесстыдно обнимается с лебедем. Где портрет? Неужели не было? Стали вспоминать: был, но тринадцать лет назад подарен кому-то из соседок. Хлопонич умел со всего снять пенку. Чуть прослышал, что князь заскучал по Матрене Даниловне, – сейчас же ногу в стремя и поскакал по околотку – к мелкопоместным и попадьям, бывшим приятельницам покойницы княгини Матрены. Нашел портрет. Попадейка, которой он принадлежал, уже умерла, а поп – как

посулил ему Хлопонич серенькую бумажку – и торговаться не стал, отдал сокровище обеими руками: на что мне, вдовцу? – бери... Привез Хлопонич княгиню в Волкояр и – князю челом: удостойте принять дар! Князь расцвел.

– Ну, – говорит, – Пафнутьевич, спасибо! Много ты угождал мне, но так, как сегодня угодил... спасибо! Вот же тебе за это: владел ты Мышковскими хмельниками, владей и Сменковскими.

И запил же поп, у которого Хлопонич купил княгиню за пятьдесят рублей, когда узнал, какое счастье он проворонил!

Тем более что Хлопонин и с ним тоже выдержал свой характер и обещанной серенькой ему не отдал:

– Я, – говорит, – что сулил, отче, очень помню и не отрекаюсь: серенькая твоя. Но на руки тебе ее не выдам, пусть у меня полежит, целее будет, потому что ты, отец Никифор, человек нетрезвой жизни и непременно ее пропьешь.

Голую Леду князь Александр Юрьевич велел завертеть в рогожи и унести на чердак. Уничтожить пожалел: была работа большого мастера – чуть ли не самого Майкова. А портрет воздвиг над письменным столом своим и украсил цветами. Назавтра приходит Муфтель с докладом, – ан князь стоит перед женою на коленях и читает к ней как бы акафист некоторый:

– Княгиня Матрена Даниловна! Если добрый и кроткий дух твой витает в земной сфере, если справедливый гнев твой перестал гореть против меня, окаянного, – удостой, ма-

тушка, снизойди к просьбе моей, – ответь: чем ты мне грозила? каким еще позором должен быть отравлен конец моей жизни? Скажи, блаженная душа! Спасением твоим заклинаю: скажи!

Заметил Муфтеля, поднялся. Лицо – как свинец.

– Страшно, – говорит, – мне, Богданыч. Нехорошо. Страшно.

– Бог не без милости, ваше сиятельство. Все в руке Божьей ходим.

– Не говори так. Того-то и боюсь. Страшно впасть в руки Бога живого. Хоть бы намеком знать: есть ли Он или нет?

Хлопонич подъехал. Опять начал князь благодарить его за княгиню, – ее вспоминать и хвалить, а себя проклинать:

– Подлец я выхожу перед нею... Какая ни дура, все же на была... А я ее Ледами да Церерами заставлял позировать перед художниками... на позор людям тело ее выставлал... хвастался, что хороша!.. Подлец!.. Ох, Хлопонич! Какая жизнь! Темная, скверная моя жизнь... Смолоду и до седых волос – хоть бы день чистый и светлый!.. Мать варварка... Отец... Дьявол был у меня отец! Мучитель! Издевщик! Кровопийца! В кого мне было родиться человеком? Как мне Чертушкой не быть?

До того расстонался, что даже Хлопонича в дрожь вогнал. Заметил, спрашивает:

– Что ты трясешься?

– Я, ваше сиятельство, ничего.

– Хорошо – «ничего», когда рожа алебастровая!

– Простите, ваше сиятельство, – признался Хлопонич, – я этого равнодушно не могу.

– Чего ты не можешь?

– Вы лучше на меня ножками топайте... А, когда вы так откровенно... про родителя... и себя словами обзываете... не могу! Удручен и подавлен страхом ничтожества моего.

Улыбнулся князь.

– Боишься, что потом разгневаюсь, зачем я каялся перед тобою?

Видя, что князь милостив, захихикал и Хлопонич.

– И это, ваше сиятельство, и это! А главное, что я такой – про большое слышать не могу... сердце не вмещает... робкий.

Но князь уже опять успел омрачиться.

– Маленькая душонка видит обнаженное страдание большой души – и трепещет. А впрочем... Задумался – и потом, с горечью, серьезно:

– А, впрочем, кто это решил, что у меня большая душа? Может быть, у меня пар, как у Васьки-кота, а души-то и во все нет? Может быть, душа-то и вообще совсем не существует! Вот штука была бы?... Хлопонич! Говори: есть душа или нет?

Хлопонич говорит:

– Как вашему сиятельству угодно.

– Холоп!.. Муфтель! Есть душа?

Муфтель вытянулся, говорит:

– Я свою душу за ваше сиятельство положить всегда согласен.

– Солдат!

Схватился за голову, стонет:

– Господи! И слова-то в тоске обменять не с кем.

Так протянулось полтора года; князь провел их, как улитка в раковине. На Россию двинулись союзники; в Крыму шла резня. Умер царь Николай. Все умы были прикованы к Севастополю... он боролся одиннадцать месяцев и пал, победоносный в своем падении. Князю ни до чего не было дела. Гудение жизни плыло мимо него. Он был – как утопленник в омуте. Остолбенела мысль, чувства облекла спячка удава объевшегося, кошмарный сон под гнетом однообразной страшной грезы. И одно твердо сознавал князь, что спячка эта – его последний живой фазис и недолго ему перейти из кошмарного сна прямо и непосредственно в сон смертный.

– Спрут во мне, – жаловался он Муфтелю. – Знаешь, что такое спрут? Ужас океана, склизкая морская гадина, студень поганый, живую кровью питается. Схватит душу, облепит всеми щупальцами и сосет изо дня в день, из часа в час...

– Ваше сиятельство, позвольте врачей пригласить: может быть, дадут средствице какое-нибудь?

– Нет средства на спрута, Муфтель. Ни лекарства, ни огонь, ни железо не излечат: излечит одна смерть!

Весьма редко выходил он из своей меланхолии. Хлопонич

забирал при нем все большую и большую силу и то и дело ездил по делам князя, как поверенный, в Москву и Петербург.

Возвращаясь, он с удивлением рассказывал Александру Юрьевичу о первых днях царствования молодого императора Александра Николаевича, новых веяниях и начинаниях, о слухах об освобождении крестьян...

– Не узнал Петербурга. Истинное слово говорю вам, ваше сиятельство, не узнал. Дух иной-с! Другие люди! Все с войны пошло-с, после замирения. Говорят-с! Шепчут-с! Сочиняют-с! Что прожектов! Местов! Жалованьев! Так и гудит! Звания и ранги перемешались. Сегодня человек в ничтожестве небо коптил, а завтра написал прожект, попал в точку и – мало-мало не министр... Сынка предводителя нашего встретил. Только что из-за границы, с теплых вод, и – в бороде-с. Причесан, как мужик, и в бороде!.. И – ничего. Никто во внимание не ставит... Что же это-с? Помилуйте! Дворянское ли дело? При покойнике на барабане бороду-то обрили бы... через полкового цирюльника!.. Все понятия смешались. Даже и стишок такой ходит – о всеобщем изумлении по случаю новых времен. «На дрожках ездят писаря, в фуражках ходят офицеры».

Князь слушал равнодушно и вяло и только на бороду предводительского сына заметил:

– Дурак без бороды – баран, с бородою – козел.

– А что, – закинул Хлопонич, – если бы вам, ваше сиятельство, душу развеселить – в Питер проехать?

– Не видали меня там! В качестве дикого ирокеза себя показывать, что ли?

– Развлеклись бы? Бозия поет, господин Темберлик...

– Ты же знаешь, что мне воспрещен въезд в столицы.

– Это, ваше сиятельство, ничего. Я справлялся: коронации ей все подобные дела покрыты. Даже не надо и просьбы особой подавать, а только напишите шефу жандармов письмо, что, мол, имея надобность по делам своим посетить резиденцию, прошу повергнуть на всемилостивейшее усмотрение к стопам...

– Неужто пустят?

Хлопонич зашептал:

– Да как же нет, ваше сиятельство? За вами политического дела не числится, только личное неудовольствие покойного государя. А ныне даже этих, которые по четырнадцатому-то числу, всех велено возвратить.

– Врешь? – оживился князь.

– Ей-Богу! Титулы им назад отдают, ордена. Едут из дальних сибирских стран в ближние города... Первые люди! Встречают их по городам, словно богов каких.

Князь встал с кресел своих и – чего во всю волкоярскую жизнь его никто за ним не видал – перекрестился.

– Благословен грядый во имя Господне! – глухо произнес он.

– Вот и повидались бы, ваше сиятельство, – подхватил Хлопонич, раздувая произведенное впечатление. – Поди, в

числе их не одного старого приятеля найдете...

Ничего не сказал князь, но – всю ночь после этого разговора проходил по pokojам своим, важный и строгий, и за долгий срок впервые, кажется, думал не о мертвых бредах своих, но о живом, далеком, хорошем, светлом. Но когда назавтра Хлопонич возобновил свои соблазны, Александр Юрьевич только улыбнулся с грустью:

– Нет, Пафнутьевич, утро вечера мудренее: не дитя я, чтобы благовать мечтами.

– Право, повидались бы, ваше сиятельство.

– Зачем? Чтобы себя стыдиться? Я и наедине, брат, сам с собою довольно стыжусь.

– Помилуйте-с! как можно? – смутился прихлебатель. Но князь твердил:

– Общего между нами нету... Рад, что живы, кто жив... а – нету, умерло общее! Они там – в глубине сибирских руд – души свои живые сохранили, сквозь вьюги, сумрак и нищету, в оковах, свет свой пронесли... А я – свободный, богатый – душу зарыл глубже, чем в руднике. Темный демон – душа моя, и... поздно! не взлететь ей! Что уж Чертушке с декабристами? Тоже наслышаны, небось... о Чертушке-то! Они освобождали, а я заковывал... С испугом в глазах встретят... еще и руки, пожалуй, не подадут. Нет! Поздно, Хлопонич, поздно! Довольно об этом. Лучше расскажи – какие слухи, что новое правительство думает насчет мужиков? Отбирают от нас рабов наших или поканителиться еще?

Хлопонин замаялся. В старину князь вестей о воле не любил. В 1841 году, когда под впечатлением крестьянских бунтов слово «воля» загуляло по всей России, не обошло оно и унженских трущоб. Волкоярские мужики при слухах о свободе стали усерднее креститься, стоя в церкви, и в сумерках собирались на задворках покалякать о слухах, перелетавших в костромскую глушь вместе с ходоками-питерщиками и ходобщиками-офенями...

Князь тогда призвал Муфтеля:

– Аракчеев! ты слышал: правительство струсило, – хамью дают свободу?

– Точно так, ваше сиятельство.

– Что ты об этом думаешь?

– Не могу знать, ваше сиятельство.

– Ты глуп. Никаких реформ сейчас не будет, не может и не должно быть: вот что ты должен думать. Нос короткий!

– Слушаю, ваше сиятельство.

– Я слышать не хочу ни о каких новостях. Понял?

– Понял, ваше сиятельство.

– Я был барином и умру барином. Если же стряется над Россией такая беда, то я не русский более. Когда я умру, воля моих детей: идти ли по моим следам или якшаться с холопишками. Говорят, между молодым дворянством теперь на это много охотников... Но пока я жив, – слушай, Муфтель. Если хоть одно слово в Волкояре будет сказано о воле, я самого тебя пошлю на конюшню, даром, что ты немец и име-

ешь чин!

Памятуя этот давний случай, Хлопонич имел основание предполагать, что привезенные им вести о свободе окажутся очень неприятны грозному деспоту крепостного Волкояра. Но, к его удивлению, князь выслушал совершенно спокойно и только полюбопытствовал:

– С землюю?

– Угрожают, будто с землюю.

– Отлично. Так и надо. Довольно нам остзейского срама!

Хлопонин, совсем не находя этого отличным, ибо в ту пору округлил свое состояньице уже в триста благоприобретенных душ, позволил себе заметить:

– А я, ваше сиятельство, сомневаюсь... Ничего не будет!.. Десятки лет слухи ходят, а все – в пустышку... Были господа и были рабы, будут рабы и будут господа... Как быть перемене законам мира сего?

Князь необычайно оживился.

– Нет, Хлопонич, будет воля, непременно будет! – твердо сказал он. – Должна быть. Пора. Великое время наступает для России. Не тоскуй о прошлом. Не знаю, что даст будущее, а прошлое и настоящее – тьма кромешная, скрежет зубовый. Ты думаешь, жизнь вокруг нас? Нет, – мерзость запустения, гнилое дупло, обросшее поганками. Я, ты, Муфтель, Олимпиадка, все кругом – поганки. И не наша в том вина: не могли мы другими быть. Из поганого дупла выросли, – поганы и мы. Срубят дуплистый дуб, не станет и по-

ганок. К черту нас всех! к черту!.. Только черт-то захочет ли взять? Пожалуй, назад приведет: такие голубчики, что и ему не надобно... Я рад, что сын мой будет сыном свободной России. Уже не будет так, что десятки тысяч душ живут на свете только затем, чтобы кормить и баловать постылого и ненужного никому человека вроде... вроде меня!

Сконфуженный Хлопонич хотел возражать. Князь горько засмеялся и переменял разговор.

Несмотря на свои еще далеко не старые лета, – ему шел пятьдесят третий год, – Александр Юрьевич заметно опускался и разрушался. Его одолевала болезненная, вялая тучность – с одышкой, сердцебиением, приливами крови к голове. В дворне поговаривали, что князь недолговечен.

Он сел писать завещание – огромное, подробное, сложное. Для юридической разработки его вызвал Вихрова, который, с воцарением Александра Николаевича, немедленно вышел в отставку от принудительной своей службы и, побывав за границу, теперь жил вольным помещиком в довольно порядочном имении своем той же губернии, но другого уезда. Чтобы подписаться свидетелями под завещанием, нарочно приезжали в Волкояр начальник губернии – не старый, с которым всегда воевал князь Александр Юрьевич и которого тоже погасили александровские дни, а новый молодой светский генерал, подававший руку просителям и говоривший «вы» даже канцелярским писцам, – и предводитель дворянства, все еще тот же, милостями князя Александра Юрьевича.

ча, трехлетие за трехлетием благополучествующий. Кроме них, свидетелями подписались, по желанию князя, Вихров и – в особую честь – верный Муфтель. Содержание завещания свидетели держали в строгой тайне, и даже лисьему носу Хлопонича не удалось ничего пронюхать, кроме того, что он в посмертной воле благодетеля своего не забыт. А губернатор и предводитель, возвращаясь вместе в одном дормезе, менялись впечатлениями.

– Замечательный человек! – говорил губернатор, который Радунского впервые знал.

– Чертушка-с! – говорил предводитель, который знал Радунского двадцать лет.

– Я думал встретить сумасшедшего деспота, непоколебимого крепостника, и вдруг перед нами – джентльмен и передовой человек... Удивительно!

– Чертушка-с! – повторил предводитель.

– Когда я был назначен на мой пост, меня в Петербурге даже предупреждали – иметь в виду, что тут есть господин, князь Радунский, с которым надо будет бороться и, вероятно, даже постараться – отдать его под суд за злоупотребление властью помещика. А между тем это – единственный случай в моей губернии, что крупный душевладелец идет навстречу намерениям правительства, да еще в таких широких размерах.

– Горд очень.

– Вы думаете потому?

– Привык воображать себя удельным князем – и до конца этот характер свой выдерживает.

– Д-да... вот что?

– А вы полагали – по душевной доброте? Где ему! Чертушка-с!

– Так что, по вашему мнению, это – не навстречу правительству, но скорее – вызов?

– Обязательно... Вот-де, как мы, князья Радунские, своих рабов освобождаем, – ну-ка, вы там, в Петербурге, попробуйте!..

– Гм... Я его предупреждал, – сказал озабоченный губернатор, – даже убеждал его этот пункт уничтожить, потому что он, действительно, уже лишний. Освобождение крестьян – разрешенное дело, вопрос нескольких лет подготовительной работы. Но он стал на своем и, хотя чрезвычайно вежливо, но, пожалуй, действительно, в таком роде мотивировал, как вы изволите говорить.

– Да, конечно! Знаем мы его песни-то... «Правительство само по себе, а я, князь Радунский, сам по себе. Эти мужики были моими рабами, свободу им дать должен я – и никто другой! Я! Мое! Не позволю!»

– Экий, в самом деле, Люцифер гордый!

– Чертушка-с!

Так толковали завещание князя люди верха. Вихров был другого мнения. Молодой человек тоже поставил князю на вид соображение, что, собственно говоря, освобождая кре-

постных своих, он ломится в открытые ворота, – воля с землей не за горами. Князь выслушал и возразил:

– А вы совершенно уверены, что у правительства достанет силы – заметьте, я говорю: не желания, но силы – осуществить это свое намерение?

Вихров затруднился ответить.

– То-то и есть! Меня вот Чертушкой зовут... Ну так я вам, милейший Павел Михайлович, скажу по опыту: Чертушек-то крепостной России скрутить недолго, потому что нас всего, может быть, два-три, зато в ней семьдесят тысяч чертенят. Покойник-то, Николай Павлович, тоже на них заманивался и комитеты собирал, да – не достало силы, и кончил тем, что сдался им в плен и говорил о них: у меня в России семьдесят тысяч даровых полицеймейстеров. Удастся реформа, – очень рад; не удастся, – мое дело сделано, и совесть моя спокойна... Так что уж, пожалуйста, разработайте пункт этот как можно подробнее и яснее, чтобы потом не могло быть ни кляуз, ни прицепок. Вы находите достаточным определенный мною душевой надел?

– Еще бы, князь! Правительственная реформа так щедро нарезать землю, конечно, будет не в состоянии. Но и – обрезают же вы своих наследников.

– Наследника! – нахмурился, остановил князь. – Кроме князя Дмитрия Александровича, иных наследников у меня нет... Вы знаете мои надежды на Митю, Павел Михайлович. Но Мите сейчас десятый год, а я вряд ли долго проживу и не

уповаю видеть его совершеннолетним. По мальчику – можно ли с уверенностью ручаться, каков будет мужчина?.. Я, говорят, лет до одиннадцати пренежный и чувствительный отрок был, – вот вам! да-с! Только с пониманием любезных родителей своих начал характером озлобляться... Могу ли я быть уверен, что сын мой, возрастая в ином дворянском веке и в новом дворянском духе, поймет меня и не возропщет на мою волю, и приведет в точное исполнение? Дворяне сейчас либеральничают, Павел Михайлович, но скоро они обидятся, – вы увидите, как они обидятся... Нет-с! Покуда кто властен исполнить свою волю, потуда он должен выполнять ее сам. А – что я у сына отнимаю много земли, так – знаете ли? Вот величают меня за глаза удельным князем и, в самом деле, в Германии немного герцогств таких, как мой Волкояр, а ведь у меня еще и в Симбирской, и в Уфимской, и в Херсонской, и подмосковные, новгородские... Пятьдесят лет жил на свете, двадцать два года владел, большей части земель своих так и не видал, а ползли, ползли великие соки их со всей России в меня одного – маленького, так что весь я ими переполнился и вот теперь – поздно – сознаю: отравился обилием их, задыхаюсь... Эх, Павел Михайлович! Не так уж много человеку земли надо. Это – святошеское вранье, будто только три аршина, – однако же, и не сотни квадратных верст.

Слухи о «княжой воле» проникли-таки в народ. Но как ни пытали крестьяне и дворовые Муфтеля, старик выдержал характер: был нем, как гроб. Только одного и добились от

него:

– Удивит вас князь. Молитесь, ребята!

Осень 1856 года была особенно нехороша для князя. Завалы в печени награждали его головным болями, от которых он не кричал криком только благодаря своему упрямству и стыду показать, как ему больно. Чем больше он сдерживался, тем больше раздражался... Синий, как утопленник, сидел он тогда в своем кабинете, и Волкояр замирал в безмолвном трепете, как некогда замирала Александровская слобода в припадочные дни Ивана Грозного...

В один из таких дней казачок доложил Муфтелю, что дед Антип собрался помирать и просит его прийти в садовую баню, потому что хочет сказать ему важное слово.

«Насчет княжны собрался каяться, каторжный!», – мелькнула у Муфтеля мысль. Он пошел. Старик лежал на лавке – худой, как спичка, только живот у него вздуло горою.

– Богданыч, ты? – раздался его шепот.

– Здорово, старина... Аль худо?

– Чего худо? Хорошо, а не худо. У Бога худого нет. Пора! Чужой век заживаю.

Он помолчал.

– Вот, Карла Богданыч, как помру я – деньги на колоду, на свечи – пятнадцать рублей – тут подо мною в подушке. Тебе поручаю, – потому ты немец справедливый.

– Попа звал ли? – спросил Муфтель.

– На что он мне? Ко мне наредни свои, бродяжки, захо-

дили... им грехи сдал... А Кузьму не хочу: пусть он княжих медведей хоронит.

– Эка зла ты накопил, старик! – упрекнул Муфтель. – Вот умираешь,дохнуть тебе нечем, а ты злобишься...

– Слышь-ка, Богданыч, – не отвечая, перебил Антип, – у меня к тебе просьба остатняя и заветная...

– Приказывай: исполню...

Старик долго смотрел в одну точку, стараясь собрать свои мысли. Силы его, видимо, слабе ли.

– Там в печурке... – пролепетал он, – ларец... Ты его возьми... и, как есть, снеси ему... князю. Дескать, Антип кланяется вашему сиятельству... с того света...

– Когдаже снести-то, дедушка? сейчас или когда по-мрешь?

Больной не отвечал: глаза его обессмыслились, и живот тяжело ходил из стороны в сторону.

Муфтель стал рыться в печурке. Между разным рваньем и лохмотьем ему попалась старая железная сахарница без замка. Заглянув в нее, Муфтель нашел битые бусы, сломанный серебряный браслет и несколько листов бумаги, исписанной крупным лавочным почерком, как будто покойной Матрены Даниловны. Муфтель не без недоумения отнес находку князю. Александр Юрьевич – тоже с недоумением – принял листки.

Муфтель уже выходил из его кабинета, как услышал позади себя короткий крик и падение тяжелого тела. Он огля-

нулся: князь лежал ничком на своем письменном столе. Его разбил паралич.

Князя перенесли в спальню. Он не владел языком и правыми рукою и ногою. Но когда Муфтель хотел взять у больного бумаги, крепко зажатые им в кулак левой руки, Александр Юрьевич бешено отмахнулся от своего верного слуги и страшно замычал. Муфтель бросился к Антипу и вбежал в баню с таким свирепым лицом, что дворовая толпа, собравшаяся глазеть, как будет помирать божий старичок, шарахнулась от управляющего, точно испуганный табун.

– Дьявол! – закричал Муфтель, встряхивая умирающего, – какого ты колдовства мне дал?..

Антип открыл глаза и оскалился, как собака. Глаза у него уже стояли... из неподвижных губ сорвался не то вздох, не то рев, живот подпрыгнул. Старик осунулся на подушке, икнул и... помер без ответа...

Не успели приехать приглашенные к князю доктора, как за первым ударом последовал другой, а к утру – предсказали медики – надо ждать третьего удара и вместе с ним смерти. Муфтель никому не доверил ходить за умирающим князем. Он всю ночь просидел у изголовья своего господина. Под утро его сморило сном, но стонущее мычание больного разбудило его. Муфтель увидел, что князь свесился с кровати и с напряжением тянется здоровою рукою к ночнику, чтобы зажечь таинственные бумаги. Еще минута, и он свалился бы с кровати. Муфтель подхватил больного и снова уложил в

постель. Князь, лежа навзничь, устремил в лицо верного слуги взор, в котором Муфтель ясно прочел вопрос о смерти.

– Бог милостив, поправитесь, ваше сиятельство, – попробовал он ободрить умирающего, но по лицу князя скользнула безнадежно скорбная улыбка. Муфтель не посмел повторить своего утешения. Больной перевел взоры на ночник и доверчиво протянул управляющему руку со сжатыми в ней бумагами.

– Сжечь прикажете?

Александр Юрьевич утвердительно мигнул глазами. Муфтель поднес листки к огню, и через мгновение от них остался пепел, да и тот управляющий растер ногою. Вздых облегчения вырвался из груди князя; он вторично протянул руку Муфтелю, и когда тот нагнулся, чтобы поцеловать ее, притянул старика к себе и поцеловал его в губы: глаза у обоих были полны слезами... Муфтель не знал, какую именно услугу оказал он князю, но чувствовал, что оказал немалую; а князь благодарил его и за эту последнюю услугу, и за рабскую службу всей жизни. Затем князь забылся... Поутру началась агония.

Муфтель только что задремал было на стуле у дверей княжьей спальни, как его разбудило хрипение умирающего.

– Бегите, Олимпиада, за батюшкой! – распорядился Муфтель, – да князя Дмитрия Александровича приведите. Пусть отец благословит его, умирая...

Князька разбудили. Когда он, – пухлый, десятилетний ре-

бенок, живой портрет матери заспанный, взволнованный, в слезах, вошел в отцовскую спальню, у князя уже играл колоколец в горле. Мальчик взглянул на полумертвое тело отца, на необычайно серьезные лица Муфтеля и Олимпиады, смутился, понял, что происходит что-то недоброе и грозное, и в страхе громко захныкал. И тут-то приключилось нечто необыкновенное и никем не ожидаемое. По комнате точно дьявол пролетел. Едва плач мальчика коснулся ушей князя, из груди больного вырвался такой свирепый, такой мучительный рев, что Муфтель затрясся и присел от страха, Олимпиаду отшибло в самый дальний угол спальни, а мальчик в ужасе отпрыгнул от кровати отца, без ума бросился к Олимпиаде, спрятал голову в ее юбки и завизжал на весь дом. На мгновение жизнь как будто воскресла в убитых параличом членах умирающего. Опершись на здоровую руку, он приподнялся на подушках и, уже не с синим – с черным лицом, сверкая страшным оскалом зубов, пучил на своего любимца и наследника глаза, налитые самою бешеною ненавистью. Князь шевелил губами, силясь выговорить какие-то слова, – это могли быть ругательства, проклятия, только никак не благословения, – но язык ему не повиновался... Тогда он хрипло зарычал, как раненый лев, откинулся на подушки и... «Чертушки на Унже» не стало! Он умер, как жил: ненавидя и проклиная, и унес с собой в гроб тайну своей последней ненависти и непостижимых бессловных проклятий – единственному существу, которое он до сих пор любил.

Муфтель чувствовал, что объяснения всему этому надо бы искать в бумагах, им сожженных... Но от них не осталось и пепла, и немец, когда впоследствии его спрашивали о подробностях кончины князя, по инстинктивной осторожности, долгое время даже не заикался о находке, оставленной Александру Юрьевичу дедом Антипом.

Завещание князя действительно удивило и нашумело не только на всю Россию, но даже за границей писали о нем, как о знамени времени. Князь отпустил на волю всех своих крепостных, предоставив бывшим крестьянам своим в земельный надел более половины своих владений. Щедрый надел этот – во всех местностях, где были имения князей Радунских, – до сих пор определяется множеством урочищ, носящих выразительное общее название: «Княжая Воля».

Волкояр до совершеннолетия наследника был взят в опеку, а самого наследника опекуны перевезли в Петербург и поместили в аристократический пансион. Княжна Зина завещанием лишилась наследства. Она так и не нашлась. Сказать правду: опекуны не слишком усердно ее и искали. Дворня разбрелась. Волкояр пустел, глох и опускался.

Часть вторая

Из терема на волю

I

Лес...

Старые стволы, серая сеть голых ветвей и серое небо над ними. Тишь – как в могиле. Лес разбегается верст на сорок, на шестьдесят кругом то чащею, то кустарниками-перелесочками, то дремучими островами строевика. Разбегается по топким болотам, по глинистым ярам, непролазным сыпучим балкам, заваленным буреломом, пеньем, кореньем да камнем, которое наворотили на свои берега ручьи, смиренные летом и буйные весной и осенью. Здесь царство дикой птицы и дикого зверя. Кабы не узенькая тропинка, что едва заметною лентою вьется по бурым мхам, можно бы подумать, что здесь никогда еще не ступала человеческая нога. Сумрачно под деревьями – даже и сейчас, когда запоздавшая весна не успела еще одеть их зеленью; летом же под этими лиственными и хвойными сводами – и в полдень потемки.

По тропе пробирается человек – босой, в посконном тряпье и рваной шапочке, с сумой через плечо и двухстволкою за спиною. Сплошная стена кустов заградила ему путь. Он

съежился, нырнул в их колючую чашу и вынырнул на крутой берег глубокого оврага. Огромная дуплистая ива висела над оврагом. Длинные, как плети, и частые, как сетки на перепелов, ветви покрывали ствол ивы до самого корня. Человек раздвинул свод этого живого купола, снял с плеч ружье и сумку и, бережно прижав их к груди, протискался в тесное дупло. Черная дыра поглотила его.

Согнувшись в три погибели, скользя ногами по мокрой глине, он, как крот, пробирался под землю по низкому и узкому лазу среди темноты и сырости. Минут десять прошло, прежде чем забрезжило впереди пятно тусклого света¹⁰.

Лаз выводил к обросшему лозняком болоту. По трясине, с кочки на кочку, со пня на пень, с колоды на колоду извилистыми перебросами лежали молодые деревца: будто ветер их повалил, а не люди набросали. Прыгая по этим зыбким переходам, охотник достиг болотистого озера – узкого, непродолговатого и кривого. Переплыть его было довольно десяти минут, но обойти вокруг, по берегу, давай Бог успеть и в полдня. Над лозняком, по ту сторону озера, снова разливалось море леса. Шапки деревьев плотно теснились одна к другой, и надо было иметь орлиное зрение, чтобы разглядеть на сером небе сизые полосы дыма, тощими столбиками поднимавшегося к облакам.

¹⁰ Такой лаз – древний, полузасыпанный – автор имел случай видеть в Нижегородской губернии, а также в Виноградской пустыни близ «местечка» Смелы (Киевская губерния). Интересные сведения о тайниках см. в книге Кутепова: «Секты хлыстов и скопцов». Казань, 1882 г.

Охотник выстрелил. По ту сторону озера лозняк зашевелился, показалась крошечная душегубка с крошечным гребцом.

Высидившись на берег, еще добрые полчаса шагал охотник по тропам, пробитым во мхах, под соснами, прежде чем вошел в околицу лесной деревни. Коротенькая улица разбилась по косогору двумя рядами изб под тесовыми крышами, с фигурными коньками и резьбой. Дворы, огороженные крепкими заборами, крепкого, обугленного в костре дерева, с острыми гвоздями на них – против лесного зверя, – замыкались воротами, громадными и прочными, хоть тараном в них бей! Между улицей и лесом разбросались землянки, бурные под прошлогодним дерном. На вершине косогора возвышалась часовня с восьмиконечным крестом над крыльцом.

К часовне и направился охотник. Встречные мужики в опрятных армяках и бабы в синих домотканых и дома же крашенных сарафанах отвешивали ему низкие поклоны.

Охотник был первым богачом и мирским воротилою потайного староверческого села Тай. Звали его Василием Осиповичем, прозывали Гайтанчиком. Через него Тай поддерживал сношения с внешним залесным миром. Он переносил от таевцев грамоты к поволжским и московским столпам старой веры и доставлял таевцам ответы и пожертвования. Через него добывали таевцы все, чего не могли выработать домашними средствами: соль, сахар, свечи, медную посуду, оружие. Жил Гайтанчик на два дома: то в Тае, то в

уезде. В лесу соблюдал древнее благочестие и чуть ли даже не пророчествовал. В уезде он был приписан к купцам второй гильдии, водил дружбу с начальством, мирщился с «великороссийскими»... Другому бы это не прошло даром, но Гайтанчику люди старой веры охотно извиняли его общение с никонианцами, как необходимую личину. Таевскую тайну Гайтанчик держал крепко. За тридцать с лишком лет существования Тая до властей не раз доходили слухи о скрытом в лесах поселке людей запретной старой веры. Но человек, не посвященный в местоположение Тая, мог найти его, разве лишь вырубив всю огромную лесную площадь, где он затерялся, как иголка в копне сена. Все поиски оставались бесплодными, и власти в конце концов пришли к убеждению, что никакого Тая нет и не было, что он – такая же легендарная небылица, как излюбленный фантазией староверов Китежград или незримые старцы Жигулевских гор. Гайтанчик имел сотни случаев продать таевцев. Но человек умный и жадный, он сообразил, что никакою наградой не возместить ему доходов с трущобного Тая, и был нем как рыба. Продолжительные и частые отлучки его в леса не возбуждали подозрения: человек торговый, с обширным оборотом по всей губернии... диво ли, что он мало сидит дома? К тому же, после каждой отлучки, он возвращался в город не с пустыми руками, а кому надо и подарочки дарил, и гостинцы привозил. Даже людям, фанатически преданным старой вере, Гайтанчик неохотно показывал путь в Тай. После долгих

испытаний и искушений, он вел новобранца крюком верст в пятьдесят-шестьдесят, прежде чем доставлял его к заветной иве. Сподручных работников для его лесных путешествий поставляли ему таевцы: два-три верных таевских парня всегда жили на городском гайтанчиковом дворе. Гайтанчик оберегал не столько Тай, сколько самого себя. Очень уж он боялся, как бы другой ловкач не перешиб у него торговлю. Таевцы, не входя в причины верности Гайтанчика, ценили его надежную скрытность, уважали его и побаивались...

Население Тая состояло первоначально из двух семей, сбежавших от одного нижегородского ханжи-помещика, чересчур уж обрадовавшегося суровостям николаевского гонения и усердно принявшегося уничтожать раскол в среде своих крепостных. Со временем поселок разросся и умножился так, что теперь в нем считалось за сто пятьдесят душ.

Новых людей таевцы принимали неохотно после долгого искуса и за клятвенным поручительством верного человека. А если ненароком заходил к ним, заблудившись в лесу, незнакомый человек, то по испытании, каким крестом он крестится, ему предлагали на выбор одно из двух: либо оставайся на всю жизнь в Тае, – вот тебе земля, дом, хозяйка! – либо камень на шею да в озеро. Это – если путник оказывался христианином старой веры, никонианина же без всяких разговоров пристукивали долбнёю по затылку.

Последние посельщики со стороны – двое мужчин и две

женщины – пришли в Тай девять месяцев тому назад¹¹.

II

Когда из Волкояратак неожиданно исчезла молодая княжна Зинаида Александровна, а вместе нею пропали без вести трое дворовых, в околотке, между соседями, было много о том разговоров. Все соглашались, что сбежать от полупомешанного деспота было не только можно, но даже должно, особенно княжне, которую он угнетал с нечеловеческою суеверною злобою. Но куда девались княжна и ее путники, никто не мог ума приложить.

Одни думали, что княжна, при помощи дворовых, бежала в Москву или Петербург и не нынче-завтра объявится там под защитою и властным покровительством своей знатной родни; другие – что дворовые были не пособниками, но злодеями княжны: ограбили ее деньги и бриллианты, а ее самое удушили и бросили труп с камнем на шее в какой-нибудь унженский омут.

– Охота воображать такие страсти! – говорили третьи. – Дело гораздо проще. Княжне восемнадцать лет. Она красивая и здоровая девушка. В своем нелепом затворничестве она одурела от скуки и слюбилась с этим Констою – едва ли не единственным мужчиной, имевшим доступ в ее покои.

¹¹ Легенду о Тае я слышал впервые во Владимирской губ. «ернии», Вязниковском уезде; такие же рассказы слышал я и в Казани в 1887 г.

Тем более что Конста – третий паренек из столицы, беспутный и отчаянный пройдоха, который не упустит того, что само плывет в руки. Страх за последствия романа и заставил всю честную компанию удариться в бега от княжей расправы...

На самом деле бегство происходило таким образом. Августовскою ночью, в непроглядную темь, Конста вызвал мать и княжну Зину из павильона, где коротали они свои скучные дни, и через лазейку, проделанную в кирпичной ограде волкоярского сада, вывел их к густо обросшей ольхами мертвой заводи на Унже. Здесь в лодке ждал их Михайло Давыдок с своею верною Сибирлеткой. Поклажи с беглецами было немного: мешок еды, два ружья да охотничий припас. Бриллианты и деньги княжны были зашиты в платьях обеих женщин. До самой зари Конста и Михайло неустанно работали веслами, спускаясь вниз по течению. Унжа и теперь река довольно пустынная, а в то время на ней было совсем мертво. Беглецы пролетели верст двадцать, никем не окликнутые, не встретив ни единой живой души. С рассветом они причалили к пологому берегу, над которым, точно зеленая крепость, поднимался старый бор. Остановили лодку на мелком месте, мужчины вылезли в воду по пояс и на руках перетаскивали женщин и поклажу на сушу. Лодку оттолкнули от берега в трубу и пустили плыть по воле Унжи.

– Не потопить ли? – предложил Конста. Давыдок не захотел.

– Раньше говорил бы. Теперь за нею плыть – дорогое время тратить. Ничего. Ее самое течением перевернет, либо на корягу наскочит. Пушай плывет – эдак ладнее выйдет, сбивчивей. Нас еще часов пяток, а то и позже, не хватятся. А когда хватятся, не так-то скоро ум приложат, какой дорогой мы убегли. Беспременно будут искать сперва на том берегу – по сухому пути. Тем временем лодку невесть куда снесет: плотин на пути нет, до первой деревни десять верст. Да и то – авось мы в рубашке родились – мужичье прозевает лодку, не догадается словить. Поймают лодку от этого места верстах, скажем, в пятнадцати. Покамест разговоры да пересуды: откуда лодка? чья? – покамест придут вести из Волкояра, покамест пошлют вестового о лодке к Муфтелю-управителю, покамест князь с Муфтелем надумаются, с какого берега и места начинать облаву, – мы верст пятьдесят уйдем. Ищи нас с собаками!

– С собаками и будут искать, – озабоченно заметила Матрена.

– Ништо! Через Унжу собачье чутье не подействует, а на этот берег не сразу-то всю свору перегонишь. Тоже надо знать, как собачек пускать. Я бы пустил, ну а за мною – вряд ли! Не набеганы они у нас на людей, их каждый звериный след будет сбивать. А мы пойдем мокрыми ногами, по росе, след-то и выстынет. Только бы в первый день не поймали, а то – вот вам крест святой, как солнце сегодня сядет, так и страху шабаш. На завтра уже с развалкой пойдем, а денька

через три, даст Бог, и у Тая будем.

– Расскажи ты хоть нам, что за Тай такой. Идем за тобою на веру, а ты нам его сулишь, ровно царствие небесное.

– Место – как место. Люди живут. От начальства схоронились. Давно уже кто в бегах, кто в покойниках числятся, а ничего – давай Бог здоровья! – живут богатеями. Потому – что им, медведям трущобным, делается? От податей, от рекрутчины, от подводчины, от господ, от полиции – ото всего ушли. Редко кому Тай знаком даже из нашего брата, лесного бродяги. А мне ют пофортунило: я у таевцев свой человек.

– Как же ты к ним попал, в такую глушь? – спросила Зина.

– Ненароком, барышня, вы про разбойника Ухореза слышали?

Мама Матрена что-то сказывала.

– Ухорез, по первоначально, был младшим есаулом у Фадеича, у того самого, которого по всей костромской и ярославской стороне «сватом Фадеичем» прозывали, – больно уж охоч был устраивать свадьбы и на веселье пировать. Слюбятся девка с парнем, а старики им закону не дают, артачатся...

Что делать? Сбежит парень в лес да – Фадеичу в ноги. А тот денька через два-три и нагрянет в деревню: «Вы что же, старые хрычи, отнимаете у детей долю? Эй, не дурите! А то как бы я вам полдеревни не спалил, да и кони ваши мне приглянулись – хорошие кони!» Отбразничает сговор и опять в лес уйдет. Когда Фадеича разгромили, Ухорез стал сам про-

мышлять на свой страх. Жил он на Немде, окопавшись в старом майдане: дегтярня ли там была, городище ли древнее, – Бог его знает. Промышлял сам-пят с товарищами. Да, по малому времени, я к нему в-шестых пришел.

– Ты, Давыдок? – вскричали женщины, с недоверием глядя на добродушное лицо егеря.

– Я самый. Что же вы дивуетесь?

– Да как же? Какой ты разбойник? Не первый год тебя знаем: тебе муху и ту жаль обидеть.

– Час на час не приходится. На беду и рак свистнет. Нижегородский я. Волжанин. У нас, нижегородских, головы буйные, мозги крепкие, сердца неумные. Потому что от старой новгородской воли пошли. Характера я – это точно – прямо тебе скажу – смиренного, и обидеть меня мудрено. Но, ежели дошла обида до сердца, тогда не мягчи души умильными словами: не прощу! – и грозными словами не пугай: не боюсь! Одна тогда у меня дума и надежда – топор в руке да темная ночь. Меня в ту пору крепко обидел мой старый барин Арбеньев-господин... может, слышали?.. верст триста его усадьба... Во как обидел! И сейчас-то говорить про его обиду – сердце кипит! А ведь второй десяток лет на исходе тому делу. Ну, что жену свел – это я, хоть горько было, перенес, простил, потому что не силом он ее взял, сама сука-волочайка сердцем на грех разгорелась, умом возгордилась, захотела барскою барыней быть. Но мало ему было, насыти. Сестра у меня подрастала. Анютой звали. Всего-то по пятна-

дцатому годочку поднялась... Увидал – не пожалел проклятый. Осилил откроволицу. Погубил. Молодой я был, горячий... Сбег к Ухорезу. Он был человек справедливый: крови проливать – ни-ни! Грабил тоже с разбором: господина, попа, ежели жадный, купца али прасола без рубахи пускал, а голытьбы не трогал, – иной раз даже помогал. Барина моего мы разуважили: такого красного петуха пустили, что наследники до сих пор кряхтят – захудали, обстроиться не могут. Выслали на нас команду. Сколь мы не убежали, однако приперли нас к самой Немде. Эдак – река, а эдак – дубки. Стали мы из-за дубков отстреливаться. Долго палили, много народа перепортили, пожалуй, и отстоялись бы, – да убили у нас Ухореза. «Покорись, ребята!» – кричат солдатушки. Товарищи ружья побросали, пали на колени. А я думаю: спина-то у меня своя, некупленная; под плетьюми не другому кому, а мне лежать. Да, Господи благослови! – бух в Немду. Вода студеная. Плыву, а вокруг – щелк, щелк, щелк: словно плетью по воде! – свинцовый горох, значит, сыплется. Вылез на берег, припустился бежать. Четыре дня плутал по лесу, ягодой питался, сырой гриб жрал. Отощал. А тут медведя враг наслал. А охотничьего-то снаряда у меня – нож да дубинка. Однако – знать крепко молился за меня мой угодник! – свалил я косматого. Свалил, да и сам пал замертво: поломал он меня, демон, косточки здоровой не оставил. Так на медведе и подобрали меня таевцы. Пришибить хотели. Но ихний уставщик – по-нашему уставщик, а у них он кормщиком прозыва-

ется – Филат Гаврилыч удержал: жаль ему стало силы моей; полюбилось, что я убрал медведя один на один, почитай что с голыми руками. «Что вы, – говорит, – ребята? как можно убивать такого богатырищу? Аль на вас креста нет? Лучше возьмем его в Тай да вылечим. Пришибить его, когда понадобится, всегда успеем, а – как знать? – может быть, он еще будет доброю овцою в нашем стаде». Когда же я опаматовался и признался, что я из ухорезовцев, – таевцы и руки врозь: и кланяются, и угощают, и не знают, где посадить. Потому Ухорез был ихним благодетелем, имел у них самый потайной свой притон и чуть ли не по ихней вере ходил.

– А какая у них вера, Михайлушка? – живо перебила Матрена.

– Как тебе сказать, – не соврать? Попов не имеют, а на счет толка не скажу наверняка. Чудаки, хлысты не хлысты, а как бы на ту же стать тянут. Тоже и попрыгивают на радениях, и постегиваются, и невесть какие рассказы тогда плетут – словно вполпьяна. Однако насчет мяса – ничего, не воздерживаются. Да и как воздержаться? Дичины не есть, – чем в лесу живу быть? У хлыстов ведь нашему брату, мясоядцу, с голоду пропасть надо. Чаю со сладкими заедками дуй хоть ведро, но о водчонке и не заикайся. А таевцы, хотя народ претрезвый, ни на что запрета не кладут... И начальство у них есть: свои выборные – уставщик, читалки... у хлыстов так не водится. У них все равны.

Матрена задумалась.

– Веденцы¹², что ли? – пробормотала она.

– Кто их знает? Может, и веденцы...

– Я потому спрашиваю, – заметила Матрена, – что маракую по ихней части. Водилась с ними, с хлыстами-то.

– О?! где ж ты с ними спозналась?

– В Костроме. Там ведь исстари ихнее, хлыстовское, селище. Так и в песнях ихних поется: «Дом Божий – Горний Иерусалим – город Кострома, верховная сторона!» Еще сам ихний первоначальник, богатый гость Данило Филиппович, которого они богом-Саваофом почитают, жил у нас в Костроме и в Волге книги утопил: «Что новые, говорит, что старые, – никаких не надо ко спасению, а спасетесь вы, люди, моим живым духом...» Мне и дом показывали, где он обитать поволил. Так и называется – «Божий дом»... Так вот, как муж-от у меня помер, есть было нечего, да вон этот, – она кивнула на Консту, голодный рот на шее... Тут одна однодворка (из достаточных бабочка, Авдотьей Ивановной звали¹³ стала ко мне похаживать. То булку принесет, то чайку, то сахару. И все жалеет: «Горемычная ты, Матренушка! маешься в греховной слепоте, оттого и нет тебе счастья в жизни. Вот кабы ты приобщилась к „людям Божиим“ и была осиянна светом истины, – всего бы у тебя прибавилось в изоби-

¹² Хлыстовская секта, распространенная в тридцатых годах в Закавказье, повлиявшая и на русский раскол. В. Андреев в книге «Раскол и его значение в народной русской истории» зовет веденцов духовными прыгунами, трясунами и духовидцами.

¹³ Личность историческая... пропала без вести в 1845 г.

лии». – «Матушка! – говорю, – да зачем же дело стало?.. Чем хошь меня осияй, только бы мне с моим сиротой сытыми быть».

Принялась она меня учить да наставлять: хлыстовка вышла, как есть сущая фармазонка; в костромском корабле «сосудом избранным» слыла... И только бы, только мне самой быть принятой в корабль, как пришли гонцы из Волкояра: взял меня князь ходить за Зинушкой. А сказки ихние все знаю! – о богатыре Аверьяне, который на Куликово поле людей Божиих с Мамаем нечестивым драться водил и там голову сложил; об Иване Емельяновиче, как он Ивана Васильевича, грозного царя, застращал и Христом ему показался; о Настасьюшке Карповне, как она, в тюрьме сидя, царицу Анну Ивановну не простила, и та, от Настасьюшкина непростения, в три дня померла. О всех старых «живых богах» всю подноготную рассказать могу. О живом Саваофе, богатом-огати-не Данило Филипповиче, о богородице Акулине Ивановне, которая будто бы царица Елизавета была, о Христе – Иване Тимофеевиче.

– Ай ли? – радостно вскрикнул Михайло, – молодец-баба! дорогого стоишь! Стало быть, мы мало что не пропадем, а еще и в почете будем... Ходи веселей, тетка! да старину-то в мозгах перетряхни – пригодится! А чего не вспомнишь, сама соври покладнее. Я в зиму, когда жил в Тае, пробовал эту штуку... Только плохо у меня выходило: человек я темный, слов хороших не знаю... А ничего, иной раз и у меня знат-

но сказывалось. Ну, да мне голос помогал. Запутаюсь в речах, защелкнутся мысли, – выручай молодец горлышко. Как гряну им стихиру, – рты поразинут, растаяли. Не знают, где посадить, чем угостить. Мудрости в пении тем более никакой нет: церковных молитв таевцы не любят, все свои стихиры на голоса мирских песен поют... Одна беда, – продолжал Давыдок, шагая по мшистой поляне, – забраться в Тай нетрудно, а выбраться будет не легко! Не любят таевцы, чтобы народ от них выходил в мир. Меня, когда я впервой уходил от них, выручил тот самый уставщик, о котором я вам рассказывал. Ежели жив еще старина, – и теперь будет наш друг. А уж куда древен! Я чаю – под все девять десятков. Добрый. Заскучал я по миру Он меня и спрашивает: «Что, Михайлушка? генерал Кукушкин бродуна в лес зовет? на волю захотел?» – «Смерть, как захотел, Филат Гаврилыч! Хоть удавиться». – «Что ж делать-то? потерпи! отпустить тебя не можем: проболтаешься о нас в миру – худо нам будет». Стал я божиться и клясться, что буду немее рыбы. Подался Филат Гаврилыч... Говорит: «Присягнуть в том можешь?» – «С моим удовольствием. Потому какой же мне расчет есть вас выдавать. Я человек скитающий, ухорезовец, от полиции бегаю, а у вас всегда могу иметь приют без всякой опаски...» Согласился уставщик, что речи мои правильные... «Коли так – ладно! жди себе милости!..» На первом же раденье покатился мой Филат покотом: корчи, пена у рта, глаза вылезли на лоб... Таевцы рады – взметались, орут: «Накатил! накатил!»

Начал Филат выпевать:

Уж ты, верный мой Тай,
Живи да поживай,
Мир светом награждай!
Мир покорствует врагу,
Пошли верного слугу,
Чтобы мир просветил,
Ко Таю приютил...

Да с этими словами – ко мне: «Радуйся, рабе! в мир идти тебе...» Тут сейчас все – в ноги мне: значит, я сосуд избранный, если мне от Духа вышло такое указание. И с этого вечера – не то что меня задерживать, а еще поторапливать стали: «Чего сидишь – не уходишь? не ответить бы нам за твое промедление!..» А когда я уходил, наградили меня и деньгами, и одеждой... добрые ребята. Положим, на что им в лесу деньги? Игрушки! Но мехов, шкурья всякого у них – до ужаста. Коли в наших лесах куница вывелась, а таевцы ее еще и посеичас бьют. Стало быть, глушь!

– Приводил ты потом кого-нибудь к таевцам? – спросил Конста.

– Сколько раз. Как зима прохватит без хлеба и одежды, так, бывало, и плетешься в Тай, и товарища ведешь с собою, – вот, мол, новая овца... Знамое дело, выбирал из ребят, которые понадежнее. Иным Тай так полюбился, что не захотели возвращаться в мир: по сю пору там живут, семьями оброс-

ли. Даже из Волкояра к ним не раз хаживал, – просто уже так на побывку, чтобы старая слава не заросла мохом... Антипа-Пчелинца, Божьего старичка, таевцы тоже знали и очень почитали его, хотя и думали, будто колдун. Нам его имя на пользу будет. Однако вот уже четыре года, как я в Тае не гостевал. Поди, много знакомцев перемерло. Да это – наплевать. Только бы Филата Гаврилыча застать в живых.

Лес все густел. Огромный зеленый мир отделил беглецов от Унжи... А в Волкояре спали еще спокойно, ничего не предчувствуя, никакой беды не предвидя.

Ш

На крыльце новосрубленной избы – одной самых нарядных в Тае – стояла молодая женщина. Прислонясь к витому столбику крыльца, она лениво щелкала подсолнухи, безразлично глядя вдаль большими серыми глазами.

В избе между тем было не совсем ладно. Через сени доносились голоса мужчины и женщины, крепко повздоривших между собою.

– Наплевать же, юли так! не хочешь, – не надо! и одни не пропадем, – крикнул злым тенором мужчина и, хлопнув дверью, вышел на крыльцо. Вслед ему раздался сердитый, насмешливый хохот. Вышедший дышал тяжело, и гневный румянец играл на его лице.

– Дьяволы! право, дьяволы! – ворчал он, садясь на сту-

пеньки.

Женщина села рядом с ним и ласково положила ему руку на плечо. Она совсем переменялась, как только он появился на крыльце: лицо ожило, глаза засветились...

– Что, Конста? опять поругался с мамой?

Конста отчаянно махнул рукою.

– Да разве с нею сговоришь?! Одурела она, сидя здесь в трущобе с фармазонами. Как пень! ничем не сдвинешь. Уперлась на своем: «Мне и здесь хорошо, никуда я дальше не пойду и не поеду, от добра добра не ищут... чего вам с Зинкой не сидится на месте? На воле князя Александра Юрьевича сыщики по всей Волге рыщут, а здесь мы – как у Христа за пазушкой, в раю. Куда вас тянет? Сами не знаете!.. Сыты, обуты, одеты, любиться запрета нет; люди вас по мне почитают, в пояс вам кланяются...» Тьфу! да нешто мы за тем из Волкояра уходили, чтобы весь век смотреть сквозь болотную дыру на сосны да ели?.. Я и то тебе, Зинушка, удивляюсь, как ты еще меня с утра до ночи не пилишь пилой: обещал показать весь свет, а взамен того усадил в бучило...

Зина засмеялась.

– Право, так!.. «Почет», – говорит... Ну как же! пророчица... находит на нее, вишь ты, – «накатывает». И откуда в самом деле взялось?! «Аще» да «абие», «елицы» да «не пецытятся»... Врет такое, инда у самой, поди, от страха дух занимается. А эти, – Конста презрительно кивнул на улицу, – слушают, разинув рты: «Матушка, ты наша! свыше тебе это...

духом... свыше накатило!...» Верят. Что дивного? Во вранье лиха беда начало, а там до того доврешься, что и сам себе верить начнешь... Погоди: и впрямь себя позабудет – и пророчицей, и Богородицей вообразит. Только я-то уж – дудочки! совесть имею. Ни в пророки, ни в Христы! На смелое дело – куда хочешь, но морочить умы человеческие шарлатанством – с души воротит. Что греха! что ответа на себя берет! У! глаза не смотрели бы... Зинка, голубка! сказывай правду, не скрывайся: очень тебе тошно здесь?

– Конечно, тоскливо... ну да в Волкояре хуже было... Здесь все же воля.

– Какая воля, Зинушка? какая воля?! Мы вон при людях даже по имени не смеем назвать друг друга. Ты в Натальи, я в Митьки попал... Крещеных имен лишились... какая тут воля? Запрятались – медвежье племя – сюда в леса от начальства, а сами промеж себя устроили такую каторгу, что; и заправская не хуже. Одни ихние раденья да постные речи могут иссушить человека... А Гайтанчик?! Ух! вот на кого у меня руки чешутся... Что он – все еще пристаёт к тебе? – угрюмо спросил Конста, понижая голос.

– Пристаёт, – с искренней досадой отозвалась молодая женщина. – Намедни у колодца... мало-мало я его ведром нехватила...

– Не ведром, а колом бы его следовало! – ворчал Конста, – ишь, девушник! А ведь какое благочестие на себя напускает... Эх! кабы таевские старцы не дубье были, началить бы

им, да начать этого Гайтанчика лестовками да вервами¹⁴ сперва с утра до вечера, а потом с вечера до утра. Однако это дрянь-дело, что он к тебе лезет... Ты с ним держи себя на политике. До баловства не допускай, а насчет ведра оставь! Погоди; Распутаемся мы с ним в своих делах, – тогда и ведром можно...

– Да что с ним нежничать-то? что он за власть такая?..

– Не власть, Зинушка, а хуже. Нужен он нам, крепко нужен. Он – медвежий паспортист.

– Что-о-о? – Зина расхохоталась, – нешто у медведей паспорта бывают?

– У медведей не бывает, а есть такие люди, что состоят хуже, чем на медвежьей линии: вот как мы с тобой. Им-то и мастерит Гайтанчик паспорта.

– Фальшивые?

– Известное дело, ненастоящие. Но у него это тонко поставлено. Чиновника какого-то имеет в товарищах – тот ему и форму всю соблюдает, и печать заправскую прикладывает... Барыши дуванят: пол на пол. Гайтанчиковы паспорта, хоть и дороги, да хороши – без промашки. За то и гуляют по всей Волге: все раскольничьи попы по ним бегают.

– И нам он работает?

– Мне, тебе и матери. По пятисот целковых от паспорта взял. Да вот пятый месяц за нос водит. Спасибо еще, что я

¹⁴ Верва – род полотенца, которым «люди Божьи» повязываются на своих радениях.

догадался перерезать бумажки. А то бы и вовсе надул, пожалуй... На половинках-то далеко не уедет.

– Поэтому, как только Гайтанчик выправит нам паспорта, мы и уйдем.

– Да, если мать согласится. Без ее воли таевцы нас не отпустят.

– Значит, здесь нам с тобой и век свековать. Никогда мама Матрена не согласится. Ты и споришь с нею напрасно. Только портишь себе кровь. Ведь надо же правду сказать: живет она здесь, как сыр в масле катается. Королева! Хочет – казнит, хочет – милует.

– Да что за сласть королевствовать в трущобе?

– На вкус и цвет товарища нет. Опять же... все что ли сказывать?

– Ну?

Зина засмеялась.

– Парни таевские очень ей по сердцу пришлись. Романы развела.

– Тьфу!.. на пятый десяток повернула баба, – пора бы и бросить дурь.

– Кто же ей даст эти годы? Она еще – хоть куца. А потом... не очень осуждай! Посидел бы ты, как мы сидели в волкоярской клетке. Нехотя сбесишься! Не диво, что, когда вырвешься на свободу, так разгуляешься, как конь без узды... Неволя чудеса делает. Кабы не она, разве гуляли бы мы с тобой по дремучим лесам? Хитер, умен папаша, а сам своими

руками выдал меня тебе. Держи он меня, как следует держать дочь, ты бы не смел на меня глаз поднять... и ведать бы я не ведала, каков таков Конста живет на свете.

– Не говори так! – хмуро перебил Конста, – не люблю я...

Зина, смеясь, легла ему на плечо.

– Чего не любишь, глупый? Твоя ведь, вся как есть твоя. Никто не отнимет – не бойся! Ничего для тебя не пожалела, имя свое забыла, из дому ушла... чего еще надо?!

– Чего же Давыдок смотрит, если мать гуляет? – заговорил Конста после долгого молчания.

– Да ведь его в Тае почти никогда не бывает... Сам знаешь, каков он: третий день, как пропадает в лесу. Вон и теперь ушел в лабаз – медведя подсиживать... Да и глуп он. Верит.

– А что, если бы ему рассказать? – нерешительно пробормотал Конста.

Зина покачала головой:

– Полно-ка, что выдумал! Будто ты его характера не знаешь? Хочешь подвести под нож родную мать? Нет, ему не рассказывай, а маму Матрену пугнуть им, пожалуй, можно. Сама, мол, сиди в Тае, сколько хочешь, а нас отпусти. Не отпустишь – мы тебя уличим перед Михайлой... будет тебе от него и на орехи, и на подсолнухи!

– Да, это можно...

– Я так думаю: она не отпускает нас потому, что ей жаль денег.

– Ну да. И камушков этих твоих, брильянтов. Дернул же черт нас сдать ей все на руки. Вот времена-то! Родной матери верить не приходится.

– Откупиться бы как-нибудь? Хочешь, я с нею потолкую? Договоримся, поделимся...

– Своим же добром?! – горько усмехнулся Конста, – за что? за какие радости?

– Как же иначе-то? Сделали глупость, – надо выпутываться. Она особенно брильянтами дорожит; очень уж она утешает ими таевцев... Над деньгами так дрожать не будет.

Конста молчал, злобно постукивая ногою.

– То есть, никогда я не прощу себе, что позволил Давыдку затащить нас в этот проклятый Тай! – вырвалось у него.

– Полно-ка! Если бы не Тай, где бы мы облаву переждали? У папаши денег довольно – хоть всю полицию по всей России на ноги поднять. Ты за меня не тревожься, будто мне скучно. Я уже не та, как ты меня из Волкояра увел. Воля ум дает. Понимаю, что об Одессе да о новых местах были только наши тюремные мечты. Спасибо, что вырвались... А теперь будем жить, как жизнь ухватить себя дается.

– Ну нет! На это моего согласия нет! Я – что в мечте наметил, к тому и пойду. Не мне жизнь, а я жизни должен быть командир.

Затихли.

– Темнеет... ужинать, что ли, да и спать? – зевнула Зина.

– Известно... Что же еще делать в этой мурье? Ползи по

щелям, тараканы!

IV

Самолюбие Гайтанчика было сильно задето любовными неудачами у «Натальи-Чужачки», как звали Зину таевцы: беглецы, кроме Михаила Давыдка, хорошо знакомого в селе, скрыли свои настоящие имена. Баловень и кормилец Тая, Гайтанчик был любимцем сектанток. Он либо подкупал их гостинцами, привозимыми из города, либо морочил фантастическою болтовней на радениях, и потому ему легко давались «духовные супружества», – подводный камень хлыстовщины, самобытной отраслью которой, мутно и грубо смешанной с остатками старой двуперстной обрядовой веры, была таевская секта. Редкая девушка в Тае миновала хитрых лап его: он бил сороку и ворону, и ясного сокола, не пропуская ни красавиц, ни дурнушек. Мужчины на то не сетовали, а если и сетовали, то помалкивали. Ревность была не в правилах Тая, так как браки считались явлением лишь терпимым с грехом пополам, но отнюдь не желательным и неизменным. «Девка – от Бога, баба – от дьявола». Идеалом секты было «посестрие», безбрачный союз, в котором мужчины и женщины жили бы как братья и сестры, в ангельской любви, чуждые плотских помышлений. В действительности же этот идеал сводился к тому, что самым мудреным делом в Тае было бы обрести девственницу старше пятнадцати лет. Таев-

цы, как и другие «люди Божьи»: купидоны, подрешетники, – умели извинять свои грехи затейливыми толкованиями текстов. «Не согрешишь – не покаешься; не покаешься – проклят будешь!» – глубокомысленно говорили *кормищики*. Радения почти всегда переходили в разгул с гашением огней и «христовою любовью». Тем более, что таевцы – не в пример другим «людям Божиим» – не брезгали хмельным возбуждением. Водка была в редкость, но брагою хоть окачивайся.

Волкоярские беглецы появились в Тае в отсутствие Гайтанчика: он ездил в Астрахань по торговым делам. Вернулся месяца через полтора, – и не узнал Тая: так успело вырасти на селе влияние Аксиньюшки-странницы, в которую превратилась на таевской почве речистая Матрена-Слобожанка. Поладив с уставщиком Филатом Гавриловичем, она одурила сектантов своими складными присказками, восторженным враньем о снах и видениях, предсказаниями и исцелениями. Как ни досадно было Гайтанчику, а приходилось стать на второе место: он упустил время бороться с Аксиньюшкой; за нее стояло уже с полсотни фанатиков, видевших в ловкой обманщице сверхъестественное существо. Да еще Михайло... Гайтанчик знал, что за птица богатырь-ухорезовец. И Конста, на взгляд, тоже парень не из робких. Показавшийся воротила раздумывал, какой политики держаться ему с этой точно из тучи свалившейся семейкой, Аксиньюшка сама пошла к нему навстречу и предложила мир и союз вместо вражды и борьбы.

– Ты, Васильюшка, не сумлевайся, – откровенничала она за бутылкой сладкой наливки. – Ни обижать тебя, ни верха над тобою забирать, ни убыточить тебя – мы и в мыслях не имеем. Тай богат: и на тебя, и на меня хватит. Коли мы поссоримся, – пожалуй, мне, пожалуй, тебе, а вернее, что обоим будет плохо. А ежели поладим, оба свою пользу получим: рука руку и вымоет.

На первом же после этого объяснения молитвенном сборище Василий Осипович повалился в ноги Аксиныюшке.

– Простите меня, братцы милые! – вдохновенно восклицал он, – ввел меня враг в сомнение: по правде ли вы ходите, почитая Аксиныюшку-странницу. Велико было мое согрешение! Имел я со Аксиныюшкой тайную беседу. Все сокровенные мысли и дела мои она мне поведала... кровные мои того не знают, что она вчуже духом возвестила. Воистину со облак труба живогласная!

Понятно, что покаяние богача еще выше подняло Аксиныюшку в глазах фанатиков и привлекло к ней многих из тех, кто еще колебался. В Богородицы возвести ее еще не решались, – вернее, у самой Аксиныюшки как-то язык не повернулся назваться. Но почитали ее величайшею пророчицею, какая только когда-либо являлась со времени старых «живых богинь»: Акулины Ивановны, Настасьи Карповны, Марьи Босой, Настасьи-Зимихи, Арины-Верижницы. Живая, ходячая – Книга золотная, Книга животная, Книга голубиная. В ней, книге, сам сударь Дух святой.

Убедясь, что Аксиньюшка – его поля ягода, Гайтанчик сам убеждал ее возвыситься и произвести себя в Богородицы, покуда не объявила себя таковою какая-нибудь другая лукавица.

– Не молоденькая я, – не решалась Аксиньюшка. – Веры не имут.

– Помилуйте, матушка Аксинья Федоровна! Как веры не взять? Что ваши за годы? Когда матушка Арина Нестеровна Сулова родила батюшку Ивана Тимофеевича, ей было сто лет!

– Эти сказки сто лет назад хороши были. Ныне народ умудрился.

– Ну так сношку свою богоданную, Наталью Андреевну, посвяти!

– Что ты! что ты! – испугалась Аксиньюшка. – Ты Василюшка, сына моего не знаешь. Он за Натальюшку и на нож посадит.

– Не посадит, коли весь народ приговорит.

– Да и его в петле на горькой осине видеть мне нисколько не желательно.

На «Натальюшку» Гайтанчик сперва не обратил внимания. Красавиц в Тае было не занимать стать, а Зина пришла на зимовку измаянная усталостью, волнением и опасностями лесной дороги, да еще – в том положении, которое более всего отнимает красоту у женщины. *Загар*, худоба и нескладно-полный стан уродовали ее до неузнаваемости.

В феврале Зина родила сына. Она не желала не только полюбить его, но даже и взглянуть на него. Повитуха, значительно подмигнув «Аксиньюшке», завернула дитя в тряпки, унесла... а когда Зина оправилась, ей сказали, что мальчик ее родился мертвым и давно уже закопан под сосною в лесу. Зина оказалась матерью не из чувствительных, – даже не заплакала, встречая эту весть. Зато Конста скрежетал зубами. Он с нетерпением ждал ребенка, гордился им, успел заранее полюбить его, как любил самое Зину...

– Враки это, что он мертвый родился, – рычал он сквозь слезы, – я слышал, как он вскрикнул...

– Петуха ты слышал али котенка, а не дитя, – сухо возражала ему Матрена.

– Мать, не лги. Грех тебе!.. Удушили вы его...

– Так! Нашел душегубку! еще что придумаешь? Удушили? кому надо?

Он упросил повитуху указать ему место, где зарыли его сына. Та помялась немножко, сбегала за советом к «Аксиньюшке» и привела Консту к маленькому бугру в молодом сосновнике.

– Вот здесь.

Конста посмотрел старухе в лживые глаза и промолчал, сделав вид, будто верит. Сотворил молитву, положил на бугор крест из мелкого булыжника... Но на другой день пришел к бугру уже один, с лопатой. Сколько ни рыл, ничего, кроме кремней и корней, не нашел: никогда и никто не ра-

ботал здесь заступом. Крепко задумался Конста:

«Куда же это они его девали? почему не хотят показать места?»

Мороз побежал у него по коже. Он вспомнил смутные слухи о полуязыческой хлыстовщине старых времен, рассказанные ему матерью и Михайлой. Иные секты убивали своих детей, другие – чужих: трупики сжигали в печи, а пепел распускали в вине и этим месивом поили новичков «святого круга»... Неужели и прыгунки Тая держатся такого изуверства?.. С этих пор он стал за много сажень обходить «Сионскую горницу», а на радения – ни ногой, так что самые усердные из таевцев начинали на него коситься.

– С чего ты растосковался? В толк не возьму, – недоумевала Матрена. – Ну было дитя и нету, – эка невидаль! Вы с Зинаидой люди молодые: другого дождетесь. А сейчас и прекрасно, что помер. Вы вон идти куда-то затеваете... Ребенок связал бы вас по рукам и ногам; нет поклажи хуже этой!

Но Конста мрачно отмалчивался. Его беззаботная веселость улетела, и он чувствовал, что ей не вернуться, пока над его головой будет висеть серое небо ненавистного Тая. Однако выздоровление Зины немножко оживило его. Зина болела недолго. Когда она совсем оправилась и вошла в тело, Гайтанчик увидел ее и ахнул, глазам не веря: так она похорошела. Привыкнув к легким победам, тайский султан не сомневался, что «Натальюшке» против него не устоять. Он – сила в Тае, богач, умница, молодец из себя; и говорить, и по-

дарить, и приласкать, и пригрозить мастер. А эта красавица, кажется, из немудреных по уму, да и вряд ли слишком бережет себя, если не брезгует любить прощельгу-молокососа. Отбить ее не трудно.

Но Гайтанчик не знал – ни кто такие «Натальюшка» – Зина и Конста-«Дмитрий», ни как они слюбились. Зина не умна, Зина себя не уберегла, – это верно. Не любовь, а скука и случай отдали ее Консте. Но мало-помалу бойкий, бесстрашный, решительный Конста увлек Зину деятельною страстью своих мыслей, слов и поступков; подчинил своему влиянию ее ленивую и ограниченно-упрямую голову. Зина безмолвно признала в нем хозяина и привязалась к нему, как дикая лошадь к укротившему ее объездчику. Конста отвечал беззаветною, самозабвенною страстью. Он не унижался пред любовницей, не ползал у ног ее рабом, ждущим ласки, как милостивой подачки. У этого парня хватило характера не растеряться от счастья, выпавшего на его долю. Он держал себя главою, обращаясь с Зиной с ласковою грубоватостью влюбленного победителя. Он приказывал, а повиновалась она. Но вместе с тем Зина знала, что ради нее Конста зубами перегрызет горло хоть родному брату; а если бы она ему изменила, он не задумается перегрызть горло ей самой. Энергия, с какою Конста вырвал Зину из постылого родного дома, его храбрость и нежность во время трудного лесного перехода, – все это отозвалось в душе Зины почти восторженным удивлением. Конста не умел нежничать,

но умел любить и защищать любимую женщину; он заставил ее уважать себя. Беременность еще больше развила в Зине чувство неразрывной принадлежности отцу ожидаемого ребенка. Привязанность обратилась в страстную преданность. Конста со своей стороны об одном думал, – как бы поскорее сделать Зину свободной, богатой и счастливой, чтобы она никогда не пожалела, что доверила ему свою судьбу.

Так любили они друг друга – грубо, но крепко и прочно. Гайтанчик сунулся в воду, не спросясь броду. Зина и смотреть на него не хотела. Зато Конста стал так поглядывать на медвежьего паспортиста, точно говорил глазами: «Хороший ножик за голенищем припас я про тебя, приятель!»

Гайтанчик был не из трусливых, считался силачом и ловкачом, и терпеть не мог отступать от однажды намеченной цели. Долго ломал себе голову: каким же наконец способом покорить упрямую красавицу, – и нашел.

V

Когда беглецы пришли в Тай, Михайло Давыдок, – опасаясь, что если таевцы узнают, кто такая Зина, то побоятся принять ее к себе, – сочинил при помощи Матрены довольно складную историю, как и откуда взялась их молодая спутница. Таевцы считали «Натальюшку» купеческой дочерью, которая так разревновалась о правой вере, будучи просвещена в ней премудрой «Аксиньюшкой», что ушла за нею из ро-

дательского дома в неведомое странствие. А там «дух» указал ей в лице «Митрия» – то есть Консты – духовного супруга... Такие случаи в старом Поволжье бывали не в редкость. Что касается до самой «Аксиньюшки», то об ее происхождении никто не спрашивал; она сразу слишком ошеломила таевцев, как вошла в село, поющая, восклицающая, прорицающая, с откровениями на вдохновенных устах, с пламенными удивительными речами, лепетами и бормотаниями. Она называла по именам никогда не виданных ею таевских мужиков и баб (всю дорогу по лесам твердил ей Михайло Давыдок приметы своих старых знакомцев); рассказывала давние таевские были и превосходно исцелила двух скитниц, бросившихся к ногам ее, умоляя о помощи. Ко всему вдобавок, в Тай она прибыла необыкновенно вовремя и кстати, чтобы прекратить начинавшийся раскол, так как некий Федот Муруга поднял старый и вечный во всякой хлыстовщине вопрос:

– Иконы мы отметаем. А надобен ли крест, и правильно ли поступаем, творя крестное знамение?

И учил, что – нет, ибо крест есть орудие казни Христовой:
– Аще кто царева сына убил крестом-древом, может ли древо то любо быти царю? Тако же крест Богу.

За Муругу стояло несколько дворов, за крест – весь Тай. Смута и склока была великая. Уже дирались, а ругались, состязаясь в словопрениях, изо дня в день, зауряд. Аксиньюшка победила еретичествующего Федота не текстами, но прак-

тическим вопросом:

– Человече! – рекла она. – Как же ты, в лесу живя, крест отмечаешь? Чем же ты от себя лешего отженишь? Или ты уже и в лешего не веришь?

Такого дерзновения, чтобы не верить в лешего, Федот Муруга на себя не принял. Тогда его немножко побили, и он раскаялся.

Все эти знамения установили чудесность Аксиньюшки слишком очевидно. Перед нею благоговели; допытываться ее тайн считали грехом, опасным дерзновением. Сами беглецы держались осторожно и скрытно, а Зина к тому же и по натуре была не из говорливых.

Гайтанчик в первое время пробовал расспрашивать беглецов обиняком и прямо. Зина упорно молчала, Конста хитро вилял языком, а Давыдок раз навсегда отрубил коротко и ясно:

– Отойди ты от меня, распостылая душа, покуда цел! Или первый год знакомы? Пора тебе знать мой характер. И при этом выразительно показал свой богатырский кулачище.

Матрена же, хотя кулаком не грозила, но зато несла несуразную окоlesiцу о горных странах, молочных реках и кисельных берегах; Гайтанчик, как ни был привычен к вранью «святого круга», впадал под градом этого пустословия почти что в столбняк и лишь беспомощно хлопал глазами. А Матрена смотрела на него загадочно и насмешливо.

– Что, мол, друг, каковы мы? Вот ты нас и раскуси.

– И раскушу! – с мысленною злобою возражал ей Гайтанчик.

В качестве купеческой дочери, изнеженной в богатом доме, Зина пользовалась в Тае большими льготами, – ее не заставляли работать, так как она считалась на послухе у матушки «Аксиньи», а это, по согласию с уставщиком, насколько было возможно, удаляло ее и от радений, безобразия которых при красоте Зины и ревности Консты, действительно, могли бы в один печальный вечер разрешиться весьма неприятно. Таким образом, Зина была в Тае ничуть не меньше барышнею, чем в Волкояре, а скорее больше: здесь она могла ходить, куца хотела, видеться и говорить, с кем хотела. У нее завелись на селе приятельницы... От одной из них она возвращалась в сумерках домой, как вдруг, в узком проходе между двумя плетнями, перед нею, точно из-под земли, вырос Гайтанчик.

– Доброго здоровья, Наталья Андреевна, – сказал он, вежливо сняв картуз, но вместе с тем поставил ногу через тропинку так, чтобы Зине никак нельзя было его обойти.

– Пропустите меня, Василий Осипович, – с сердцем сказала молодая женщина, убедившись, что Гайтанчик задерживает ее нарочно.

– Мне вам два словца надо молвить, Наталья Андреевна, – продолжал Гайтанчик, не отнимая ноги. – Что же, так промеж нас по-прежнему и будет?

– Чему быть-то, коли ничего и не было? – Зина гневно пожала плечами.

Гайтанчик засмеялся:

– И за что ты меня любить не хочешь, – ума не приложу. Всякая девка в Тае рада была бы, кабы я взял ее во внимание, а ты от меня нос воротишь... Чем плох? Чем лучше меня твой Конста?

Зина вздрогнула... Гайтанчик смотрел на нее с усмешкой:

– Что? Видишь, каков Василий Осипов! От него, друг, не укроешься, каким именем ни назовись. И про Консту я все доподлинно разведаль, и про тебя, ваше сиятельство, княжна Зинаида Александровна, слухом земля полнится.

– Молчи! – удушливым шепотом прервала его Зина.

Даже в сумерках Гайтанчик видел, что она побелела как мел.

– Вот видишь, – заговорил он, понизив голос, – я человек сильный и обижать меня, как ты обижаешь, – не дело. Знаю все: как вы ушли из Волкояра... А ведь отец-то тебя ищет...

Зина в изнеможении оперлась о плетень. «Отец тебя ищет». Весь стихийный ужас, вся необъятная ненависть, какую чувствовала она к отцу, но позабыла в спокойной таевской жизни, вспыхнули с новой силой.?

– Чего же тебе надо? – глухим голосом спросила она Гайтанчика.

– Известно чего... Не дурак: коли не по нраву я тебе, так небось хозяйкой не зову и не возьму. А только отступиться мне от тебя – никак невозможно...

Он протянул руки, желая обнять Зину. Она выпрямилась

и крепко ударила его по рукам.

– Пошел прочь... скотина! – крикнула она. Глаза Гайтанчика засверкали:

– Ого! вот как? Так ты и теперь еще будешь кобениться? Ладно. Только знай: если ты мне не покоришься, я ни тебя, ни Тая не пожалею. Прямо вот с этого места ударюсь в лес, а через сутки-другие будут здесь солдаты, и уж выпутывайтесь вы с Матреной и с Констой у старого князя, как сами знаете... Он вам шкуры-то попустит.

Зина не отвечала... Гайтанчик приблизился к ней и вкрадчиво заговорил:

– А кабы ты меня послушалась, тебе не худо будет. Я ведь знаю, что и тебе, и Консте твоему Тай опротивел пуще Волкояра. Только уйти вам некуда: беспаспортные вы. Давно уже Конста просил меня купить ему паспорта. Признаться, я и купил, и с месяц уже лежат они у меня в суме, да все сумлевался отдавать ему... Думал – может, на что и самому пригодятся... Ан, так на мое и вышло.

Он полез за пазуху, в карман поддевки, и вынул бумаги.

– Видишь: все есть – и печати, и подписи... Хоть на государственную службу поступай по таким видам... Конста дал мне за них на полторы тысячи половинок... дьявол с ними! пусть другие половинки пропадают! Вот каков широк Василий Осипов! Я тебе даром отдам паспорта... только прибеги в вечеру на мое гумно, что у болота... Придешь?

– А если не приду? – шепотом, сквозь зубы, сказала Зина.

– Тогда вот тебе мое слово: не знавать бы мне ни отца, ни матери, коли я не наведу на Тай начальства, а допрежь того порасскажу таевцам, что вы за птицы и под какую беду подвели их обманом. Много ли от вас останется, как народ примется вас трепать?

– Кто тебе поверит?! – отозвалась Зина.

– Поверят, небось, не на дурака напали. Тоже в городе чиновников знакомых имею. Дали мне и бумагу казенную с печатью, чтобы задержать вас, коли где встречу, и приметы ваши все в той бумаге описаны. Сколько ни ври твоя Матрена «духом», а дух, брат, против казенной бумаги ничего не стоит. А что ты, может быть, думаешь что я Тая пожалею, того не воображай. Потому с какого беса мне его жалеть? Народ пустой и глупый, и торговля по нынешнему времени пошла самая жидкая... Укажу притон, – начальство взыщет меня своими милостями, медаль повесит.

Зина глядела в землю и что-то соображала. Под сумерки лицо ее не было уже ясно Гайтанчику; но ему казалось, что она колеблется.

– Скоро ль приходить-то? – услышал Гайтанчик ее сдавленный шепот.

– Ой ли! – радостно воскликнул он, – стало быть, шабаш, решено? Придешь? Ай молодец-девка! А я – какое хочешь с меня заклятье возьми – тебя не обману: передам паспорта из рук в руки... Но ежели надуешь, не видать их вам с Констою, как своих ушей, хоть заплати вы мне не полторы,

а полтораста тысяч.

– Приду! – сурово сказала Зина. – Только грех тебе, большой грех, Василий Осипович!

– Полно-ка ты, – самоуверенно засмеялся Гайтанчик, обнимая ее за плечи, – не согрешишь, так не покаешься. Мы грех во грех, а зернышко в рот. Какой грех? Грех – от заповеди, которую Бог полагает. Есть заповедь, – стало быть, и грех против нее есть. Нет заповеди, – и греха нет. А мы здесь в лесу сами себе и боги, и богини, и заповедей на себя никаких не полагаем. Откуда же греху быть? Вон видишь – ту сосну? Как стожары станут над ней хвостом, так и буду тебя ждать... Ладно, что ли?

– Ладно... А теперьпусти меня: меня дома заждались, небось, Конста и так уж ума не приложит, куда я запропастилась. Пусти.

– Так верно твое слово? Не обманешь?

– Где уж обмануть, коли ты такими страстями грозишься? Гайтанчик с грубой хваткой поцеловал ее в губы и выпустил из рук.

– Ну, ступай... да помни: жду. Эх ты... хорошая! – весело крикнул он вслед исчезающей во тьме Зине.

А она, добежав до дому, была так взволнована, что не посмела войти в горницу, где, кроме Матрены и Консты, было еще несколько чужих. Она боялась, чтобы ее бледность не показала этим людям, что с нею случилось неладное. Она отворила дверь и, оставаясь в сенях, вызвала Консту.

Конста, выслушав ее рассказ о встрече с Гайтанчиком, ничего не сказал, только зубами заскрипел.

– Так ты говоришь: паспорта у него в кармане? – спросил он, после долгого молчания.

– Сама видела.

Конста злобно ухмыльнулся.

– Ну, если так, быть по его!.. Иди.

Зина всплеснула руками.

– Да что ты, Конста? В своем ли уме?

– Иди, говорят! – настойчиво прикрикнул Конста. – Небось, не пошлю тебя на худо.

– Да ведь он охальник, Конста... Ты подумай...

– Иди. Ничего не бойся. На охальство его управа найдется... А паспорта эти – нам все равно, что жизнь. Хоть разорваться, а достать их надо непременно.

VI

Ночка выдалась хмурая. Луна в ущербе лениво ползла от тучи до тучи, едва успевая послать земле луч-другой тусклого света. Было сыро и туманно; муть стояла в воздухе. Зина ощупью кралась между хорошо знакомыми ей плетнями. Ни живой души не попало ей навстречу. Консте пришлось силой вытолкнуть ее из сеней на крыльцо, – так жутко было ей предстоящее свидание. Ее мучило предчувствие грозной, неотвратимой беды. Гайтанчик был ей всегда противен; но

теперь – после наглых угроз – она его ненавидела.

«Скорей умру, чем сдамся», – злобно думала Зина.

Поведение Консты сбивало ее с толку. Зачем посылал он ее на свидание с ненавистным ему человеком, развратным и влюбленным в нее? Зачем – если уж нельзя было поступить иначе – не пошел он, по крайней мере, следом за нею, чтобы охранить ее от верной обиды?

Конста вытолкнул Зину на улицу, а сам в ту же минуту точно сквозь землю провалился.

Когда Зина рванулась было назад в избу, в сенях уже никого не было. Она пошла, и, чем ближе подходила к гумну Гайтанчика, тем медленнее становился ее шаг, тем сильнее замирало в ней сердце.

Гайтанчик поджидал девушку, сидя на снопе прошлогодней соломы. Зина молча остановилась пред ним.

– Ага... пришла-таки, – сказал он, и Зина удивилась, как хрипел и дрожал его голос.

– Ну, садись, гостя будешь...

Он взял Зину за руки и притянул к себе.

– Паспорта-то... – прошептала Зина, стараясь отвернуться от взглядов и дыхания своего врага.

Гайтанчик обнимал ее за плечи.

– Паспорта – что? – засмеялся он, – ты не бойся, не надую, вот они здесь...

Он дотронулся до кармана.

– А теперь... ты сперва меня лаской утешь, любовным

словом подари.

– Эх, Василий Осипович, – с горькою досадою воскликнула Зина, стараясь сбросить с плеча крепкую руку Гайтанчика.

– Чего там: Василий Осипович! Что я Василий Осипович, о том сорок годов знаю... Ты что-нибудь поновей скажи... Да что ты рвешься? Чем я тебе уж так не люб?

– Не люб!.. да разве эдак – грозою да мукою – станешь любым? Видишь: покорилась, пришла, – потому, как не прийти под смертным-то страхом? Ну, а чтобы любить, это уж прости: сердцу не прикажешь.

– Консту же своего любишь, – угрюмо возразил Гайтанчик, – экое сокровище обрящи!

– Кому плох, а мне хорош. Не по хорошу мил, а по милу хорош. Так-то, Василий Осипович.

Гайтанчик молчал.

– Скажешь: вы без грозы живете? – насмешливо начал он, – не ври! слышал я тоже, как вы вздорите... Ругает тебя, как последнюю... Княжна!.. Чай, и бивал не раз...

– Пальцем никогда не тронул, – горячо вскрикнула Зина, – грех тебе так говорить, Василий Осипович... А что ссоримся, так это наше дело: между мужем и женою никто не судья... Да еще я тебе скажу, – разгорячилась она, – кабы и случился такой грех, чтобы побить, так и то полбеды; я бы ему того в вину не поставила. Не со зла побил бы, а сгоряча: меня же крепко любя, от большого сердца... Небось я не за-

буду, как Конста меня уводил из Волкояра, коли ты уж доведася про это наше дело... Не дурак он был – знал, что попадись он отцу в руки, – грозен мой родитель – живьем скормил бы его борзым собакам. Знал – и ничего не побоялся, на муку и смерть шел – лишь бы меня вызволить из неволи.

– Да в неволю же и привел, – презрительно перебил Гайтанчик, – и сидите вы оба у меня в кулаке, хочу – раздавлю, хочу – помилую. Да так уж и быть! не хочешь любить, – и не надо... Эка, подумаешь, невидаль какая! мало вас, девок, что ли? Я и звал-то тебя сюда больше для того, чтобы покуражиться, поучить тебя, глупую: не зазнавайся, не фыркай на добрых людей... а то уж больно высоко вы со своей матушкой – живые богини болотные – носы святые подняли. На, получай свои бумажонки, – неожиданно прибавил он, небрежным движением вынимая из кармана тщательно свернутые паспорта.

Изумленная Зина приняла их, сама себе не веря: что это вдруг сделалось с Гайтанчиком?

В речах его, кроме глубокой досады, слышалось что-то застенное, точно он затеял штуку и, себе на уме, ждет, как бы ее половче разыграть... Оба молчали. Гайтанчик снял свою руку с плеча молодой женщины и посвистывал, глядя на бегущие облака.

– Стало быть, мне можно уходить? – робко спросила Зина.

– Известно... – отозвался Гайтанчик голосом скучливым и равнодушным. – На что ты мне? Беги... чай, дома схвати-

лись.

Зина радостно поднялась с места.

– Ну, спасибо же тебе, Василий Осипович, – развязал ты меня, освободил от греха мою душу! вот какое спасибо – низкое, до самой земли.

– Ладно, ладно, ступай уж! чего там?.. – отмахивался Гайтанчик, точно от надоедливой мухи.

Зина еще раз поклонилась ему в пояс и пошла... Но едва она повернулась к Гайтанчику спиной, как две сильные руки схватили ее за бока и подняли на воздух.

– Ах! – звонко пронесся по лесу ее вопль.

Гайтанчик швырнул молодую женщину на ток. Сильно ударившись о землю затылком, она чуть было не лишилась сознания. Но страх придал Зине силы. Увидав над собой лицо Гайтанчика, она ударила его в нос кулаком. Разбойник зарычал и схватил молодую женщину за горло. Теплые капли крови падали с его лица.

– Ты так-то... так-то! – шипел озверевший Гайтанчик, колотя Зину плечами о ток.

Он истоптал коленями ее грудь: она уже задыхалась под его железной рукой.

Но из-за овина вывернулось и свалилось прямо на спину Гайтанчика тяжелое черное тело. Озадаченный и оглушенный разбойник выпустил из рук свою жертву и покатился в неистовой борьбе с неожиданным врагом. Он сразу сообразил, в чем дело, и ничуть не струсил.

– Врешь, парень, не на таковского напал, – бормотал он, стараясь стряхнуть со своих плеч Консту, а тот, ослепленный злобой и ревностью, тщетно шарил за голенищем, нащупывая припасенный про Гайтанчика нож.

Зина, шатаясь, поднялась с земли и прислонилась к стенке овина. Она совсем обессилела. Рот ее был полон кровью. Она смотрела на катавшихся у ног ее врагов, едва соображая уже, что происходит.

Гайтанчик сбросил-таки с себя Консту, быстрым движением выбил из его руки нож и подмял парня под себя. Не спохватился Конста: правая рука подвернулась под туловище и онемела, придавленная, – остался Конста с одною левою рукой, а ее Гайтанчик схватил в железное запястье, между тем как пальцами правой руки впился в горло Консты – и всею тяжестью тела на врага своего налег. У Консты кости затрещали. Он понял, что погиб, и, молча, яростными глазами смотрел в лицо врага, силясь вдохнуть как можно больше воздуха, чтобы хоть несколько лишних мгновений вытерпеть давление лапы Гайтанчика. Голова у него хотела лопнуть от прилива крови; жилы опухли; в груди – точно сто кузнечных молотов колотило...

Зина кинулась к нему на помощь, но Гайтанчик ударом ноги отбросил ее к овину. Оглядевшись, Зина заметила на току старый сломанный цеп. Конста глухо захрипел и начал страшно вздрагивать всем телом; Гайтанчик выпустил его обессиленную руку; скрюченные пальцы зря ловили воздух.

Гайтанчик, продолжая держать одной рукой противника за горло, другою искал оброненный Констою нож.

Тогда Зина, забежав сзади, с силою опустила цеп на его голову. Гайтанчик ткнулся носом вперед и повалился набок, даже не охнув; но Зина ударила его еще и еще и, только убедившись, что он не шевелится, – опустила цеп, сама не понимая, как все это у нее сделалось. Так стояла она, обессиленная, упираясь на цеп, как башня, готовая завалиться, между двумя безмолвными телами, не зная и не думая, что ей делать дальше.

Конста тяжело икнул, и изо рта его хлынула струя крови. Он медленно приподнялся и долго сидел, опершись руками о землю.

Зина подхватила его под мышки. Ей пришлось волоком дотащить Консту до снопа, на котором недавно сидела она с Гайтанчиком.

– Пить, – хрипло сказал Конста; помутившиеся глаза его опять сомкнулись.

Зина опрометью бросилась к болоту. Взять воды было не во что. Она окунула в лужу свой передник и, выжав воду в рот и на лицо Консты, окутала ему голову мокрою тканью.

Понемногу Конста отдышался.

– Ох, умаял же, разбойник, – прошептал он. – А ты не бойся... ничего! теперь все пройдет... Цел буду... маленько кости помяты.

Он встал и все еще нетвердым шагом направился к трупу

Гайтанчика.

– Эх ты его как! – он покачал головой, рассматривая в лепешку разбитый череп.

Зина вздохнула и отвернулась, ей было не страшно ни своего дела, ни самого покойника, но стало противно, что он тут лежит...

– Надо его убрать, – сказал Конста.

– Куда? – глухо отозвалась Зина.

– Куда? известное дело, в болото... Занесем подальше по лесинам... Трясина все засосет... Получасу не пройдет, как и следа не останется. Берись что ли, подымай...

– Не осилить... Устала очень... – угрюмо сказала Зина.

Конста вспыхнул.

– Не осилить!.. Коли не хочешь, чтобы народ нас завтра разорвал на клочья, так осилишь...

Зина молча нагнулась к труп.

До болота было саженой сорок. Но Зине они показались за сорок верст. Чем дальше шли, тем тяжелее становился Гайтанчик... Когда они вступили с берега на путики, проложенные по трясине, Зина чувствовала, что – еще шаг, и она упадет в изнеможении.

– Ну! – грозно прикрикнул Конста.

Она оправилась. Пошли по лесинам, ежеминутно рискуя оступиться, сорваться и вместе с убитым пойти сквозь зыбучую тину на неведомое дно.

– Стой!.. Здесь – верно. На этом месте о прошлой осени

Филат Гаврилычев бычок утоп...

Гайтанчика раскачали. Тело тяжело шлепнулось. Трясина быстро схватила добычу и затащила труп даже скорее, чем ожидали убийцы.

Они переглянулись, и у обоих вырвался глубокий вздох облегчения. Но им оставалось еще много работы. Надо было отмыть цеп от крови и мозга и поставить его на место.

– Как же мы пойдем такие? – заметила Зина, – чай, кровь на одежде... увидят...

– Ночью темно... Да теперь никого и не встретим.

Долго еще оставались Зина и Конста на месте убийства. Конста исползал на животе весь ток, стараясь разглядеть при тусклом свете месяца, нет ли где-нибудь кровавых пятен, и затирав их, где находил.

Когда они задворками крались в Тай, кричали уже первые петухи. Только собаки глухо лаяли, чуя их приближение... Ни Зине, ни Консте не было ни жутко, ни совестно совершенного дела. Оба даже сами удивлялись своему равнодушию – каждый про себя.

– Да уж и человек был, – вполголоса проговорил Конста, как бы отвечая Зине на тайное недоумение, – зверюга, разбойник... Собаке – собачья смерть.

Зина ничего не сказала.

– Скажи, Конста, – промолвила она несколько позже, – с тобой случалось это... прежде?..

– Нет, впервой... Дай Бог, и в последний!

Дойдя до своего двора, они влезли в дыру, заранее прорезанную Констой в плетне, которую он сейчас же заботливо заделал. Чуйку свою он зарыл. Все это заняло довольно времени. Уже светало, когда Конста, – с зеленым от бессонницы и потери крови лицом, – вошел в клеть, куда Зина проюркунула тотчас же, как только очутилась во дворе. «Чай, дрожит, бедненькая, одна-то да мается», – думал он, – и даже руками развел от удивления: Зина спала спокойным сном...

– Ну, девка! – пробормотал сквозь зубы Конста, – характерец... Княжеский!

Но княжеский характерец тут был не при чем; сам Конста едва успел раздеться и упасть на постель – глаза его крепко склеил внезапный сон, тяжелый и непроглядный, как ночь, – сон без всяких грез и видений, сон, каким спят только люди, вконец истратившие все свои силы – телесные и душевные.

VII

«Матушка-Аксиньюшка» в темно-синем сарафане с красным поясом и белоснежными, пышно-вздутыми рукавами тонкой полотняной рубашки, с темною повязкой на черных, гладко причесанных волосах сидела за самоваром.

Две послушницы таевской пророчицы – рябоватые девки в такой же одеже, как сама матушка, только без повязки на голове, – почтительно стояли у порога, сложив руки на животе. Пророчица белилась и румянилась; губы ее с чуть

заметными усиками в углах тоже были слишком алы, брови слишком правильны, а ресницы слишком черны. Живые карие глаза глядели умно и бойко. Таевцы боялись взгляда пророчицы, как огня. Два-три предсказания, две-три угадки, заранее искусно подготовленные при помощи Михаила Давыдка, несколько возвращенных хозяевам пропаж, житейская сметливость и умение, быстро распознавая людей, приспособляться к их нраву, создали Аксиныюшке славу прозорливицы. Таевцы были уверены, что эта небольшая круглая женщина насквозь проникает человека, что «дух», который на других верных только изредка накатывает, на Аксиныюшке пребывает непрерывно, и скрытничать пред нею нельзя – грех, а то еще, не ровен час, уличит и пристыдит при всем народе. Верили, что Аксиныюшка властна исцелять болезни и карать болезнями, – и, странно, верили не совсем безосновательно. Еще когда Аксиныюшка была в Волкояре Матреной-Слобожанкой – она славилась в княжой дворне своею легкою рукой – удачно лечила зубные и головные боли, помогала в припадках кликушества и падучки, в судорогах и т. п. Головные и зубные боли были истинным наказанием низменного и туманного Тая. Но стоило Аксиныюшке заняться больным, и боль почти всегда проходила – временно, а в иных случаях и надолго. Способ лечения Аксиныюшки был такой. Она укладывала больного головой к себе на колени и, что-то шепча, налагала на больные места свои руки. Руки у нее были маленькие, белые и мягкие, с странною цеп-

костью в упругой ладони и чуть-чуть искривленных пальцев. Когда Аксиныюшка прикладывала руку ко лбу больного, ему казалось, что эта рука как бы прилипает к нему, сливается в одно с его телом. Иные утверждали, будто они чувствовали, как из рук Аксиныюшки переходило в них сильную струю какое-то особое животворящее тепло. Затем больной забывался сном, спал долго и приятно и просыпался или совершенно здоровый, или, по крайней мере, значительно облегченный. Главная задача была – усыпить. В легких случаях это было делом нескольких минут, но трудные больные стоили самой лекарке немалой затраты сил. Когда Аксиныюшке наконец удавалось одолеть боль, она бывала совсем измучена, с нее катился пот градом, она едва имела силы добраться до своего покоя, чтобы, в свою очередь, отдохнуть в крепком и долгом сне. Замечательно, что мужчинам Аксиныюшка помогала легче, чем женщинам. Все, кого пророчица исцеляла или хоть лечила, привязывались к ней с необузданным влюбленным фанатизмом. Приручала, точно привораживала! Из таких людей состояла самая надежная часть ее сторонников в Тае, Все они прямо-таки бредили ею наяву и часто видели ее во сне, что почитали видениями. Однажды, занятая важным разговором, Аксиныюшка не могла сама пойти к девушке, которая билась в истерическом припадке, – она сняла с себя платок и велела закрыть им лицо больной. Припадок прекратился: такова была вера в пророчицу. Насылать болезни Аксиныюшка, разумеется, не могла, но в понятиях тем-

ного человека – кто исцеляет, тот властен и убивать. И если бы Аксиныюшка посулила таевцу лихорадку, тот, в твердой уверенности неминуемости насыла, пожалуй, и в самом деле заболел бы лихорадкой.

Пока Аксиныюшка была Матреной-Слобожанкой, староверы, православные Волкояра, полагали, что в ее знахарстве не без колдовства. Но в Тае, с его смешанным полухлыстовским толком, в колдовство не верили, считая черта способным лишь на всякие гадости, а никак не на пользу человеку. Сама Аксиныюшка своей силы не понимала – ни что такое эта сила, ни откуда она берется...

– Диви бы, я еще святой жизни была, – откровенничала она со своими домашними, – а то ведь я... вы знаете меня, грешницу.

– Что ты, мать, шепчешь-то в это время? – спрашивал Конста.

– А я почему знаю? шепчу, что придется, на что глаза взглянут... Намедни, когда Гордееву сыну под сердце подкатило, гляжу по избе – влез мне в мысли веник у порога... Сижу и думаю: веник, веник, веник... Так на том венике и болезнь с парня сошла. Велела я потом сжечь веник-от. С чего-нибудь да думалось же мне на него. Кто его знает, может быть, и впрямь болезнь Гордеича из-под моей легкой руки, в веник перескочила.

– Может, приговоры какие знаешь?

– Вот! стану я грех на душу брать!

– А молитвы читаешь?

– Не любят наши чудища лесные, когда читаешь старые истовые молитвы. По-прежнему, это – мирское моление, заученное, моление чужим словом и духом и, стало быть, несправедное... Им бы все от себя, наобум да с бацу, что в голову придет. Правду сказать, оно мне и на руку, – потому с книжниками да начетчиками мне бы, темной бабе, не совладать: в писании я куца не тверда. А ежели духом орудовать, то – с великим удовольствием. Слов у меня хороших сколько хочешь, разумом Бог не обвдел, сказывать складно я мастерица: попробуй-ка угонись за мной.

Когда Конста и Зина вошли в горницу «матушки», она встретила Зину ласковой улыбкой, но на сына взглянула косо. В Тае она успела привыкнуть к беспрекословному повиновению и терпеть не могла возражений и противоречий, а Конста в последние дни только и делал, что спорил с нею. Тревоги прошлой ночи заметно отозвались на Консте; он бодрился, но был утомлен, бледен, и в глазах его вспыхивали опасливые огоньки. Зина была спокойна и свежа; только чуть-чуть опухлые веки могли изобличить, что она мало спала с прошлого вечера. Конста выслал келейниц и запер дверь на крючок. Мать следила за ним с досадливой улыбкой.

– Опять, что ли, как наемдни, ругаться будем? – язвительно спросила она.

– Н-н-не-ет... – протянул он, глядя в пол и переминаясь с ноги на ногу, в крайнем смущении.

Зина сидела на лавке и равнодушно смотрела в окно на улицу, где смирно чесался боком об угол избы большой пестрый теленок.

– К чему же такие тайности? – уже ласковее переспросила Аксиныюшка.

– Да что, мать? – Конста растерянно развел руками, – такое дело стряслось... не ждали, не гадали... без тебя и не распутать.

– Что такое?

Зачувяв по голосу сына, что случилась беда, и беда немалая, Аксиныюшка живо поднялась с места и, сбросив с себя пророческую важность, мгновенно превратилась в Матрину-Слобожанку, охочую и готовую развести на бобах какое хочешь хитрое дело.

– Уж и не знаю, как начать... – все больше и больше бледнея, говорил Конста.

Его беспокойство передалось Матрене. – Да говори – не томи! – прикрикнула она, топнув ногой. Но Конста все медлил.

– Такое дело... все пропасть можем, – начал он и опять осекся.

– Час от часу не легче! Хорошие, надо полагать, дела, если даже у тебя, разбойника, язык не поворачивается признаться... Ты, смирена, что сидишь колодой? – набросилась она на Зину, – сказывай хоть ты: чего начудесили?

– Мы Ваську Гайтанчика убили, – ровным голосом ото-

звалась Зина, по-прежнему глядя в окно.

У Матрены горница заплясала в глазах. Она позеленела под белилами и румянами и бессмысленно водила глазами от Консты к Зине, от Зины к Консте. Раз признание было сделано, Конста ободрился: как гора с плеч! Он стоял, заложив одну руку за пазуху, другую за спину, и, постукивая ногой, вызывающим взглядом смотрел на мать.

– Когда?.. как? – хрипела Матрена. – Да постой! врете вы оба али бредите...

Конста рассказал ей, как было дело.

– Господи помилуй... Господи помилуй... – шептала Матрена, то крестясь, то всплескивая руками. – Ах вы, демоны, демоны! до чего дошли! Души губить стали. По крайности, ладно ли он спрятан-то у вас? – деловитою скороговоркой осведомилась она, перестав причитать и охать.

– Кажись бы... – Конста пожал плечами. – Я сейчас ходил на гумно: ни пятнышка.

Все трое умолкли.

– Мать! – решительно начал Конста, садясь на лавку, – теперь уж, как ты там хочешь, а нам в Тае не житье...

– Начинается, – сквозь зубы проговорила Матрена и махнула рукой.

– Коли тебе по нраву Тай, сиди в нем, пожалуй, королевствуй, только нас-то с Зинаидой не неволь, – отпусти. Я тебе прямо скажу: всегда этот Тай мне претил, а уж теперь и вовсе станет не в мочь... больно близко это самое болото...

– Убивать людей умеешь, а покойников боишься, – криво улыбнулась Матрена. – Ишь, лица на парне нет... богатырь тоже! Зинка, знать, не в тебя... сидит, словно воды не замутила.

Зина повернула от окна свое спокойное лицо.

– Что же! – возразила она, – известно не радость, что такое дело стряслось; лучше, когда бы его не было. Но если уж грех случился, так тому и быть, не поправишь. Снявши голову, по волосам не плачут. А Конста, матушка, правду тебе говорит: отпусти... лучше будет.

– Нигде вам лучше не будет! – с гневом вскричала Матрена. – Всюду вы что-нибудь напрокудите, безобразники. В мир вас пустить – месяца не пройдет, как вы, и без князевой грозы, до каторги допляшетесь.

– Каторга – худо, – сказал Конста, – но если народ каким-нибудь грехом узнает, что случилось с Гайтанчиком, то ведь обычай-то таевский знаешь: брат брата убил, – камень на шею да в воду. Это будет похуже каторги. А то расправятся, как варнаки за измену судят. Разожгут докрасна котелок, да и наденут на голову по самые плечи. Либо медом обмажут и прикуют к сосне, покуда мураши не сожрут заживо...

– Тьфу тебе! что еще придумаешь?

– Все было. Няяву. Не в сказках. Дело испытанное.

– Да ты же говоришь, – он спрятан хорошо?

– Кто ж его знает? по-нашему хорошо, а... разве покойники не встают? Кабы я к этому делу был привычен. А то

я сам не знаю... Начнут его искать... растревожится во мне сердце... я сам себя выдам.

Матрена внимательно осмотрела его и перевела взгляд на Зину.

– Ну эта ни себя, ни других не выдаст, – проворчала она. – Ишь лицо-то надула: вылитый князь Александр Юрьевич.

– Матушка, – заговорила Зина, – потолкуем по чести. Мы с Констой так решили: если тебе жалко добра, что принесли мы из Волкояра, так Бог с ним! Это дело наживное. Знаю: тебе нужны мои брильянты. Я за нихне постою. Возьми их себе, куда тебе поживается, а из денег награди нас, сколько сама знаешь.

– Притом, – вмешался Конста, – у меня ведь полторы тысячи целковых есть на руках. Гайтанчиковы половинки, что я ему давал задатком за паспорта, к моим приходятся в лучшем виде. Так что, если ты уж вовсе насчет нас совесть потеряла...

– Молчи, дурак! – прикрикнула Матрена, – людей убивает, а туда же, о совести говорит...

Она с волнением прошла по горнице.

– Не бессовестная я, – сказала она. – А только сами вы посудите: кто своему счастью враг?

Молодые люди молчали.

– Брильянтов не отдам, – отрывисто продолжала Матрена. – Они мне для радений нужны. Льстятся ими ко мне таевцы, инда слепнут, глупое мужичье! Мнят их венцом небес-

ным. Брильянты вам отдать – половину самой себя отдать. А что ты, Конста, говоришь о деньгах, – этим я вас не обижу. Полторы тысячи у тебя есть, возьми еще пятьсот, и замирился, конец делу.

– Ловко! – воскликнул Конста. – Это, мать, ловко. Себе и брильянты, и капитал, а нам – как псу кость, две тысячи: нате, мол, провалитесь в болото!

Матрена озлилась:

– Перестанешь ли ты грубить, щенок? Деньги в моих руках – что хочу, то и делаю. Ишь! То с пустыми руками хотел бежать из Тая, тут уже мало ему и двух тысяч. Лакомый какой! Слово еще скажи, и я тебе ни гроша не дам и из Тая не выпущу... будешь гнить здесь, пока прикажу.

Конста, в свою очередь, рассвирепел.

– Я слово скажу, – задыхаясь, крикнул он, – только ты моему слову не обрадуешься. После моего слова тебе самой в Тае не остаться, а, пожалуй, и на белом свете не жить... Вот что! Только слово мое не тебе будет.

– Страсти какие! – насмешливо отозвалась Матрена, – ты смотри, парень: не убей мать-то ненароком, вроде Гайтанчика. Не мне, так кому же будет твое слово?

– Михаиле, – вот кому. Хитра ты, мать, да и мы не вовсе дураки, не слепые. В стенах-то щели бывают: видали мы, как ты живешь да поживаешь, все твои проказы насквозь знаем. И – вот разрази меня гром небесный! – коли не выведу я тебя на свежую воду перед Давыдком. Покажу я ему, дурню

безглазому, каково верно ты его любишь. А уж как он тебя за все про все благодарить станет, – не моя печаль. Он, хоть нравом и теленок, а все из ухорезовцев. На медведя с ножом ходил, с царскими солдатами дрался. Так велик ли ему расчет погубить одной душой больше?

– Изверг ты! – вырвалось у Матрены. – И ухватка-то у тебя вся разбойницкая... грех какой на душу взять хочешь!.. да и чем попрекать меня выдумал? Сами-то, поди, какие святые!

– Святые аль нет, только мы никого безвинно не обижаем, а от тебя нам, прямо сказать, мука мученская.

Зина встала со скамьи.

– Послушайте вы, матушка и Конста: будет вам ссориться. Я так полагаю: раз между нами пошел такой раздор, вместе нам жить нельзя. Значит, разойтись надо, и лучше разойтись добром, чем злом. Ты, матушка, не бойся: Конста вредить тебе не станет, ничего Давыдку не расскажет! А ты тоже не упрямясь и не скупись на деньги. Двух тысяч нам мало.

– Много ты понимаешь: что много, что мало! – сердито фыркнула Матрена. – Ты мир-то и в глаза не видала! откуда тебе судить.

– Конста так говорит, – с убеждением возразила Зина. – А я с Констой ушла из Волкояра – стало быть, его воля и во мне, и в моих деньгах. Ведь деньги те, хоть и в твоих руках, матушка, но мои. И вот я тебе теперь от себя говорить буду. Ты меня вырастила, воспитала, – великая тебе на том благодарность. Добра моего мне для тебя не жаль. Всегда ты в нем

госпожой была. Кабы мы вместе жили, так бы и вперед осталось. Но видишь: надо разлучиться. Стало быть – поделимся. Брильянты мои я тебе дарю пожизненно, только умирая, возвратишь их мне, а деньги – уж не обижай нас! – разобьем на две половины.

– И то нам, по справедливости, выходит обидно, – проворчал Конста.

– Это, значит, вы три тысячи целковых хотите? – рассчитала Матрена после долгого молчания.

– Где же три-то? – возразил Конста, – полторы уже у нас в кармане, а тебе всего полторы доложить придется.

– Большие деньги хотите, – раздумчиво твердила Матрена. – Большие деньги... жалко... не потею, что жалко...

– Жалей не жалей, а дать надо, – тихо заметил Конста. Видя, что мать сдается, он тоже сбавил голос.

– Да не денег жалко, глупый! а жаль того, что непутевые у вас руки для таких денег. Прахом они у вас пойдут – ни себе, ни людям.

– Ну, уж там видно будет. Бабушка надвое сказала.

– Ладно. Не ради тебя, разбойника, а ради Зинки моей кормленной дам я вам эти деньги. Ступайте, куда хотите, только помните: коли плохо в миру придется, ворочайтесь. Тай место довольное, и вам со мною всегда здесь будет тепло.

Примирение совершилось. Все трое расцеловались. Матрена снова села к столу и махнула рукой.

– А теперь уйдите. Посижу да подумаю, как лучше сде-

лать, чтоб таевцы вас легко отпустили – без спора и раздора.

VIII

15

Сионская горница была полна народом. Мужчины и женщины босиком, в широких и длинных до пят рубахах, крестообразно препоясанные через плечи вервами, чинно сидели по разным лавкам: женщины по левую сторону избы, мужчины – по правую. У всех были полотенца в руках. Яркий свет разливался разноцветными полосами из причудливой деревянной люстры – грубого подобия голубя с распростертыми крыльями, несущего в клюве масличную ветвь, – и окрашивал эти неподвижные белые привидения нежною пестротой слабой радуги. Убранство избы – длинной, в два сруба, и весьма высокой – ограничивалось этою люстрою, плохую суздальскую копией с известной картины Боровиковского «Бог Саваоф, приемлющий в лоно Свое умершее Слово»¹⁶, портретами Саваофа, «богатого гостя» Данилы

¹⁵ При описании радения приняты в соображение исследования следующих историков русского раскола. Андреева, Кутепова, Нильского, Реутского, Ливанова и Мельникова. Трое последних наиболее богаты бытовыми данными, но сведения их, за недостаточной критической проверкой, иногда сомнительны и полемических увлечений много.

¹⁶ Боровиковский, знаменитый портретист начала XIX века, принимал участие в петербургском «Корабле» Татариновой. Художественный оригинал – этюд к названной мистической картине – находится в московском Румянцевском музее.

Филипповича, Христа Ивана Тимофеевича и пророчицы костромского «корабля» Ульяны¹⁷ и парюю разных кресел в углу, противоположном красному. Бревенчатые стены были чисто вымыты. Пол лоснился, точно натертый воском – так его отполировали таевцы собственными пятками. Верующие все прибывали и прибывали. Иным уж не было места на лавках, и они сучились двумя толпами у дверей. Вошел кормщик Филат Гаврилович – крепкий седобородый старик с важным взглядом из-под нависших бровей. Все поклонились ему в пояс. Филат Гаврилович тоже поклонился на четыре стороны. К нему подошли по очереди все члены соборща и обменялись с ним братским целованием. Кормщик сел в кресла и начал слово «о двенадцати друзьях»:

– Братие! Кто есть первый друг человека? Первый друг человека есть правда: человека от смерти избавляет.

Примолк. Как шум осеннего леса, загудел ответный молитвенный шепот толпы:

– Богу слава,
И держава
Во веки веков, аминь!

– Братие! Кто есть второй друг человека? Второй друг человека есть чистота: человека к Богу приводит.

¹⁷ Была знаменита в сороковых годах. Дважды арестованная за ересь, дважды от нее отрекалась и снова возвращалась на прежний путь. Судьба ее неизвестна.

– Богу слава,
И держава
Во веки веков, аминь!

– Братие! Кто есть третий друг человека? Третий друг человека есть любовь: где любовь, тут и Бог.

– Богу слава,
И держава
Во веки веков, аминь!

– Четвертый друг – труды: телу честь, душе вспоможение. Пятый: послушание, скорый путь к спасению. Шестой: неосуждение. Седьмой: рассуждение. Восьмой: молитва. Девятый: благодарение. Десятый: милосердие. Одиннадцатый: исполнение Закона. Двенадцатый: покаяние, Богу радость.

– Богу слава,
И держава
Во веки веков, аминь! –

заключительно грянула толпа. А кормщик, продолжая поучение, еще два слова сказал в ожидании матушки-пророчицы. Одно – о муках, как архангел Михаил водил Богородицу по адским мукам и семь мук ей показывал: аще кто двор с двором смутит – древо железное и огненное, елицы по воскресным дням блуд творили – три раза огненные, скверно-

словам – река огненная, судиям неправедным – палата болезненная и огненная, благодать отвергающим – червь не осыпающийся, чародеям и семейных злоб сеятелям – змеи лютые, сердце сосущие, сребролюбникам – смола кипучая.

– Богу слава,
И держава
Во веки веков, аминь! –

загремел народ.

Третье слово Филата Гавриловича было о помощи архангельской:

– Аще ли восхощеши иди в путь, то не выпускай из уст ваших архангела Гавриила, будешь всегда благополучен. Едва хощеши пить воду в нощи, то поминай архангела Самоила, той есть ночное страже. Когда пристижет печаль, тогда призывай архангела Кафанаила, ибо он есть утешение ангелам и человекам. Дому созиждиму сущу призывай на помощь архистратига Михаила, он есть веселие Матери Божией, дому и церкви упражнение. Егда же ты, человече, ел и пил что, и хощеши быть в порядке, то призывай и поминай святого архангела Рафаила.

Аксиньюшка вошла в собрание из боковых дверей. Две послушницы шли перед нею, две поддерживали ее под руки, две замыкали шествие.

Они пели:

Воспойте громко Господу,
Трубы громогласны, –
Восстает нам день красный!
Ты же, благостыня,
Дева любима,
Веселися, радуйся,
Взойди в Сион-горе!
Грядите, дочери!
Отверзаются двери...

Пророчица ступала медленно и плавно, лебедью, держалась важно и осанисто, ни на кого не глядя – хотя народ, чуть завидел свою «матушку», рванулся к ней стеною, с приветствиями, криком, плачем, благодарностями и просьбами. Фанатики норовили схватиться хоть за край аксиньюшких «ризок», таких же длинных и белых, как на всех, только из более тонкого полотна. Бабы с благоговейною завистью зарились на драгоценные камни; «матушка», в самом деле, устроила из них что-то вроде небесного венца: бриллиантовый блеск дрожал вокруг ее головы, будто на иконе.

Аксиньюшка обменялась с Филатом Гавриловичем братским целованием.

– Спаси Господи. Христос воскрес.

– Во истинных людях воскрес.

– Как верным явился, так и нам есть, – и села в резные кресла рядом.

Шесть ее послушниц стояли возле. Шесть парней – на по-

слухе у кормщика – отделились от толпы и стали у кресел Филата Гавриловича. Один из них прочитал «Отчу». Когда он кончил и толпа пропела «Богу славу, и державу», самая молоденькая из послушниц прочитала «Богородицу».

– Духа прославим! – воскликнул кормщик, вставая с кресел.

Толпа всколыхнулась, – как волною, и запела с воодушевлением, чередуясь в голосах. Сперва женщины:

Уж вы, птицы, мои птицы,
Души красные девицы,
Вам от матушки-царицы
Дорогой убор-гостинец!
Вы во трубушку трубите,
Орла-птицу заманите,
Светильники зажигайте,
Гостя-батюшку встречайте!

А мужчины отзывались протяжным голосом:

Восплещем руками,
Воспляшем, духом веселяще,
Духовные мысли словесно плодяще!
Яко руками, восплещем устами –
Дух с нами! Дух с нами!
Мужи и жены, силы исполнися,
Яко пианы язычникам явишася,
Древле незнаны, сташа познанны.

Гласы преславны, гласы преславны!

И оба хора сливались в «новой песне» – в таинственном гимне, общем всем без исключения толкам, хоть сколько-нибудь родственным хлыстовщине:

Царство ты, царство, духовное царство!
Во тебе ли, царстве, благодать велика:
Праведные люди в тебе пребывают,
Живут они себе, ни в чем не унывают.
Строено ты, царство, ради изгнанных,
Что на свете были мучимы и гнаны,
Что верою жили, правдою служили...

Таевцы голосили с восторгом. Отвлеченный смысл гимна был далек от них. Каждый пел не о царстве «не от мира сего», но видел таинственное царство, – созданное «ради изгнанных, что верою жили, правдою служили», – здесь, в скрытом от грешного и враждебного мира Тае.

На горе, на полугоре
И там стоял же зеленый сад,
Деревья во саду кудрявые,
А листья во саду зеленые.
Хотели враги зеленый сад засушить,
Хотели водами сад потопить, –
Да корнями сад укоренился,
Да ветвями сад уветвился,

Да листьями сад украсился!
Гуляй, юнош, в зеленой дубраве,
Где гуляют херувимы, серафимы,
Вся небесная сила!

В толпе было немало стариков, которые помнили, как Тай начался, как бежали они сюда, ревнуя о вере, от строгих архиереев, крутых бар и лихой полиции, когда на Поволжье начался сектантский разгром... Вспоминали они те жуткие дни, и тем громче, и радостнее становилось их пение: ведь на всем лице земли русской Тай, быть может, был единственным местом, где хлыст мог жить, думать, говорить и радеть, как ему угодно, вслух, без оглядки, не приставляя к сионской горнице зоркую и хитрую стражу, не нуждаясь в потайных дверях и лазах, в раздвижных стенах, в подпольях и подземных ходах.

Филат Гаврилович сорвался с места и, выбежав на середину горницы, под распростертого голубя-люстру завертелся, как волчок, на пятке правой ноги – сперва медленно, потом все скорее и скорее, пока наконец его высокая фигура в раздутой от быстрого движения рубахе не стала казаться огромным вертящимся белым колоколом. Не разобрать было ни лица, ни бороды.

За кормщиком рванулся один из послушников, другой, третий. Ветер ходил по горнице. Вертящиеся белые колокола шатались из угла в угол, точно придорожные вихри, и все росли в числе. Кто еще не вертелся, – те выкрикивали, что

было мочи, песню, ускоряя ее напев, по мере того, как ускоряли свое движение «прыгунки»:

Ах ты, дух-голубок,
Наш беленький воркунок,
Не пора ли тебе, сударь,
На сыру землю слететь,
На труды наши воззреть?

А вы голуби
А вы сизые? –

басил в разноголосицу мужской хор.

– Мы не голуби,
Мы не сизые! –

пронзительно визжал хор женский.

– А вы лебеди,
А вы белые!
– Мы не лебеди,
Мы не белые!

И все вместе:

– А мы ангелы,
Мы архангелы,

Христовой земли
Посланнички...

Завертелась Аксиньюшка, а за нею и все бабы. Радели «углом». Делились по углам на кучки и потом перебежали наискось из угла в угол, стараясь не столкнуться с встречной кучкой. Радели «крестом» – образуя фигуру креста, быстро вращающегося около неподвижного центра: в нем стоял Филат Гаврилович, отдыхая от своей бешеной пляски. Отдохнул и схватился с Аксиньюшкой за руки. Они закружились по горнице вдвоем, – точно вальс танцевали. Венец Аксиньюшкин в быстром вращении молнией голову пророчицы опоясал. Десятки пар им последовали. Радение стало похожим на бал привидений.

Все это были лишь подготовительные обряды. «Святой круг» еще не открывался, хотя уже одного таевца среди прыжков и кривляньяхватила падучка, а иные валялись по лавкам в полном изнеможении. Сноровка вертеться на пятке не всякому дается сразу. Новичков увлекали в пляску опытные. Тех, кто плохо успевал в искусстве кружения, преследовали насмешками, бранью, поталкивали и даже могли бы поколотить, если бы Аксиньюшка и кормщик не прекращали своими окриками ссоры и нестроение.

Высоко поднимая белое полотенце, закинув назад голову, Аксиньюшка визгливо затянула:

Рай ты мой, рай,

Пресветлый мой рай!..

Толпа дружно подхватила:

Во тебе, во рае,
Батюшка родимый,
Красное солнышко
Весело ходит,
Рай освещает,
Бочку выкатает...
Бочка ты, бочка,
Серебрена бочка,
На тебе, на бочке,
Обручья златые,
Во тебе, во бочке,
Духовное пиво.
Станемте мы, други,
Бочку расчинати,
Пиво распивати,
Авось наш надежа
До нас умилится,
Во сердца во наши
Он, свет, преселится.

Радельщики стали в четыре ряда: первый и третий образовали мужчины; второй и четвертый – женщины. Сильно топоча, они, как ошалевший конский табун, принялись бегать взад и вперед по избе. Все – в ногу. Задние мерно ударяли

передних полотенцами по плечам. Самые усердные завязывали в полотенца ключи, нарочно припасенные заранее камни, тяжелые старинные пятаки и гривны. Сквозь нескладное пение и восторженные крики стали прорываться болезненные взвизгиванья. У иных на плечах проступила кровь. Толпа шалела. Все перемешалось в ее разноголосом шуме – изба стонала точно одною грудью, как разъяренный раненый зверь. Вдоволь набегавшись и нахлеставшись, радельщики пошвыряли полотенца под люстру и, схватившись руками, образовали круговую цепь.

– Духа, духа! – вопили мужчины.

Филат Гаврилович с мокрою бородою и волосами, повисшими, как у утопленника, кричал осиплым и надорванным голосом:

– Затирай духовное пиво!.. Чтоб разымчивее было! Плоти тяжко – душе легче! Помните, братики любезные: кто напойт потом землю на три аршина под собою, тому все грехи простятся.

Новую песню мы запоем,
На брак к свету мы пойдем.
Как на браке, на юдейском,
Там был конь галилейской,
И Христос с нами там был,
С воды вино превратил,
Кто этого вина напьется,
В том дух святой завьется!

Опьянение толкотни все возрастало. Цепь кружилась, как живой волчок. Две-три женщины давно уже потеряли чувство. Но соседи, не замечая их обморока, продолжали вертеть бесчувственные тела, тяжело колотившиеся ногами о пол. Бабы в визгах и икотах рвали на себе рубахи и, нагие до пояса, повисали на руках подруг, предоставляя цепи влачить себя, колотясь по полу окровавленными грудями. То и дело их разбитые волосы попадали под ноги, оставляя на полу кусты вырванных прядей. Они ничего не чувствовали. На них было страшно смотреть. Таевский богатырский народ, такой красивый и здоровый в обычное время, теперь казался сборищем пьяниц, отравленных полынной водкой. Зеленые лица с провалившимися глазами, обтянутые скулы, усеянные градом потных капель, потускневшие тела, испещренные синяками и царапинами... Наконец «дух», призываемый диким шабашем, «накатил», послушницы одна за другой повалились в истерических спазмах, бормоча восторженную нескладицу. Хохот, рыдания, животные крики, брань и гимны, вырвавшиеся из уст истеричек, мешались с дикими воплями:

– Эй! Эо! Эй – эван! Эван – эвое!

Разноголосица шла чудовищная. В то время, как одни вопили на песенный распев духовные стихи, других, обеспамятительных, распевы песен давно сбили с толка, и они сами не замечали, как в бессмысленном экстазе жаркими молитвенными

ми голосами выкрикивают совсем не «о духе», но о том, как

Ходил, блудил казак по долине,
Приблудился казак ко дивчине.

– Дивчина, пусти ночевати...

– Евга! Евга! Эй-ян!

Ева! Адам! Ева! Адам!

Евга! Евга! Эван! Эвое!

– Как Адам с Евой

По раю гуляли,

Ева Адама смутила,

Во грех Адама вводила...

«Накатило» и на Аксиньюшку.

– Ой, дух! ой, дух! – раздался ее нечеловеческий вопль, и она вырвалась из цепи, которая тотчас же распалась... Таевцы бросились к скамьям и попадали на них, готовые в любопытном напряжении слушать «живое слово трубы небесной». Многие упали на колени.

Самый опытный и наблюдательный психиатр не решил бы, глядя на Аксиньюшку, где в ней кончается шарлатанство и начинается действительный экстаз – неизбежный плод нервного потрясения, пережитого ею вместе со всею толпою. В разорванной одежде, вытянув прямо над головою, как два полена, толстые руки с неподвижно растопыренными пальцами, Аксиньюшка грянулась навзничь на кучи полотенец. Полузакрытые глаза ее стали похожи на две свинцовые точ-

ки; на помертвелых губах выступила полоска пены. Потом ее стало подкидывать. Было непонятно, откуда берется сила, сотрясающая это тяжелое, тучное тело, казалось бы, наперекор всем законам равновесия. Держась на полу только одними ступнями, пророчица, – прямая и неподвижная, как труп, – поднималась почти на половину своего роста и, точно подстреленная, падала на плечи. То верхняя, то нижняя часть ее тела взмахивала в воздухе, подобно коромыслу над колодезем. Брильянты на голове припадочной тряслись и сыпали искры. Таевцы с благоговением наблюдали эти таинственные проявления. Никогда еще матушка Аксиньюшка не утешала их таким тяжелым припадком. Это предвещало могучее наитие духа и необычайно важные откровения. Пророчица метнулась вверх прямым, быстрым скачком рыбы, блеснувшей над водою, и, тяжело шлепнувшись на пол руками, выгнулась *дугою*. Теперь она касалась до земли только пятками и теменем головы. Тело ее образовало как бы арку, вдоль которой, едва касаясь пола, беспомощно висели руки. На одном из первых радений Аксиньюшки кто-то из сомневающихся втихомолку впустил в плечо пророчицы большую сапожную иглу, но Аксиньюшка даже не почувствовала укола, и кровь не пошла из раны, – точно было ткнуто не в тело, а в пробку. Заболело лишь после того, как дух сошел с избранницы своей. Наконец Аксиньюшка обессилела. Теперь она спокойно лежала на полу, в дремоте, вся сразу покрывшись обильным потом. Это продолжалось около получаса, и

все время никто в собрании не смел шевельнуться, сказать слово, высморкаться или кашлянуть. Мертвая тишь, духота. Седой, удушливый пар переливается в горнице, и сквозь его пелену тускло светят цветные огоньки люстры.

Аксиньюшка пошевелилась, тяжело вздохнула и села. Глаза ее мутно блуждали по собранию. Черные космы мокрых, разбитых волос висели из-под бриллиантов. Из тяжело вздымавшейся груди вырывался лающий и порою переходящий в завыванье нечеловеческий голос, ничего общего не имеющий с природным голосом Аксиньюшки. Казалось, из нее говорил кто-то другой, в нее вселившийся.

– Горе тебе, грешному Таю... не все тебе веселиться – бедой тебя испытаю... вырву из тебя слугу верного, нелицемерного... отдам твою потерю лютому зверю, на лесном пути, и костей не найти... на земле ему конец да на небе венец.

И запела диким голосом:

Идет царь в пустыни,
В дальние эсаулы,
За ним грядут его люди;
Подкрепитесь, мои люди!
Вам того не стерпети:
Уж и там леса темные,
Как во тех во лесах
Звери лютые,
О, лютые, лютые,
Вельми страшные!

Таевцы, слушая зловещие слова пророчицы, переглядывались в смущении и страхе. Смысл был слишком ясен. Да и не редкое это было дело для таевца – «пропасть на лесном пути, и костей не найти». И не в первый раз на радениях раздавались о том откровения, слишком верно оправдываемые трущобною действительностью. Стали считать, вся ли паства в сборе. Не нашлось только Михайлы Давыдка да Василия Гайтанчика.

– Стало быть, на них это указание... кого же из двух заел дикий зверь? – приступил к Аксиньюшке Филат Гаврилович. – Матушка, не откажи, просвети!

– Кого Бог спас, тот у вас, – выла пророчица, – кому пропасть – медвежья пасть...

– На Михаилу, беспреренно на Михаилу надо думать, он медвежатник-то; и сейчас в лабазе сидит, – шептали бабы, поглядывая на Зину и Консту. Они присутствовали на радении с самого начала, но старались держаться подальше от «святого круга», участвуя в бесновании лишь изредка и для виду, чтобы не быть вовсе чужими и не потерпеть оскорблений. Так как их считали еще не вовсе принятыми в корабль, а лишь полупросвещенными, то это не производило на верующих странного впечатления. Напротив, фанатики могли только быть довольны такою скромностью: люди, еще не просвещенные духом, вступая в святой круг, могут отвратить духа и от истинно верных. Впрочем, Конста не мог бы кру-

житься, если бы даже силою заставляли. На нем лица не было. Он был совершенно измучен. Страшно измял его Гайтанчик в предсмертной своей борьбе. Пришлось завязать горло платком, чтобы скрыть синяки. Из глотки вместо голоса сип какой-то вырывался. После убийства – вот уже вторые сутки к концу – не пришлось Консте отдохнуть ни душою, ни телом. И вчера, и сегодня мотался он с ружьем по лесу разыскивая Михайлу, чтобы осведомить его обо всем, что в его отсутствие произошло, и условиться, как им стоять теперь друг за друга и быть дальше. А Михайло, как нарочно, перенес лабаз свой к другому яру, и найти его Консте было не легче, чем лешего.

Слыша, как женщины толкуют слова матушки, Зина всплеснула руками и заревела во весь голос по дяденьке Михайле, а Конста с ожесточением схватился за затылок. Таевцы утешали их.

– Вы не убивайтесь, а радуйтесь. Телом умер – душой воскрес. Что тело-то жалеть? Тело – Марфа, а душа – Мария. Марфа – в землю: она презрительная, а благословенная Мария – голубкою в небеса...

Но в самый разгар этих сетований и утешений, хлопнула дверь и на пороге показался Михайло. По здоровому, цветущему лицу его было видно, что и Марфу свою, и Марию он сохраняет в полной неприкосновенности. Толпа ахнула.

– Здорово живете, – уставно поклонился Михайло святому кругу.

– Слава Богу, – неясным ропотом последовал уставный же ответ.

– Живы ли? Здоровы ли себе?

– Живы, слава Богу. Как тебе Бог помогал?

– Благодарение Богу. Бог милости прислал.

– Спаси Господи!

– Милость и истина встретошася.

– Правда с миром облобызашася.

Михайлу окружили, как чудо некое. Радение оборвалось. Михайло тоже удивленно вытаращил свои добродушные круглые глаза.

– Что у вас тут такое? отчего так глядите на меня?

– Михайлушка... живой! – еле вымолвил Филат Гаврилович, – и не съел тебя медведь лютый?

– Нет... зачем? – по-прежнему недоумевая, возразил Михайло. – Сам я, точно, свалил – и не одного, а целую парочку. Не слышать вам, знать, было выстрелов-то? Признаться, за народом и пришел, чтобы пошли с огнями, помогли перетасщить, пока волки не разорвали туши.

– Ну, слава Господу! Матушка здесь выкликала, что кто-то из нашей паствы должен скончать свою жизнь от зверя... А как только тебя да Васильюшки Гайтанчика нет в собрании, мы было и стали думать на тебя.

Михайло нахмурился и повел быстрым взглядом по собранию. В ответ ему блеснул странный взгляд из-под полукрытых ресниц отдыхающей Аксиныюшки.

Он покачал головой.

– А давно Гайтанчик в лесу? – спросил он.

– Четвертого дня он вернулся из города, а позавчерась задумал идти с ружьем в лес. Видели, как он под вечер пришел на свое гумно... а ворочался ли, нет ли, – того не знаем.

Михайло широко перекрестился.

– Ну, ребята, стало быть, так тому и быть... Молите Бога за его грешную душу! Понимаю теперь, зачем медведи так долго не шли к моему лабазу! Сижу я позавчерась на лабазе, стерегу... вдруг кто-то как завопит – ровно с живого дерут кожу: инда у меня руки-ноги затряслись! Филин, что ли? Нет. Завопил, пожалуй бы, и человеческим голосом, да уж больно дико и жутко. Думаю: слезть нешто? пойти на помощь? Опять же – откуда быть тут человеку возле Тая-то, в нашей глуши? таевцы, я чай, давно с куриями, спят по палаткам... Если же кто из мирских ненароком с воли забрел, туда ему и дорога!.. А крик опять, да еще страшнее... и в третий раз. Взяла меня жалость. Решил: была не была, спущусь, посмотрю, какое там лихо... да вдруг – стук мне в голову, – а ну, как это морочит леший? Нарочно жалостит: поди в темноту, да и попади в бучило либо Мишке прямо в зубы. Подумал я, поболтал ногами и опять убрал их на лабаз... А тот-то, незнакомый, покричал еще, постонал – и ослаб, затих... На гумне, говорите вы, в последний раз видали Гайтанчика?

– Не то что на гумне, – нерешительно отозвался кто-то из толпы, – а вроде как бы туда он шел.

– Ну, а рев этот, что я слышал с лабаза, доходил от болота.

– Так надо думать, – сказал Филат Гаврилович, – что пошел Васильюшка через трясины по жердочкам да и наткнулся впотьмах на Мишку... Правда, они в ту сторону об эту пору часто заходят. Завтра всем поселком выйдем искать Васильюшку.

Один из послушников возразил:

– Пожалуй, что и без Мишки дело обошлось, – просто сорвался с жердочек в трясины и шабаш. И ежели так было, где уж его теперь найти! Разве что все болото до дна лопатами расшвырять. Трясины и курицу на сажень засасывает, а не то что человечесьи кости.

– Нет, я так полагаю, – с редким самообладанием просипел Конста, – что будет толк или нет, а поискать надо. Первое дело: ежели матушка духом прорекла, что Гайтанчика растерзали звери, стало быть, нечего о трясины и поминать; не трясины его сгубили, а медвежьи зубы. Опять же и дядя Михайло на зверя думает, а не на трясины.

– Я больше потому так полагаю, – объяснил Давыдов – что медведи не приходили в ту ночь на пададь под лабаз, – значит, сыты были, жрали его – Гайтанчика-то... А сейчас, как всю человечину слопали, проголодались и пришли в паре, да матерые такие... сам лесной боярин с боярыней... Я их и положил в два выстрела рядышком.

Так на том и порешили, что Василий Осипович сделался жертвою лютых зверей. Взвыла по Гайтанчику сионская гор-

ница:

По лесам, лесам высоконьким,
По кустикам по зелененьким,
Там убит-лежит добрый молодец,
Васильюшка свет-Осипович,
Принакрыт-то он елочкой,
Привален-то он можжевельничком,
Зеленая травушка вокруг пожелкла,
Алые цветики облетели,
Клюква-ягода погоркла...

Поиски по лесу, разумеется, ни к чему не привели. Потужили о Гайтанчике таевцы, помолились о нем и стали думать, кого бы поумнее да потолковее приспособить вместо него в посредники между миром и лесною труппою. Аксиныюшка, столковавшись с Филатом Гавриловичем, ловко направила выбор на Консту, и в конце апреля Михайло Давыдок проводил Консту с Зиною до лесной опушки.

В скором времени – на границе лесного моря, облежавшего Тай, и волжского бечевника, верстах в двадцати пяти от гайтанчикова городка, заарендовал у обедневшего мелкопоместного дворянина землю и усадьбу незнакомый местным жителям, наезжий из Коломны мещанин Анисим Воробьев с молодой женой Прасковьей. Усадебка стояла как раз на распутье двух больших торговых дорог; неподалеку были две богатые волжские пристани. Анисим открыл постоянный двор

и стал принимать к себе гостей и с обеих дорог, и с людного волжского бечевника. Слава о тароватом хозяине и приветливой красивой хозяйке, вместе с возчиками и бурлаками, далеко разошлась по Поволжью.

IX

Пробежало полтора года.

На постоялом дворе было, сверх обыкновения, нелюдно. Прасол из ближнего – верст за двадцать – города благодуществовал на чистой половине, за пузатым самоваром, калякая с хозяином. Молодая хозяйка, сидя поодаль, нянчила ребенка. Со двора доносились звонки и бубенцы Прасоловых коней, которых перепрягал кучерок. Управившись с лошадьми, он вошел в избу, стал у порога и молча поклонился.

– Что надо? – окрикнул прасол, вскидывая на него не слишком суровые глаза.

Он был малый веселый и покладистый.

– Кабы, Трофим Петрович, того...

– Чего «того»? – передразнил прасол, – водки просить пришел, ненасыть?

– Точно... ежели бы самую малость...

– Ни-ни! и то в три кабака заворачивал. А дело к ночи: как ты меня повезешь, наливши глаза?

– Трофим Петрович! ваше степенство! дозволю докладать: Бог милостив, – теперича месячно, и дорога битая – видать

ее, как серебро.

– Чудак-человек! сам же ты говорил, что впервой поедешь здешней дорогой, худо ее знаешь.

– Да что ее знать-то, ваше степенство? Дорога, – известно, как дорога. Не мудрей других. А водочки, за ваше здоровье, прикажите поднести. Потому без нее – Господи Боже мой! – по заре зябко, от реки тянет, по перелесью подсвистывает.

– Вишь, зябкий... Ништо, Анисим Сергеич, поднеси уж ему, – разрешил прасол.

– Ступай, любезный, в черную, – приказал хозяин, не оборачиваясь к кучеру, – там тебе нальют. Прасковья, отпусти.

Молодая женщина встала со скамьи и вместе с мужиком вышла из избы.

– Новый у вас кучерок-от? – спрашивал хозяин прасола.

– Новый. Второй месяц, как взят. Ничего, парень хороший. Вином только зашибает иной раз. Ну да все по этой дорожке бегаем.

– Здешний?

– Не здешний, из дальних. С Унжи. Про Волкояр – князя Александра Юрьевича Радунского имение – слыхал?

– Как не слышать?.. – протяжно молвил хозяин, поспешно ставя блюдце на стол, потому что оно задрожало у него на пятерне, обварив горячим чаем. – Это – которого еще, не к ночи будь сказано, величают «Чертушкой на Унже»?

– Вот-вот... И дочка евоная, от мучительства отцовского, не то сбежала с любовником, не то утопилась...

– Тс-с-с! ска-а-жи, пожалуй!

Дворник с участием покачал головой.

Между тем в черной избе возница вел такой разговор с хозяйкой, пока она цедила ему водку:

– Гляжу я на тебя, красавица моя, и ровно бы я тебя где видывал.

– Мудреного нету. На юру живем, на людях. Не прячемся, – гляди, кто хочет. За посмотр денег не берем.

– В том-то и закавыка, что я впервой в ваших местах, а тебя видал. Ты из каких породю будешь?

– Муж с-под Коломны, а я володимирска.

– Не бывал я там, не случилось... А знать тебя – лопни мои глаза – знаю...

– Может, похожую какую с лица...

– Нет, хозяйюшка, крали такие не часто на свете рождаются. Тебя видал. Только – где, хоть убей, не припомню.

– Ну, пей, пей, – нетерпеливо торопила хозяйка. – Рас-табарывать с тобой, парень, мне неколи... За постой ныне деньги платят, а за беседу – рублики.

Прасол двинулся в дорогу. Хозяин и хозяйка с поклонами провожали его на крыльцо. Яркий месячный свет упал на лицо дворника. Возница прасола пристально взгляделся в «коломенского мещанина», а тот, заметив его взгляд, поспешил отступить в темноту. Однако он слышал, как кучерок потихоньку засвистал – будто лошадям... «Э-ге-ге! вот оно что!» – сказывал этот свист. «Коломенского мещанина» пе-

редернуло. Укладка прасола загрохотала по твердой битой дороге.

Версты две путники ехали молча. Потом возница обернулся к прасолу:

– Дозвольте спросить, Трофим Петрович: вы этого Анисима давно знаете?

– Нет, не очень давно. Как люди, так и я. Он на тракту человек новый. Год с небольшим, как объявился.

– Ну, стало быть, так оно и есть, – решительно воскликнул возница и, в волнении, чуть не уронил вожжи. – Узнал дружка! И не Анисим он, и не с-под Коломны, Трофим Петрович.

– Что ты врешь? чай он паспорт имеет, начальству известен.

– Что паспорт? Паспорт – не указ. Паспорт и украсть можно, и самому написать, кто умеет. Я его Трофим Петрович, знаю, и хозяйку его признал... Володимирска, говорит... Хитра тоже. Ведь это они, Трофим Петрович.

– Кто они, жернов мельничный?

– Слыхали, как у нас из Волкояра княжна сбежала? Ну вот она самая и есть – хозяйка Анисимова. А он-Конста, паренек тот заблудящий, что вместе с нею пропал... Ее-то я не сразу признал, потому что одежда личность изменила, а его – так мне месяцем и осветило. Тут, как угадал я его, то и о ней пришел в понятие.

Прасол захохотал.

– Ты бы, Ефрем, хоть языка пожалел, – много трепать его

будешь, так и отвалится. Статочное ли дело – искать княжон по постоялым дворам?

– Батюшка, Трофим Петрович, присягу могу принять, что они.

Зина и Конста по отъезде прасола были в большом затруднении. Их узнали уже в третий раз за полтора года их удачливого хозяйства, и – главное – сам Конста признал в вознице прасола Ефремку, продувного парня, которого волкоярский управляющей Муфтель в последнее время держал при себе на посылках. Признавшие волкоярских беглецов в первые разы были из простецов: Конста легко заговорил им зубы, так что они сами над собой посмеялись: как это угораздило их принять солидного рыжебородого дворника за недавнего парнишку из волкоярской дворни? Но Ефремку Конста знал не за такого человека, чтобы его было легко одурачить.

– Он, подлец, этого так не оставит, – волновался Конста. – Он жадный, да и голова у него на плечах – не капустный кочан. Сообразит, что дело пахнет поживою. Станет с нас тянуть деньги. Мужик наглый – выдоит нас в лучшем виде. А потом – я таких хамов насквозь знаю: чуть почувал за собою силу и власть, сейчас и зазнался, и начал ломаться да охальничать. И придется расправляться с ним не хуже, чем с Гайтанчиком.

– Уж от этого избави Бог! – отрещивалась Зина. Конста сходил в Тай посоветоваться с Матреной.

– Охота вам с этим постоялым двором путаться? – сказа-

ла пророчица. – Благо выпустили вас таевцы, шли бы, куда глаза глядят: дорога на все четыре стороны. Волга – рядом. А на гайтанчикову справу и без вас найдется человек... И таевцы не обидятся. Скажу, что бежали вы от гонения иродова, – еще страдальцами вас почитать станут. Ну, а если уж сразу сейчас нагрянет начальство с обыском, – бегите в лес да в Тай. Переждете здесь, пока уляжется беда, а потом ступайте, куца хотите!

Вскоре после того, как прасол Трофим Петрович гостил на постоялом дворе коломенского мещанина Анисима, – кучерок Ефрем надумался, что как-никак, а встречу с волкоярскими беглецами пропустить без пользы не след. Хозяину его снова случилось быть поблизости тех мест, на большой сельской ярмарке. Ефрем отпросился у прасола на несколько часов в гости и ударился к постоялому двору – в намерении поговорить с Констою начистую и взять с него, что можно, за молчание.

«Меньше тыщи рублей – сейчас издохнуть! – не возьму, – мечтал волкоярский проходимец. – Так и скажу: клади об это место тыщу рублей, а то – к становому».

Каково же было его удивление, когда он нашел постоялый двор закрытым, замок на калитке, ворота плотно заперты, на ставнях засовы... От соседей он узнал, что Анисиму и Прасковье торговля показалась убыточной, и они продали свое заведение и передали аренду усадьбы дворнику из соседнего села. Новый хозяин в дело еще не вступал, а старые, получив

деньги, живо собрали свой скарб и уехали.

– Куда? правду тебе сказать, милый человек, не знаем. Говорили, якобы на родину. А жаль: хорошие были люди, ласковые. Оттого и проторговались. С ласковостью да тароватостью нешто дворничать возможно? Тут собакой надо быть, разбойником.

Нашел Ефрем нового дворника. Осанистый, седоватый мужик – косая сажень в плечах – долго смотрел на него умными, равнодушными глазами.

– Ты что же? сродни, что ли, Анисиму будешь? – спросил он наконец.

– Нет... мы так...

– А коли так, нечего тебе, парень, о них и беспокоиться, обивать чужие пороги.

– Должок, признаться, за ним остался, – хитрил Ефрем.

– До-о-лжок? – насмешливо протянул дворник, – ну, брат, жаль мне тебя: надо полагать, получишь на том свете угольками... Анисим теперь – ау где! Ищи ветра в поле.

Ефрем разгорячился, – ему почему-то казалось, будто старик отлично знает: и кто такие были Анисим с Прасковьей, и по какому делу он их ищет, и куда они уехали. Терять ему было нечего, и он откровенно объяснился с дворником.

– И ежели теперича, Прохор Иваныч, ты таких воров будешь укрывать, – заключил он, – то и сам попадешь в ответ пред начальством.

– Что ты такое бредишь, парень? Даже удивительно! – спо-

койно возразил дворник. – Никаких твоих историй я не знаю и знать не хочу. Мне продали, а я купил – вот и все мое дело, и весь ответ. Расписки имею, бумаги в порядке. А кто что продал, – пушай начальство разбирает, коли надобно; наша торговая часть – сторона. Начальству же мы, слава Богу, довольно известны: старожилы здешние. И еще я тебе скажу. Ты говоришь, что Анисим мошенник и названец. А, по-моему, мошенник-то выходишь ты. Анисим человек торговый, с понятием, с деньгой. Ребенок у него родился, – становиха в кумах была: во как! А ты приходишь на него мараль пуцать: явное дело – сорвать хочешь... За это, брат, тоже вас, прохвостов, не хвалят. Ведь, коли что знаешь, доказать надо. А докажешь ли? полно, поручишься ли наверняка? А ну, как не докажешь? Чай, сам пословицу знаешь: доносчику первый кнут.

– Да помилуй, Прохор Иваныч...

– Нет, парень, ведь это я так говорю, жалеючи твоего глупого разума, а по мне – как хочешь... Лови жар-птицу в осиновой роще, ищи княжон по постоялым дворам.

Ефрем настаивал. Дворнику это наскучило, и он чеством предложил кучерку:

– Вот Бог, а вот порог.

Очутившись на улице, Ефрем поохал, повздыхал... и, не солоно хлебавши, побрел восвояси кучерить у прасола.

Х

Над Волгою ложились сумерки. Под мутным темнеющим небом река отливала свинцом и сталью. День прошел нехороший – холодный и ветреный, – а ночь обещала быть еще хуже. Люди на большой барке, спускавшейся по течению от Васильсурска, дрогли и кутались. Барка была нагружена прессованным сеном – в ту пору совсем новостью и редкостью. Какой-то агроном занялся этим производством на заливных приокских лугах и теперь сплавлял первый груз, как пробу, Другому агроному под Казань. В Васильсурске на барку попросились довезти их до Казани мужчина и женщина с малым ребенком и довольно вескою поклажею. Это были Зина и Конста. Потолкавшись в суете Макарьевской ярмарки, они осторожно спускались к низовью – в намерении пробраться через Астрахань и Каспий в Закавказье, где русскому смышленому человеку была в то время жизнь вольная – как у Христа за пазухой. Люди были нужны. Какие люди и что у них за паспорта, не очень разбиралось. По крайней мере, так уверяли Консту тифлисцы, с которыми случай свел его у Макария. Он решил попробовать счастья в Тифлисе. Зина, по обыкновению, не прекословила.

– А если не выгорит наше дело в Тифлисе, махнем на Черное море – там рукой подать. И Адест город, и Туречина... куда захотим, туда и поедем.

В каких именно расчетах стремился Конста в Тифлис, они сам не знал. Но он был уверен, что сумеет пристроиться к какому-нибудь прибыльному и подходящему для себя занятию. Конста был искателем приключений по самой своей природе. Способностями он обладал удивительными и не без основания полагал о себе, что он годится на всякое дело. В течение двух месяцев, что они с Зиной промышляли по Поволжью, он успел научиться говорить по-татарски – не только сносно, но даже не без щегольства... А уж ругался совсем артистически.

– Экая жалость, – говорил он Зине, – что ты по-французскому и немецкому разучилась!..

– Да я и знала мало. Как меня учили? По-французскому Амалия Карловна сама была плоха – еле плела. А от немецкого меня с души воротило. Не хотела я говорить.

– А ей бы тебя присадить!

– Где уж? Ведь она всегда была больная – хворая, кислая, безногая.

– Жаль, крепко жаль! А то бы я у тебя живо перенял. Кто по-французскому говорит, – хорошо. Не страшно и с господами обращение иметь, и в господа самому вылезть. Нешто приспособить француженку какую в Тифлисе?

Пошутил Конста, да и сам был не рад. Всегда спокойное лицо Зины сперва побелело, потом побагровело, губы затряслись, глаза стали огромными и с тусклым отблеском, как олово... «Князь! вылитый старый князь!» – мелькнуло в па-

мяти смущенного Консты.

– Ты никогда не смей мне говорить такого, – хрипло сказала Зина, оправляясь. – Я не люблю. Ты не смотри, что я стала тихая. Во мне черти сидят. Расходятся, – будет нехорошо.

– Глупая... ведь я в шутку!

– И в шутку не надо. Не хочу я, чтобы таким делом шутить... Оно у меня – только одно и есть на свете. Мой ты – больше ничего!.. целуй меня скорей!.. целуй!.. обнимай!..

Ее охватил один из тех порывов страсти, от которых не раз делалось жутко даже самому Консте. «Эдакая же зверьбаба! – думал он про себя, – ну хорошо, что любит, ласкается... А ведь случись между нами какой разлад, она зарежет – не охнет...»

Барочный приказчик – длинный, как червь, мещанин изпод Рязани, худой и томный, с сладкою вежливою речью – уступил супругам свою рубку, они завалились спать. Но среди ночи Консту всполошили крики и топот на палубе... Он в одной рубахе выскочил из рубки... Громадный косой столб розового пламени встал пред его глазами... Барка горела, как свеча. Люди в отчаянии метались от борта к борту, оглашая темную ночь раздирающими душу воплями о помощи.

– Зинаида!.. вставай... беда! – не своим голосом закричал Конста и, сорвав со стены жилетку, где были зашиты у него деньги, быстро напялил ее на плечи.

– Лодку... Лодку... Ло-о-одку! – вопили погибающие.

Но лодок не подавали. Пожар вспыхнул, когда барка находилась в промежутке двух береговых сел – до обоих было версты по четыре. В дрожащем красном свете, игравшем по чешуйчатой реке, видно было, как на берегу метались бурлаки-бечевщики. Слышны были их голоса... Они совсем потерялись, бессильные подать помощь товарищам на барке, потому что бечева перегорела.

Сено горело, как свеча, почти без дыма, с невероятной силой, яркостью и быстротой. Пламя раздувалось, как флаг, махало красным языком по всей палубе. На барке нельзя было дольше оставаться.

Люди стали бросаться в воду. Приказчик соскочил первым и... на глазах Консты пошел ко дну. Его маленькая голова вынырнула раза два и пропала. Зина с ребенком на руках глядела на черную рябь реки, которую пожар окрашивал точно кровью.

– Ты умеешь плавать? – спросил ее Конста. Сам он плавал, как рыба.

Она отрицательно покачала головою. Сквозь пламя, по зыблющимся, подгорающим доскам, Конста прорвался в рубку барки, схватил из угла пустой бочонок, и в два прыжка очутился возле Зины... Доски сзади его обломались; взвился сноп искр, и пламя лизнуло ему спину красным языком. Обожженный, в пылающей одежде, бухнулся он вместе бочонком в Волгу.

– Прыгай ко мне! – кричал он.

Зина прыгнула, и – не успела глубоко окунуться, как Конста уже подхватил ее сильною рукою и увлек от барки: она вся превратилась в пламя, крутящееся под ветром.

– Держись за бочонок!.. – быстро говорил Конста.

Но Зина, вычихнув набравшуюся в ноздри воду, огляделась безумными глазами и – к воплям, разносившимся по реке, прибавился ее отчаянный голос:

– Дашка! где моя Дашка?

Тут только Конста заметил, что ребенка на руках у нее нету. Очутившись под водою, Зина невольно развела руки, и спеленатый кусок живого мяса, как свинец, канул на дно реки.

Конста застонал... Но время не терпело. Он заставил Зину опереться на бочонок и поплыл к берегу, толкая ее рядом с собою. Зина так глубоко лежала в воде, что снаружи виднелись только нос да губы. Тянуть ее за собой было каторгой... С Волги уже слышались голоса людей, спешивших на лодках выручать погибающих. Но лодки были еще далеко, а Конста терял последние силы. Мокрая одежда становилась все тяжелее и тяжелее. Осиплым, сорвавшимся голосом звал он на помощь...

До темного берега оставалось еще саженой пятнадцать. Зина все грузнее и грузнее опускалась в воду; руки ее обессилели... бочонок от нее ускользнул. Сверхчеловеческим усилием Конста поймал его и опять дал ей в руки. Потом, держась правою рукою за тот же бочонок, левою он схватил Зи-

ну за ее разбитую мокрую косу и поплыл, ежеминутно глотая воду...

– Не могу больше... – простонала Зина...

Ее тяжесть опять потянула Консту ко дну. Но дно оказалось уже неглубоким: Конста достал его ногою. Торжествующий крик вырвался у него из груди.

– Зинка, не тони! Зинка, держись! – хрипел он, – минуту еще... одну минутку...

Вода была уже по плечи Консте... Он шагнул раз, другой, волоча за собою бесчувственную женщину, и остановился на безопасном месте, держа ее на плече: вода была немного выше пояса. Счастливая звезда вынесла Консту на отмель... здесь их и подобрала.

Барка затонула... да, надо полагать, немного от нее и оставалось, когда она пошла ко дну, судя по обилию и мелко-сти обгорелых обломков: суток двое вылавливали их окрестные мужики. Выловили пять трупов: живыми с барки ушли только Зина с Констой, да и то, относительно первой, трудно было сказать, чем кончится для нее страшное потрясение... Кроме пережитого ужаса, глаз на глаз с неминуемой гибелью, кроме простуды в осенних водах, кроме потери ребенка, ее постигла еще беда, – она выкинула, и теперь, лежа на палатках крестьянской избы, в горячечном бреду, колебалась между жизнью и смертью.

Конста отделался ожогом и лихорадкой. Он высох и пожелтел – даже до белков глаз. У него было другое несчастье.

Когда он, взятый лодочниками, очнулся и пообсушился, первую его мысль было: «А наши деньги?» Он нащупал место, где зашиты были ассигнации... Пусто!.. Консте надо было много самообладания, чтобы не закричать: «Караул! Ограбили!..» Он сдержался, осмотрел себя и – все понял: второпях, выбегая из рубки, он сорвал с гвоздя и надел вместо своей жилетки – жилетку погибшего приказчика.

– Купец! Бумажник-от не потеряй, а то выпал было, как тебя из лодки выносили, – заметил ему хозяин избы, указывая на кожаный бумажник, бережно положенный на божницу.

Конста жадно схватился за мокрый бумажник: денег в нем была самая малость, пятьдесят рублей, приготовленных приказчиком на мелкие расходы. Это был весь капитал Консты и Зины – на всю жизнь... Консте стало страшно.

– Ты из каких будешь, купец? – приставал к Консте хозяин.

Но он бессмысленно смотрел на мужика и ничего не отвечал.

– Не трожь его, не замай, – вступился кто-то. – Вишь, перепужался парень, слов лишился. Ужо отойдет, – спросим. К тому часу и становой подоспеет...

– Не засудили бы нас за тебя, купец... – сомневался хозяин.

– Вона – засудили! – возражал защитник Консты, – за что? Нешто мы убили кого али ограбили? Двух человек спасли...

нам медаль надо! А что пожар, – мы тому неповинны.

– А бурлаки-то, что в лямке шли, сробели, сбежали.

– Им как не робеть? Небось беспаспортные. Попал в дело, – вот и бродяга. В острог – да по этапу. А теперь время горячее – Макарьевская. Цена бурлаку – рупь в день. Расчет ли ему с начальством валандаться? Сбежишь!

Оставшись один, Конста еще раз пересмотрел содержимое бумажника. Кроме денег, там лежали кое-какие торговые записки и счета и четыре паспорта: самого приказчика, двух бурлаков и артельной стряпухи... Остальная босая команда, должно быть, и впрямь была беспаспортная. Паспорта были чуть-чуть попорчены водой... Конста задумался. Это тоже было богатство в своем роде.

Назавтра, на вопрос станового, как звать, – Конста, не моргнув глазом, ответил:

– Андрей Иванов Налимов, из дворовых, вольноотпущенный человек господ Турухайских... Торгуем, по малости, красным товаром...

– Так, – сказал становой, просматривая вид, – а барка чья?

– Не могу знать, ваше высокоблагородие. Мы сели в Васильсурске с бабенкой этой, что валяется в клетки больная. Приказчик посулил подвезти вещи до Казани, да вот и попутал грех. Всего имущества лишились; деньги, какие были в сундуке, – все взяли огонь да вода. Тысяч на восемь горя купили... Да! Бабенки-то моей паспорт прикажете, ваше высокоблагородие?

– А почему он у вас? – уже вежливо спросил разоренного тысячника становой.

Конста потупился.

– Что греха таить, ваше высокоблагородие? Который год уже любимся... Все равно, как жена.

Все было в порядке. По новому паспорту Зина числилась зарайской крестьянкой Марьей Прохоровой... Приметы были подходящие, – то есть, вернее сказать, обычные для всех: волосы русые, глаза серые, нос и рот обыкновенные, лицо чистое, особых примет не имеется. По видимости, ничего незаконного в личностях Налимова и Прохоровой не усматривалось... Хотел было становой для очистки совести порасспросить самое Прохорову, но Зина лежала без памяти, ничего не понимала и даже не бредила.

«Красивая какая!» – подумал становой.

Паспорта остались при деле, а Конста и Зина получили проходные свидетельства в Казань. Становой – сочувствие сочувствием, – но все-таки за свидетельства сорвал с Консты. Надо было заплатить и хозяевам за подмогу и содержание и одежонку хоть какую-нибудь купить.

Недели через полторы богатырская натура Зины взяла верх над болезнью. А еще через неделю Конста уже вез ее – еще бессильную и тощую, как скелет, – на мужицкой телеге в Казань...

Ну, Константин, – думал он, подпрыгивая на облучке, – теперь держи ухо востро. Забота у нас на плечах великая, а

денег – красная бумажка. Пропадем али не пропадем? Эх, да ужли ж ни у меня, ни у Зинки звезды нет на небе? Авось Бог милостив... выручит нас Казань-городок...

XI

Казань в то время была город дикий не дикий, да и не цивилизованный. Казань по-татарски значит «котел», и она, действительно, была котлом, в который сплывало и в котором перекипало всевозможное злополучие человеческое, стекавшее из крепостного Заволжья – до Уфы и Оренбурга, из заводских губерний, бежавшее с сибирского поселения и каторжных работ. Миновать Казань ни в Сибирь, ни из Сибири было невозможно. Она была как бы первым европейским узлом, к которому тянула русская Азия: Уфа, Оренбург, Пермь, Вятка – были для нее еще как бы этапами и далекими пригородами. Поэтому много беглого и преступного народа – сибирских поворотников – брали в Казани, но еще более их застаивалось в ней, пережидая фортуны, чтобы от Бакалдинской пристани сплыть на низ к Жигулям или наверх к Нижнему. Область имела и отчасти оправдывала репутацию беспокойной. Совершить поездку, например, из Уфы либо даже из ближайших уездных городов в Казань почиталось путешествием нешуточным и небезопасным, потому что разбой на больших дорогах были обыкновеннейшим явлением. На проводах отважного путешествен-

ника служились молебны, семья ревмя редела, точно родитель ехал не в губернию по делам и за покупками, но на кровопролитную войну. Проезжая дворянскими усадьбами, путешественник видел их какими-то крепостями. На ночь окна в помещичьих домах запирались крепкими ставнями и железными болтами; в дверях сеней вырезывались круглые отверстия – бойницы для стрельбы по непрошеным ночным гостям; ружья всегда были наготове. Стучась в такие укрепленные двери, надо было не зевать и немедленно отвечать на оклик, – иначе хозяева стреляли. Мензелинский помещик Левшин таким образом чуть не убил исправника, который вздумал с ним пошутить и «попугать». Под самую Казанью бродили два разбойника: Быков и Чайкин. За первым считалось 105 собственноручно им загубленных душ, за вторым – 90. Они соперничали в жестокостях, кто лише отличится. Самую излюбленную забавою этих людей-чертей было вскрывать животы беременных женщин и рассматривать младенчиков. Когда их схватили, то не полиция и не солдаты стерегли острог, а народ с него глаз не спускал, боясь, чтобы двуногие звери не вырвались на свободу для новых злодейств. Весною 1849 года Быков и Чайкин были выведены на Арское поле для наказания шпицрутенами. Быков был приговорен к двенадцати тысячам ударов, Чайкин – к десяти тысячам. Это было равносильно смертной казни. Тем более, что солдаты условились не давать пощады и били разбойников с ожесточением, – даже, говорит очевидец, «в против-

ность уставу, выбегая из строя». Смотреть эту страшную живодерню валил народ даже из уездов. Никогда Арское поле не вмещало более многолюдной и злорадной толпы. Полного наказания Быков и Чайкин не вынесли и умерли в госпитале на второй или третий день.

Страшная школа, в которой вырабатывались подобные характеры, лежала между Волгою и Уралом. Только что взяли в опеку уфимского помещика, приятеля графа Канкринна, пресловутого Анастасия Жадовского, злоупотребления которого помещичьим правом и в XVIII веке, в екатерининское раздолье дворянской вольности, были бы необыкновенны. В Мензелинском уезде сидела, как баба-яга, «живая покойница», Евгения Ивановна Можарова, которая засекала девок своих за неубранную тряпку, за неопрятный передник и имела нарочный сарай-застенок, где, если жертва умирала под розгами, ее тут же, под скамьею для секции, зарывали под землю, и место аккуратно заравнивали песочком. Когда злодеяния Можаровой дошли до Петербурга, произведено было следствие, и дело перешло в Сенат, то спасти эту новую Салтычиху могло только одно средство, героическое, но довольно обыкновенное в старых крепостнических нравах: юридическая смерть. Ценою огромных затрат и взяток показали Евгению Ивановну умершею и дело «предали воле Божией», а Можарова втихомолку спокойно доживала свой век. Характера своего «живая покойница» нисколько не изменила. Жестокие ревматизмы уложили ее в постель. Дни ее

были сочтены. Врач посоветовал разглаживать ее теплыми утюгами. Умиравшая и тут осталась себе верна. Гладильщицы ее то и дело вскрикивали и обливались кровью. Оказалось, что старая ведьма добыла где-то вилку и подгоняет ею усердие прислужниц, и колет их, когда находит, что они ей мало помогают.

Грозные зверствовали, добрые глумились. Провинившегося лакея кроткая помещица, не признающая телесного наказания, ставила на коленях посредине двора и заставляла вязать чулок. Горничная, не выполнившая приказания, приглашалась в гостиную, – сажали ее на место барыни, на диване, подавали ей чай, говорили ей «вы» и «чего изволите», – до тех пор, пока виноватая не валилась в ноги, моля простить ее и освободить от непривычного приема и угощения. Если мужик сказывался больным и отлынивал от барщины, его помещали в отдельную комнату в барском доме и лечили диетой, – давали вместо обеда кусочек белого хлеба и рисовый суп. Обыкновенно больной спешил выздороветь, но бывали и такие гордецы, что, к удивлению гуманной исправительницы, выздоровев, ударились в бега и увеличивали собою число вольной казанской голи.

Совсем не редко было встретить в помещичьих домах наследие XVIII века – шутов и шутих. Пожилой мужчина в усах и бакенбардах, но в сарафане, ожерельях на шее и с серьгами в ушах во многих дворянских усадьбах, особенно поглубже, вдаль от Казани, вглубь уездов, встречал гостей ужимка-

ми своими. Если какой-либо гость, вкусивший европейского прогресса, выражал недоумение, хозяева оправдывались:

– Наше дело деревенское, частенько бывает, что и соскучишься. Что делать? Ну и велишь позвать дурака, а он и начнет городить всякую чепуху, а не то как-нибудь кривляться, прыгать станет. Ну, подчас и рассмешит, и слава тебе, Господи! А у нас дурак и презабавный, право!

Крепостные цепи были всюду напряженные, сторожкие. Почти сто лет минуло с Пугача, но обе стороны его помнили, как вчерашний день, и принимали, как урок. Отсюда дикая суровость помещиков, чувствовавших за собою непобедимое засилье. Отсюда нелюбовь крестьян даже к тем барам, которых они сами почитали добрыми и справедливыми. Редкими были примеры хороших взаимоотношений между душевладельцами и душами владеемыми. Листовские, Левшины гордились, что «крепостные их любят», но любовь эта принималась на веру. Старушка Лорер, уверенная в том же, на восьмом десятке лет, устав управлять имением и не имея наследников, отпустила на волю тысячу душ, ей принадлежавших, и подарила им все свои земли и угодья – с тем, чтобы крестьяне до конца ее жизни выплачивали ей по две тысячи рублей ежегодно, да сверх того, тоже до конца барыниной жизни, давали бы по два работника в день для работ по господскому саду и усадьбе. Крестьяне, бесконечно благодарные благодетельнице, обязательства свои исполняли честно.

– Только, – жаловалась старушка Лорер, – с некоторых

пор, видно, им надоело работать у меня в саду. Вот они и ропщут. А иногда подойдет работник к окошку, где я люблю сидеть, да и начинает меня усовещевать: «Матушка, грех тебе! Чужой век зажила! Смерти на тебя нет! Долго ли нам еще тут маяться?..» Такие озорники, право! А что ж мне делать? Видно, так Богу угодно. Ведь не руку же на себя в их угоду накладывать.

У лютых помещиков народ гнул голову, стиснув зубы, мечтал о близкой воле и все ждал какого-то таинственного царя Михаила:

– Идет царь Михаил. Он был заключен до сего времени за двумя железными дверями и шестью замками, а теперь вышел на свободу. Идет он не один, с ним большое воинство, и хочет он извести всех бар на русской земле. Всю землю царь Михаил отдает крестьянам во владение, а помещикам не оставляет ничего.

Кто утомлялся ждать царя Михаила, бежал ему навстречу – большого воинства не находил, но сам утопал в великом воинстве всероссийской бродячей вольницы.

В самой Казани воровство шло страшное. Полиция вменила домохозяевам в обязанность иметь дворников, а кто не в состоянии – держать дворовых собак. На Ляцкой улице скупой профессор Мастаки, «так как был уже в отставке, значит, имел много свободного времени для отдыха в течение дня, то ночью принимал на себя роль собаки: он садился на лавочку за воротами и лаял. Все-таки старость, при поря-

дочной тучности, брала свое, и Мастаки частенько дремал. Но, точный в исполнении принятых на себя обязанностей, просыпаясь, он не забывал своей роли и каждый раз пробуждение свое знаменовал лаем. Однако спросонья не всегда удачно выходило у него подражание, что раз заинтересовало одного из товарищей-профессоров, проходившего по этой улице. Он подошел к дому Мастаки, луна осветила фигуру дремавшего грека. Шаги заставили его проснуться, но вместо приветствия он встретил товарища собачьим лаем».

Улицы были первобытны и едва освещались. За Булаком не было тротуаров и мостовой, а только деревянные мостки, не было фонарей, и извозчики туда ехали неохотно даже днем, а вечером – ни за какие деньги. Лужи-непересыханки разливались там во всю ширь улиц, и существовал промысел переноса через грязь, за две, за три копейки, на широкой спине и дюжих плечах босяцких. Очевидец рассказывает, как однажды среди такой лужи живой конь, несущий нарядного студента к знакомым на вечеринку, был остановлен пьяным, который, видя перед собою силуэт человека с ношею на спине, принял его за шарманщика и скомандовал:

– А, шарманка, играй!

Живой конь заартачился было, но пьяный стал его поталкивать. Студент в ужасе, что вывалят его в грязь и пропал его бал, нашелся, шепнул на ухо подседельному своему:

– Верти рукой!

– Да что я буду вертеть? – изумился тот.

– Верти!

Подседельный стал вертеть рукою, а студент на его спине запел тоненьким голосом моднейший тогда романс:

Ты не поверишь,
Ты не поверишь,
Ты не поверишь,
Как ты мила!!!

Пьяный, послушав немного, промычал:

– Проваливай!

И побрел себе по луже, отыскивая, где посуше и удобнее отдохнуть, а студент благополучно перешел через Рубикон.

Утопая в своих даже не целебных грязях, казанцы могли утешаться только тем, что в других городах еще хуже. В Пензе англичанин, пленный офицер, утонул, – по-настоящему, до смерти утонул, – на главной улице, потому что вздумал гулять по городским мосткам – деревянному тротуару. Доска вывернулась из-под его ноги, он провалился в канаву под мостками, в текущую жидкую грязь, упал и задохнулся прежде, чем его успели извлечь. В Уфе новый губернатор отправился делать визиты и – завяз безвылазно в грязи. Карету его едва вытащили. Женщины не решались переходить через улицы иначе, как по накиданным доскам или нарочно протоптанным тропинкам: с дерзавших шагать напрямик грязь «снимала башмаки». Полагалось освещать город фонарями с конопляным маслом, но будочники поедали масло

с гречневою кашею, и над Уфою царила прежняя темь. Тогда губернатор приказал прибавить в масло скипидару. Не совершенно помогло. Бутарское брюхо и скипидар выдерживало. А что за вонь и гадость распространяли подобные факелы, легко себе вообразить. Чтобы ввести в Уфу подобие городского освещения, понадобился совершенно исключительный губернатор, отказавшийся в беспримерном бескорыстии от обычной дани, которую откуп платил его предшественникам. Губернатора этого звали не то Талызин, не то Балкашин. «Сила привычки велика. Откуп, видя в своих книгах по губернаторской статье пробел, впал в превеликую тоску и, чтобы избавиться от нее, предложил освещать город спиртом. И всё, таким образом, устроилось как нельзя лучше: совесть губернатора была покойна, откуп избавился от тоски», а город обрел свет, так как золотопромышленник Базилевский подарил ему целых двести фонарей.

Татарская часть Казани пребывала едва ли не в том же состоянии, как застал ее грозный царь Иван Васильевич: азиатский городок с множеством минаретов, мужественно выдиравшихся из непроходимой грязи. Полиция сюда заглядывала только за взятками. Народ смирный, зажиточный и честный, татары управлялись как-то сами собою, подобно маленькому государству в государстве, – зато и были едва ли не самою доходною статьей в бюджет полицеймейстеров, за исключением, конечно, поборов с старообрядцев. Память взятия Казани сохранилась в зимних кулачных боях на Ка-

бан-озере, которые славились по всей России и, кажется, нигде не достигали большего ожесточения и правдоподобия в сходстве с настоящим побоищем. «Инде россияне теснили моголов, инде моголы – россиян». Когда татары одолевали, они, по крайней мере, ограничивались победою в пределах озера и успокаивались, очистив Кабан от разбитых русских. Когда же торжествовали русские, то не только гнали татар по улицам, но, освирепев, врывались даже в дома и колотили смертным боем семьян побежденной стороны, так что моголы наконец брались за колья и оглобли.

Тогдашняя ночь казанская увековечена в студенческой песне, которая до сих пор поется:

Там, где с Волгой-рекой,
Будто братец с сестрой,
Черно-грязный Булак обнимается,
От зари до зари,
Как зажгут фонари,
Вереницей студенты шатаются.
Они песни поют,
Они горькую пьют
И еще кое-чем занимаются.
А Харлампий святой,
С золотой головой,
Сверху глядя на них, ухмыляется.
Он и сам бы не прочь
Прогулять с ними ночь,
Да нельзя: строго им воспрещается.

И так далее.

Наткнется, блуждая по «Пескам», партия студенческая, с хором «Харлампия» на устах, на партию семинаристов, голосящих «Настоечку двойную, настоечку тройную», – и непременно задерут одна другую, грянет бой Алеш Поповичей с Добрынями Никитичами. Лупят друг друга без пощады страшными молодыми кулачищами, – дворянчики кутейников, кутейники дворянчиков, пшеничники оржаных блинников, оржаные блинники пшеничных выкормков. Иного с поля битвы товарищи вынесут в бесчувствии, замертво, как готового покойника. А наутро все, как ни в чем не бывало, на местах: одни слушают знаменитого, чуть не гениального, цивилиста Мейера, другие – такого же вдохновенного богослова, архимандрита Гавриила, величайшего чудака, которого когда-либо имело российское черное духовенство. Он жил в Зилантьевском монастыре, откуда приезжал к лекциям на таратайке в одну лошади, причем у кучера в ногах обязательно помещался довольно уемистый бочонок.

– Для чего у вас бочонок, отец архимандрит? – спрашивали студенты.

– А для водочки, братец, для водочки, – водочку в городе закупаю. Надо же чем-нибудь монастырскую скуку разгонять.

В действительности же, бочонок предназначался для воды из превосходного источника в Русской Швейцарии, который

Гавриил очень любил и почитал для себя целебным.

– Отец архимандрит! – спрашивали Гавриила, – когда же вас архиереем сделают?

– А нескоро, братец, нескоро. Когда все архиереи перемрут и половина архимандритов, – тогда настанет и моя очередь.

Высшее духовенство Гавриила терпеть не могло и подзревало в протестантском еретичестве. Низшее – очень любило как товарища и милого человека, но в грош не ставило как начальника. Монастырь свой Гавриил распустил страшно, в чем и сам охотно сознавался. Приезжает к нему как-то раз некая ханжа-аристократка – в негодовании, с жалобой:

– Отец архимандрит, от ваших монахов в городе житья нет. Они у вас скоро разбойниками станут!

– Эге! – успокоил Гавриил, – уже и разбойничают.

– Так вы бы их уняли?

– Унимаю.

– Так что же?

– Не слушают.

– Значит, плохо унимаете.

– Как их уймешь, если у них на всякий резон имеются свои резоны?

– Отец архимандрит! Какие могут быть резоны у разбойников? Просто вы – слишком снисходительны.

– Я им говорю: братия! разбойничать нехорошо, нарочито в вашем ангельском сане... души свои аду готовляете...

А они мне:

– Нет, отец архимандрит, ничего, только надо приспособиться, чтобы не слева, а справа распяли!..

– Вот-с?..

– Ты, – говорят, – еще покажи нам в Писании-то: обещано ли где, чтобы монах спасен был? Сие есть гадательно. А о разбойнике – вот оно, это твердо!

Гавриил люто враждовал с архимандритом Григорием, который в конце концов и выжил его из Казани, и упек его, не пожалев ни таланта, ни огромных знаний, ни кроткого характера, под синодский суд и довел до ссылки настоятелем куда-то далеко, в Иркутский, кажется, монастырь. Григорий был аскет, угрюмый византиец.

Однажды та же аристократическая ханжа опять отчитывала Гавриила:

– Что же это, батюшка? Еду я сейчас Арским полем, вижу: два ваши монаха идут, сами еле на ногах стоят и бабу пьяную ведут с собою?

Гавриил – красный, рыжий, толстый, косой, косноязычный – потряс головою и отвечивал:

– Это не мои.

– Как не ваши? Я их в лицо знаю.

– Не мои.

– Помилуйте, ваше высокопреподобие. Мне ли монахов казанских не знать? Если не я, так – кто же?

– Не мои. Григорьевы, – не мои!

– Ну уж извините, отец архимандрит, у епископа в монастыре подобной распущенности не слыхано, – и быть не может.

– А все-таки Григорьевы, а не мои!

– Да почему вы так уверены?

– Потому что, ежели бы мои были, то не два бы монаха одну бабу вели, но каждый монах двух баб... по меньшей мере!

Не мудрено, что при столь выразительных нравах старая вера преуспевала и процветала, как никогда, хотя на нее был напущен именно в это время такой умный, хитрый, образованный и знающий до тонкости характер и быт своей паствы, чиновник-волкодав, как литератор П. И. Мельников. Безжалостный, да и бесстыдный-таки, погром старообрядчества, произведенный Алябьевым и Мельниковым в Поволжье, по инструкциям генерал-адъютанта Бибикова, сделался в своем роде эрою в летописях старой веры. В самой Казани Мельников застрашал делом о подлоге брачных документов и ввел в единоверие именитых старообрядцев Мокеевых и Плаксиных. Но – видно – служба службою, а дружба дружбою и ум умом, талант талантом, чувство чувством. Тот же самый Мельников кончил жизнь свою страстным поклонником именно старообрядческих слоев русского народа и сложил в честь их вдохновенную эпопею – роман «В лесах», которая никогда не забудется в русском словесном искусстве. «Был Павел, а стал Савел», – выразился о нем еще в 1854

году митрополит Филарет.

Духовенство церковное – великороссийское «под большими колоколами», – было, даже в лучшем случае, грубое, первобытное.

– Что тебе – лень рот открыть? – вопил сердитый поп на причастницу-прихожанку, – вя!.. вя!.. куда я тебе лжицу-то просуну?

Сконфуженная дама раскрывала рот шире. Батюшка уже и тем недоволен:

– Смотри, пожалуй, как пасть разинула. Аль ты меня вместе с сосудом проглотить хочешь?

В Уфе протопоп Бреев выслал сказать губернаторше, чтобы она вперед не кланялась в землю столь близко к амвону:

– А то я ей язык оттопчу!

Какой-то другой вывел из церкви даму за то, что была в «собачьей коже», то есть в перчатках.

Это все были «хорошие» батюшки, уважаемые. О худых же именно Мельников доносил в 1854 году в отчете министерству внутренних дел:

Может ли народ с уважением смотреть на духовенство, может ли он не уклоняться в раскол, когда то и дело слышит он, как один поп, исповедуя умирающего, украл у него из-под подушки деньги, как другого народ вытащил из непотребного дома, как третий окрестил собаку, как четвертого во время пасхального богослужения диакон вытащил за волосы из царских дверей? Может ли народ уважать попов, ко-

которые не выходят из кабака, пишут кляузные просьбы, дерутся крестом, бранятся скверными словами в алтаре? Может ли народ уважать духовенство, когда повсюду в среде его видит святокупство, небрежность к служению, бесчиние при совершении таинственных обрядов? Может ли народ уважать духовенство, когда видит, что правда совсем исчезла в нем, а потворство консисторий, руководимых не регламентами, а кумовством и взятками, истребляет в нем и последние остатки правды? Если ко всему этому прибавить торговлю заочными записками в исповедные росписи и метрические книги, оброки, собираемые священникам с раскольников, превращение алтарей в оброчные статьи, отдачу за поповскими дочерьми в приданое церковью Божиих и проч. т. под., то вопрос о том, может ли народ уважать наше духовенство и может ли затем не уклоняться в раскол, – решится сам собою.

Но «Савлом», упрекаемым от Филарета, Мельников пребывал покуда только на бумаге, а на деле ревностно исполнял свою миссию и так чисто обыскивал старообрядческие дворы, что – после ночного обыска в Нижнем у Головастиковых – когда он, разыскивая спрятанные старые иконы, не постеснялся собственноручно обшарить постели не только старухи-хозяйки, но и дочери ее, всего 18 часов как разрешившейся от бремени, – министр внутренних дел, сколько ни мирволил Мельникову, но по сенатскому указу, вынуж-

ден был затребовать объяснений, которые окончились к благополучию Павла Ивановича, но не к чести и славе. По ту сторону Волги, в Нижегородской губернии, полицеймейстер Зенгбуш возил от города к городу какого-то скопца, одетого в сарафан (на что последовало высочайшее соизволение императора Николая Павловича), выставлял его на базарах и требовал от народа, чтобы скопцу плевали в глаза. Мельников возмущался этой бессмысленной жестокостью – опять-таки на бумаге и с той лишь точки зрения, что мера непрактична: «Все и раскольники, и не раскольники, смотрели на скопца, как на мученика, старухи плакали, а когда скопца повезли в Лукоянов, то народное к нему участие выразилось в необыкновенно щедром ему подаении калачами и деньгами. Скопчество и хлыстовщина от такой меры не только не уменьшились, но даже увеличились». Но сам Мельников в это время предлагал не более и не менее, как – сдавать старообрядцев в рекруты не в очередь, за православных, и император Николай Павлович собственноручно пометил на его докладе: «Сделать об этой мере соображение» (1853). Не удивительно, что там, где появлялся Мельников, жизнь старой веры и сект временно замирала, переживая беду. Кто отъезжал, кто сказывался в отъезде, кто скрывался, таясь, покуда не схлынет гроза и не уберется в свой Нижний грозный чиновник, новый Питирим, только в мундире, а не под клобуком и в рясе.

В такую именно глухую пору застали Казань Зина и Кон-

ста, и это было для них новым жестоким ударом, так как они не нашли в Казани никого из «людей Божьих», к которым Конста рассчитывал обратиться за помощью, как беглец из Тая. Правда, у него не было никаких явок, погибших вместе с имуществом в пожаре на Волге, но он надеялся убедить братьев своими знакомствами и рассказами, которых нетае-вец привезти не мог. Но напрасно искал он по городу. Именитых из «людей Божьих» или не было, или они притаились глухо и без отклика. А переждать время было некогда и не на что.

XII

На первых порах молодой паре беглецов пришлось в Казани круто. Они остановились на постоялом дворе, грязном и дымном. Разменяли красненькую бумажку – рубль Конста заплатил за подводку; на остаток жили, пока не нашли квартиры. Деньги хозяйка спросила вперед. Пришлось продать пару серег, перстни и тяжелую серебряную цепочку от креста – единственные ценные вещи, сохраненные горемыками от прежнего благосостояния, потому что в роковые минуты пожара они были надеты на Зине. Квартиру взяли на Песках – крохотную кухоньку с русской печью – за полтора рубля в месяц. Как только прибыли в Казань, Конста поторопился отделаться от проходного свидетельства на имя Налимова. Так как приказчик сгоревшей барки, конечно, известен

отправителю погибшего груза, а может быть, и получателю, то самозванство на его имя Конста почел опасным, – тем более, что к его услугам были новые имена и новые паспорта погибших бурлаков. О них-то уж, по всей вероятности, – и отправитель, и получатель знать не знают, что это были за люди и как их прозывали. Таким образом, Конста превратился в оброчного крестьянина Тульской губернии, господ Малоземовых, – Филиппа Гордеева; проходное свидетельство, выданное Зине, осталось целым...

«Бабу искать не станут, – размышлял Конста. – Баба начальству ни к чему. А и станут искать, – найди-ка, поди. Баба в городе, что иголка в сенной копне».

Зине привелось теперь принять на свои плечи тяжелый труд настоящей хозяйки – самой и обед стряпать, и рубашку выстирать, и пол вымыть. То, что в Тае случалось делать для забавы, шутя, для компании с подружками, теперь стало необходимостью. Труд давался ей легко, но Конста злился, видя, что все его самонадеянные мечты разбиты прахом, и вместо свободы и житейских удач он все глубже уходит и уводит с собою любимую женщину в омут нужды и бедования. Однако делать нечего: надо было покориться судьбе, хотя один взгляд на руки Зины – еще недавно белые, а теперь красные, загрубелые в работе – переворачивал Консте всю душу. Он утешался лишь тем, что, сколько мог, облегчал Зине ее житье, не позволяя ни до чего пальцем коснуться, когда сам бывал дома.

С тех пор, как деньги, вырученные от закладчицы за вещи Зины, растаяли, Конста редко сидел дома, уходя поутру, чуть звонили к ранней обедне. Каждый благовест вызывал его из дому. Возвращался он усталый, иззябший, но веселый.

– Выдь-ка, Зина, на минутку в сени, – командовал он, а когда Зина возвращалась по его зову, на столе всегда лежало несколько бумажек, кучка серебра и меди.

– Откуда? – изумлялась молодая женщина.

– Расторговались с приятелем, – смеялся Конста.

– Но ведь ты в первый раз в Казани... когда же успел найти здесь приятелей?

– Нешто долго?... И опять же скажу тебе: приятелей у меня – что песку в море. В каждом городе хоть отбавляй.

– Ты бы хоть одного привел показать, какие такие они бывают...

– Вишь ловкая! – отшучивался Конста, – небось, мне чуть глаза не выцарапала, когда я задумал учиться у француженки, а сама хочешь моих приятелей смотреть.

К зиме оказалась возможность перебраться на другую квартиру – в подвал огромного барского дома на Черном озере. Дом этот, незадолго перед этим, купил у разорившегося владельца богатый купец и теперь понемногу отделывал его под мелкие помещения для ремесленных заведений и торговых складов.

– Портные мы... портняжим по малости, – объяснил ему Конста.

Он взял у купца подвал задешево, сырым, как нашел, с обязательством привести помещение в порядок, какой ему угодно, но за свой счет.

Помещение оказалось огромным.

– На что нам, двоим, такое? – удивлялась Зина.

– Мастера будут...

Подвал разгородили деревянными перегородками на клетки. В передней клетке – у русской печи – хлопотала нанятая Констою работница, здоровая молодая девка, некрасивая, но кровь с молоком и богатырской силы. Она была так молчалива, что ее легко бы принять за немую. В другой клетке стояли верстаки, и на них что-то мастерили два угрюмых парня. Они звали Консту «хозяином». Портняжий приклад – аршины, утюги, ножницы, материи – были налицо, но Зина очень редко видела, чтобы ребята кроили, шили, штопали. Никогда ни одно платье не выходило из подвальной мастерской. Зато входило в нее очень многое, и все очень хорошее. Конста уходил поутру, унося под мышкою только черный платок, с каким, чуть не со времен Ивана Грозного, разгуливают по улицам русские портные, и довольно часто возвращался, таща в платке целую ношу. Тогда мастерская оживлялась. Угрюмые мастеровые тормозили принесенную вещь, спорили о ней, ценили ее. Даже полунемая работница вставляла свое словцо... Затем Конста отдавал Зине ценную шубу, шинель или шапку:

– Спрячь до времени...

Прятали в странное место. Чистенькую комнатку для себя и Зины Конста устроил в самой глубине подвала.

– Эх, Зинка! – жалел он, – пришел на мою улицу праздник, да разойтись мне нельзя, опасно еще. А то бы я тебя, голубку, как королеву, устроил. Деньги есть. Каморку бы персидскими коврами устелил. В бархат и шелк одел бы. Потерпи, – теперь уже скоро!..

– Отчего не сейчас? – любопытствовала Зина.

– Боязно, не подумали бы люди чего нехорошего. Скажут: вот – портного жена, а барыней живет... И о том я тебя попрошу: ты теперь сама работать – ни-ни, и думать не моги, но для видимости, когда будут чужие, похлопочи у печи, что знаешь... А кто спросит про Ненилу, не говори, что работницу держим, а скажи, что взяла себе племянницу на хлеба, – помогает по дому. Потому: не бывает этого, чтобы у мастерового человека, окромя хозяйки, была баба на прислуги.

– Хочешь, я покажу тебе дивное диво? – спросил Конста Зину в один из первых вечеров, что перебрались они в новое помещение.

Хитро улыбаясь, он подвел ее к большому сырому пятну на штукатурке подвала.

– Видишь?

– Что же тут видеть? Пятно.

– Нет, душа, оно – с хитростью. Постучи-ка...

Стена ответила гулким эхом, точно за нею была пустота.

– Видишь: тут не цельная стена, а только деревянный щит,

в одно со стеною заштукатурен. Тут – потайной ход.

– Как в Тае?

– Почище. Не мужичье из-под нужды, а баре для удовольствия устроили. Нам Максим-работник, из дворовых господина Бохрадынского, – чей был прежде этот дом, – сказывал про него, что лихой был не хуже нашего света, князя Александра Юрьевича. Видишь: по потолку пукеты пущены и купидоны? – только полиняли очень от сырости и повыкрошились... Максим говорит, что тут у господина Бохрадынского была устроена такая прохладительная палата. Как напируется, бывало, с приятелями наверху в парадных комнатах, – сейчас всей компанией спускаются сюда, пьют, дебоширят; девки дворовые им песни поют... Наверху-то очень безобразить совестно, – город! – а здесь – людям не видать и не слышать. А что в окнах огонь, – кому вдомек? Мало ли служб в доме? Бохрадынский был барин богатейший. А наследник его вышел детина другого закала. Чтобы – говорит – и памяти не оставалось от родителева беспутства! И распорядился заделать ход сюда из верхних сеней... Максим с другим парнем и заделывали. Хозяин нынешний и не знает про эту штуку.

Затем Конста взял топор и прорубил в стене дыру. Открылась черная зияющая пустота; в комнату потянуло холодом...

– Видишь? По-барски устроено: с винтушкой. Узенько – двум не разойтись. Зато нагибаться не надо.

– Куда это выходит? – спросила Зина, любопытно просунув голову в темную затхлую яму:

– Говорят тебе: в верхние сени.

– Стало быть, на улицу здесь выйти нельзя?

– Кабы сени заперты были, нельзя. Да ведь дом-то в разгроме стоит, – без окон, без дверей: перестраивается; так и заимует. Значит, выйти из него даже очень способно. Только тоже надо будет стену прорубить. Я, признаться, больше в этом расчете, с Максимовых слов, и брал фатеру. А то – невидаль! – на аршин в земле жить.

– Зачем тебе такие хитрости?

– Эх, Зинка! звание мое такое.

– Какое?

– Удалой добрый молодец, – вот какое! – засмеялся Конста.

В прорубленную дыру Зина опускала все вещи, какие поручал ей Конста. Дыра была заставлена сундуками. Кроме того, Конста придумал деревянную заплату, покрытую штукатуркой под цвет стены и по форме прореза. С этою заплаткой стена казалась целою. Там, где заплатка сходилась с прорезом, густо торчала щетина, как бы вмазанная сюда вместе с краской. Дернув за щетину, открывали тайник. Такую же дыру и заплату устроили Конста с Максимом изнутри тайника в верхние сени. Работали по ночам – тихо, чуть тюкая инструментами, – и бабам было строго заказано держать язык за зубами.

Вещи бросались в тайник самые разнообразные. Больше всего было платья и белья. Порою Конста, разгружая свои карманы, выкладывал – часы, кошельки, портсигары, цепочки, браслеты. Как-то раз Максим влетел к Зине, запыхавшись, перепуганный, с огромной, закутанной в платок грудой под мышкой.

– Хозяйка, примай... прячь... – задыхаясь, скорее просто-на-на, чем прошептал он.

– Что примаать? что прятать?

Он молча сунул ей в руки закутанную грудку. Зина развернула: оказались превосходные столовые часы с перламутровой инкрустацией.

– Откуда это?

– Ты примай, знай... Хозяин велел.

– А отчего ты такой?

– Какой?

– Нехороший...

Максим махнул рукой.

– Гнались за мной... Еле промахнул двором, – пробурчал он.

– Гнались... кто гнались?

– Известно, кто... что тут толковать? Прячь!

В другой раз она застала Ненилу и подмастерьев прильнувшими к окнам: они в восторженном изумлении рассматривали Консту, как он на улице, почтительно сняв картуз правую рукою, а левою держа висящий через плечо

огромный узел, разговаривал с квартальным.

– Ну и смельчак же! – восторгалась Ненила. – Смотри, – говорит и в ус не дует...

– И узел через плечо!.. – хохотал Максим.

– Что же тут за диво? – не вытерпев, в недоумении, вмешалась Зина.

На нее дико посмотрели.

– Чудна ты, Марья Прохоровна!.. Да узел-то с чем?

– А с чем? С заказом?

– Да, с заказом... только...

– Ну?

– Хапаным!

ХШ

Время от времени в подвал заходили чужие люди – не то фабричные, не то дворовые: кто в чуйке, кто в немецком платье, – чистый народ. У них были быстрые глаза, тихие голоса и легкая кошачья походка. Они шептались с Констою, осматривали краденые вещи, торговались до седьмого пота, платили деньги – непременно золотом или серебром – и уносили покупку. После каждой продажи Конста делался хмурым и крепко ругался:

– Пять лобанчиков! а? ну не ироды ли, эфиопы, скажите, добрые люди? Вещь стоит три сотенных, а отдавай ее за пять желтяков! Коли дешево, говорят, мы не неволим; неси на ба-

зар, торгуй по вольной цене, – может, кто даст и дороже... Да черти-дьяволы! кабы я мог по воле продать все, что лежит в каморе, я бы тысячником стал, в бархатах ходил бы и дело бы прикрыл... А то – все гроши да гроши... не разживешься с эдаких достатков!.. Вам чего, ребята? – круто поворачивался он к мастеровым, замечая их выжидательные взоры.

– Могарычи бы распить с твоей милости, хозяин. Конста вынимал несколько рублей:

– Только – уговор лучше денег: на людях не напиваться. Язык наш – враг наш.

– Помилуй, хозяин: нешто мы сами себе недруги? Авось не махонькие.

– Пьяный – что малый. Хвастуны вы все.

Мастеровые уходили и возвращались домой поздно ночью, хмельные. В такие вечера Конста крепко запирал комнату Зины – на случай, неровен час, дебоша. Однако до поры до времени Бог миловал жителей подвала: шумных скандалов не случалось. Один только раз вышла драка – Максим приревновал молчаливую Ненилу к товарищу и пустил в него утюгом. Раздались ругательства, два здоровенных парня схватились за волосы. Конста, заслышав крик, бросился разнимать:

– Что вы, черти беспаспортные, вовсе ошалели? Хотите, чтоб нагрянули фараоны? – зашипел он, награждая тукманками обоих соперников...

Парни опамятовались и, тяжело дыша, дико смотрели

друг на друга.

Сам Конста смотрел на свою добычу, казалось бы, и ценную, и обильную, с нескрываемою пренебрежительностью:

– Что это за дела? – говаривал он, швыряя вещи в яму тайника. – Будут дела, а это мелочь, плотва... Наскучило по гривенникам-то работать. Вот – кабы левшинскую кладовку подломить, Тюфилинуху обездолить, – это дело. Сразу богат: взял в одну ночь, да и пошабашил на всю жизнь... миллионщик! первой гильдии купец!

Левшинская кладовка была штука любопытная. Жил-был когда-то в Мензелинске екатерининский вельможа, гвардии полковник Милькович, несметный богач. По смерти его все состояние досталось родственнице его Матрене Ивановне Левшиной, урожденной Васиной. Отец этой Васиной был опекуном малолетних Мосоловых: опять-таки, значит, огромного состояния. Некая Тюфилинова, родственница всех названных, предъявила к Левшиной-Басиной иск за неправильные действия отца ее по этой опеке и умела повести процесс так, что, покуда суд да дело, все имущества Левшиной, в обеспечение иска, были взяты в опеку. Вся движимость покойного Мильковича, представлявшая огромную стоимость, была свезена в казанский дом Левшиной – впоследствии известный дом Осокиных – и помещена здесь в каменную кладовую, за железные ставни, за железные двери, которые суд опечатал. Получился каменный мешок с драгоценностями, буквально набитый серебряною посудой, ико-

нами в золотых окладах, кадиями жемчуга, ювелирными вещами в брильянтах, в алмазной осыпи, в самоцветных камнях. Тюфилиновой предоставлено было жить в доме. Конечно, ловкая баба не замедлила подобрать ключи к кладовой, и печати ей нисколько не помешали, так как местная судебная власть была с нею заодно. Дело три раза восходило до Сената, и каждый раз находился повод возвратить его в первую инстанцию. Умерла Левшина. Умерла Тюфилинова. Перемерли ее дочери. А дело все тянулось. Одно за другим судебское поколение округляли свои состояния, строили дома, покупали имения, а кладовка, десятилетие за десятилетием, все стояла запечатанная, и все росла, и росла народная молва о сказочных богатствах, в ней скрытых. В слухах этих не разуверяла даже та наглядность, что внуки Тюфилиновой остались после бабушки без всяких средств и жили очень бедно. Наконец – 70 лет спустя после первого иска – суд нашел, вероятно, что лимон выжат до последней капли и великодушно будет возвратить его владелице: Сенат отказал в иске наследницам Тюфилиновой, доконав их, конечно, уплатою судебных издержек, выросших чуть не в сотню тысяч рублей, и присудил спорное состояние дочери Левшиной, древней старушке. Но, когда сняли печати с кладовки, она оказалась почти пуста: сокровища Мильковича погибли в судебных карманах. Необъятные земли были захвачены разными дальними родственниками, теперь крепко державшимися за право давности. Наследница получила едва

ли десятую часть того, что ей следовало, и все-таки это было крупное состояние. Но миллионы Мильковича, в полном смысле слова, расплылись. Так пошло прахом одно из самых крупных русских богатств.

Сортируя краденое добро, Конста откладывал самые лучшие вещи в сторону:

– Это Зейнабке, – приговаривал он.

– Какая еще Зейнабка? – хмуро спросила Зина, когда в первый раз услышала это новое женское имя.

Она теперь ревновала Консту ко всем – даже к безгласной Нениле.

Конста захохотал.

– А вот покажу тебе ужо: красавица – лошади пугаются!.. Скупщица, татарка... Она да Муся Хаимовна – первые наши благодетельницы; без них нам – хоть не дыши.

Он рассмеялся еще больше.

– А и не любят же они друг друга! – сущие две псовки. Потому – одним делом занимаются, одна у другой отбивают хлеб. Обе богатейки, обе жадные. Только Зейнаб будет поразмашистее Муськи: та – прижимистая, мудрено с нею. Люта торговаться, – иной раз только тем и возьмешь ее, что пристращаешь: подай положенное, не то уйду к Зейнабке. А при расчете всегда норовит всунуть либо фальшивую бумажку, либо обрезанный золотой: такая чудная! – словно я ребенок-двухлеток, чтобы принять, или глаз у меня нету... Зато покупает все: хоть башмак драный принеси, – берет. А Зейнабке по-

давай золото, серебро, самоцветы, парчу, материи дорогие, меха, – на другое и взглянуть не возьмет во внимание. Коли вещь стоящая, сама скажет хорошую цену: дескать, к Муське не ходи, на торги время не теряй; оставляй товар у меня да ступай снова на промысел, добывай. Если же не горят у нее глаза на покупку, то ее Муською не напугаешь. Та о гривеннике дрожит, не перепал бы он вместо нее Зейнабке, а эта довольно даже равнодушна: мне, говорит, за мое добро и наш Аллах, и ваш Бог всегда пошлют...

Вскоре Зина познакомилась с обеими скупщицами. Муси, действительно, могли пугаться лошади: чахоточная ведьма с ястребиною головою на теле длинном и тощем, как жердь, которою гоняют голубей. Но Зейнаб Зина не нашла безобразною, хотя татарка была уже не молода и растолстела чрезмерно. В косо прорезанных глазках Зейнаб еще сверкало сильное желание нравиться; она белилась, румянилась, чернила брови и подводила глаза; ходила, по обычаю восточных кокеток, с утиною перевалкою. Фату носила тоненькую, газовую, чтобы только закон соблюсти, а когда была уверена, что никто из мусульман не увидит, охотно сидела с открытым лицом. Мнительной Зине казалось, будто скупщица заигрывает с Констою. Она невзлюбила Зейнаб и дулась всякий раз, когда Конста отправлялся к татарке с вещами, особенно если долго у нее засиживался.

– Глупая ты, Зинка, право, безумная! – искренно оправдывался Конста, – ну, пошевели маленько мозгами, разду-

май сама с собою: могу ли я польститься от тебя на эдакую квашню?

– Ладно, ладно, – упрямо ворчала Зина, – заговаривай зубы другим... Разве не видала я в Тае, как молодые парни увивались за мамушкой Матреной? А она не моложе твоей Зейнабки. Все вы подлые! – было бы болото, а черти найдутся.

Был теплый весенний вечер. Зина возвращалась по Воскресенской улице домой, с покупками из лавок. Незнакомый господин, щегольски одетый и очень красивый, хотя уже пожилой, попался ей навстречу. Пристальный взгляд его голубых глаз смутил Зину.

– Какая хорошенькая! – громко сказал незнакомец и, повернув стопы обратно, пошел за Зиной по следам – до самых ворот дома Бохрадынского. Compliments и предложения, которые бормотал уличный ловелас, шагая позади Зины, перепугали молодую женщину: так предприимчиво за нею еще не ухаживали. Постепенно ускоряя шаги, она наконец прямо-таки побежала от навязчивого господина. В воротах он схватил было ее за руку, – она вырвалась и вскочила в свой подвал, красная от стыда и страха. Конста, узнав в чем дело, немедленно вышел на улицу – посчитаться с нахалом. Барин разговаривал у ворот с дворником-татариним. Заметив Консту, он поторопился удалиться походкою, немножко слишком спешною для такого солидного и пожилого человека.

– Что он тут балакал с тобою? – угрюмо спросил Конста.

Дворник оскалил зубы.

– Твоя Марьям больно нравился. Спрашивал: чей такой? хочу знаком бывать. Моя говорил: гулай назад, бачка! муж-ний жена, муж больно сердит батыр... секим башка будет де-лать.

Влюбчивого незнакомца звали Александром Ивановичем Харламповым. Это был богатый и праздный вдовец, убивавший все свое бездельное время на охоту за юбками. Смолоду он слыл Дон-Жуаном, а к старости обратился в мышино-го жеребчика. Зина произвела на него очень сильное впечатление.

«Mais elle est très distinguée, cette petite paysanne la!¹⁸ – думал он, – непременно надо познакомиться с нею... Но как? Муж ее смотрит грубым и дерзким негодяем... я вовсе не желаю иметь с ним скандал... да и сама она, на взгляд, такая недотрога... Ба! – вспомнил он и засмеялся, – а на что же существует в Казани госпожа Муся Хаимовна, честная вдовица, сих дел мастерица?»

В один прекрасный день скупщица объявилась в подвале Консты гостьей и обласкала Зину, а там и зачастила приходиться чуть не каждый день.

– С чего бы мы так ей полюбились? чего она шляется? – уцивлялся Конста. – А, впрочем, – пущай... нам на руку. Она даже как будто подобрела: и покупает охотнее, и меньше торгуется.

¹⁸ Но она весьма привлекательна, эта маленькая крестьянка! (фр.).

Но вскоре ларчик открылся просто: Зина с негодованием рассказала Консте, что Муська уговаривает ее сойтись с Харлампьевым, сулит роскошную жизнь, деньги... Конста озлился – сгоряча побежал к Мусе и крепко ее поколотил.

XIV

Зейнаб, прослышав о побоях, которые претерпела ее соперница, пришла в восторг. Она – уже в поздний час – послала за Констою своего работника. Конста, полагая, что у Зейнаб нашлась какая-нибудь новая промышленная затея, сейчас же явился. Татарка приняла его в маленьком чулане, застланном ковром и едва освещенном ночником. Зейнаб в летнике, надетом прямо на тело, сидела на кошме, как истукан.

– Ты побил Муську? – был первый ее вопрос Консте.

– Случился такой грех, Зейнаб Ахметовна... но откуда ты знаешь?

Татарка улыбнулась.

– Гм!.. Зейнаб не будет знать – кому знать? Знаю и за что побил – за свою бабу.

Она помолчала.

– Что ты побил Муську, это хорошо; мне приятно. Но теперь ты бойся ее: она сердитая, она тебе не простит.

– Эх, Зейнаб Ахметовна! «Бог не выдаст – свинья не съест».

– Аллах велик, – согласилась Зейнаб, – но мы с тобою занимаемся не такими делами, чтобы очень рассчитывать на милость Аллаха. Есть у вас русских другая хорошая поговорка: «На Бога надейся, а сам не плошай!»

– Так-то оно так, – подтвердил Конста.

– Баба твоя хорошая, – продолжала Зейнаб. – Любишь ее?

– Пуще жизни люблю.

– Гм!.. это хорошо... нищие вы только, вот что плохо.

– Не беда, Зейнаб Ахметовна. Были богаты один раз – авось разбогатеем и вдругорядь.

– Богатей, да поскорей, – насмешливо сказала татарка, – а то нищему нищую любить не годится.

– Уж какая по сердцу прихлась.

– О сердце ты мне не говори. Сердце – дурак. Сердце свое бедный человек, – байгуш, как ты, – должен держать на цепи. Ты лучше полюби богатую – сам станешь богат. Ты батыр, большой джигит. Тебя хорошие женщины и любить будут... Одну такую я уже знаю... Догадайся сам, кто?

– В толк не возьму, Зейнаб Ахметовна... Кому бы, кажется? Мало у меня здесь знакомых баб-то...

Глаза татарки сверкнули.

– А если бы я? – сказала она, пристально глядя в лицо Консты.

Он растерялся: «Права, выходит, Зинка-то!..» – мелькнуло у него в голове. Он молчал, придумывая, как бы половчее вывернуться из неловкого положения, в какое поставила его

Зейнаб своим неожиданным признанием.

«Тоже, – размышлял он, – обидишь чертовку, – куда потом сунешься с товаром? Муська поколочена... эта дружба, значит, ау... не на базар же, в самом деле, нести краденое добро...»

Скупщица продолжала остро смотреть на него и качала головою:

– Дурак ты, – протяжно сказала она, – батырь, а дурак и невежа. Даже не умеешь притвориться, что не рад моей любви. Хорошо, что Зейнаб умная. Другая на моем месте обиделась бы.

– Да, помилуй, Зейнаб Ахметовна! Ты меня – ровно обухом!.. Что же прикажешь мне делать, коли...

– Ладно уж, ладно, не вывертывайся! – презрительно прервала его татарка, – не любишь, и не надо... другие любят! И об одном прошу: забудь, что я тебе говорила, все равно как будто ничего между нами и не было... и бабе своей не смей хвастаться! слышишь?.. А про Муську все-таки помни и – берегись! Она, проклятая, всегда живет на два крыльца! одно – для вас, байгушей, другое – для полиции. Ты ее обидел – она гневная – тебе беду скует. Если случится что-нибудь недоброе, беги прямо к Зейнаб либо бабу свою пришли. Я тебе, – хоть и не стоишь ты того, – друг довечный и желаю тебе добра: и укрою, если нужно, и чем можно помогу... Бывала я, мой голубчик, во всяких переделках; случалось, что и из-за каменных стен, из-за железных решеток выруча-

ла своих приятелей, удалых джигитов...

Муся Хаимовна отмстила скоро и просто. Выбрав пять-шесть недорогих вещей из купленных ею в разное время у Консты, она отправилась к частному приставу:

– Вот, ваше высокоблагородие, господин превосходительный начальник: эти вещи я куповала у портного Филиппа Гордеева, что живет в доме Бохрадынского... И самый ли он настоящий портной или не самый настоящий – мне неизвестно, но только у него всегда много золотых и всяких дорогих вещей, и все вещи самые прекрасные и очень дешевые... Я – честная торговка – польстилась, что он продает так дешево такие прекрасные вещи, купила – а теперь забоялась, откуда он их достал? не украл ли где, сохрани Боже? И вот пришла посоветоваться с вашим высокоблагородием, чтобы мне потом не быть в ответе пред начальством...

Рассмотрев вещи, пристав убедился, что они принадлежат к трем разным кражам, виновники которых давно разыскиваются. Поняв, что Муся наводит его на следы воровской шайки, он в ту же ночь оцепил подвал Консты полицейскою облавою.

Конста и Зина крепко спали, когда дверь подвала затрещала под тяжелыми ударами хожалых, а вслед затем Ненила – босая, в одной сорочке – вскочила в хозяйскую каморку и прошептала:

– К нам ломятся... фараоны...

Дверь слетела с петель. Максим и Трофим, одурелые со

сна, отчаянно боролись с наседавшими полицейскими. Конста рванулся было к ним на помощь, но вдруг опомнился... и, поняв, что игра проиграна, сразу сообразил, что надо делать, чтобы проиграть ее, по крайней мере, не целиком и не без надежды отыгаться.

– Огня! Федотов, давай огня! – слышал он команду в потемках.

– Не найду, вашбродь...

– О, гарниза пузатая!..

– Крути их, иродов...

– Ой, черт! у этого бородатого, вашбродь, топор...

– Брось, слышь ты, сейчас брось топор, разбойник!

– Не подходи! расшибу! – ревел Максим.

– Брось!.. стрелять прикажу...

Конста набросил на плечи дрожащей Зины один из краденых салопов, на голову – платок и открыл тайник:

– Полежай, – шепнул он, – и бегом... прямо, без оглядки – к Зейнаб...

– А ты? а Ненила?

– Ступай, ступай! Ты – первая... Мы – следом за тобою...

Когда Зина исчезла в темном провале тайника, он занес было ногу, чтобы и самому вскочить в подземный ход, но вдруг остановился...

«Если уйдем сквозь этот лаз все трое, – подумал он, – фараоны сейчас же погонятся за нами, побегут и вдогон, и наперерез, тут нам и – шабаш: схватывают всех троих... Нет, это

не подойдет».

И Конста хладнокровно приладил закладку тайника обратно к стене. Ненила, не понимая, отчего хозяин медлит бежать, смотрела на него, разинув рот, в немом оцепенении ужаса. Перегородку бешено громили кулаками и тесаками бутари, расшвырянные в борьбе с Максимом: еле-еле удалось им обезоружить его и скрутить.

– Не горячитесь, служивые! – насмешливо отозвался Конста, – неровен час, печенки перелопаются... казне большой изъян будет.

– Отпирай, чертов сын!

– Выходи, собачья кровь!

– Да и выйду! куда мне деваться?..

«Зинка теперь уже на улице, – сообразил он, – ладно...»

Он отворил дверь. Шесть дюжих лап мгновенно схватили его за ворот и за руки.

– Что вы меня душите, слоны необстоятельные! – властно прикрикнул он, – словно я злодей какой-нибудь... Небось, не побегу и отбиваться не стану. Не дурак я барахтаться с вами, чтобы потом меня судили военным судом... Пустите! дайте с начальством поздороваться.

Оторопелые бутари оставили его. Конста расправил помятое горло и поклонился частному приставу, который рассматривал его с великим любопытством.

– Имею честь кланяться, ваше высокоблагородие, – попался... берите – ваше счастье! Видно, и впрямь – от сумы

да от тюрьмы никто не отрекайся. Только, ваше высокоблагородие, не приказывайте хожелым драться: смерть не люблю... И за что же меня бить? Сами извольте видеть: я со всем моим смирением.

– Кто ты таков? – перебил пристав.

– Документ имею... из документа видать, ваше высокоблагородие.

– Это – твоя баба?

– Так точно, ваше высокоблагородие: хозяйка моя... Клянйся, дура! – приказал он Нениле и с негодованием обратился к будочникам: «Эка, лешие, как напугали бабу! инда – речей не понимает и слова сказать не в состоянии». Обломы деревенские! а еще в городе живут. И зачем было шум делать? Постучали бы вежливенько: «Филипп, мол, Гордеич! милости просим вас, со всею великатоностью, в острог». Я бы сейчас: «С нашим отменным удовольствием, господа полиция!»

– Ах ты шельма, шельма! – пристав покачал головою, – ишь краснойбай... Должно быть, из бывалых!..

– Зачем врал, бачка! – азартно набросился на Консту дворник дома. – Ненила не твоим хозяйкам. Марьям твоим хозяйкам. Где Марьям прятал?

Конста смерил дворника взглядом глубочайшего презрения.

– Плетешь – сам не знаешь что, – сурово сказал он. – Марью какую-то выдумал! А еще кунак называешься.

– Каким кунак? Яман человек Абдул нет кунак. Ваше благородие, спрашивай, пожалуйста, куда он свою жену Марьям прятал.

– Это верно, – вступился один из хозяев, взглядевшись в Ненилу. – Абдул говорит правду. Это работница, а не хозяйка.

– Хозяйка у него, ваше благородие, королева писаная! – подтвердили другие, – а энта – вишь какой идол, вроде как бы Державин – монумент...

Пристав грозно нахмурился и подступил к Консте с кулаками:

– Так ты нас вздумал морочить, любезный?! Ах ты... Да я тебя в бараний рог!..

Равнодушно слушая поток полицейской ругани, Конста соображал, – успела ли Зина дойти до квартиры Зейнаб или, по крайней мере, до татарской части города, где она потеряется, как горошина в просе?

– Виноват, ваше высокоблагородие! – сказал он, ловко потряхнув головою, чтобы уклониться от тычка, намеченного ему приставом прямо в зубы, – виноват!

– Стало быть, ты, Абдулка, – протяжно обратился он к дворнику, насмешливо поглядывая кругом, – доказываешь на меня, что была у нас, окромя Ненилы, еще жена Марья? Ну, коли тебе того больно хочется, изволь: была. Только, брат, она была, да вся вышла.

– Где же она теперь? – довольно глупо спросил пристав.

Конста развел руками:

– Где? уж это – искать – ваше дело начальственное. Наше дело было спрятать, а ваше – искать. Доказчиком ни на кого не бывал, а на жену и вовсе не приходится. Прикажите, ваше высокоблагородие, лучше вести меня в арестантскую. Потому – дальше, на допросе, что Бог даст, – а теперича разговору промеж нас не произойти... Либо он совсем ни к чему и самый пустой выйдет.

XV

Зейнаб укрыла Зину в том самом чуланчике, где принимала она Консту.

– Если будет тревога, – сказала она, – подними ковер и полезай в подполье. Оттуда есть нора прямо на Кабан-озеро. Зейнаб – друг. Зейнаб не выдаст.

Зина, полная неизвестности и страха о судьбе Консты, рыдала:

– Зачем я послушалась – оставила его? что я буду делать без него?.. Эх! Обманул он меня... пусти меня! я пойду – пусть поймают вместе с ним!

– Нет, этого нельзя, – холодно возразила татарка. – От этого не будет никакой пользы ни тебе, ни ему. Филипп – смелый, ловкий. Он убежит. А ты, если попадешь в тюрьму, – ты и сгниешь в ней.

Несмотря на великодушные татарки, под личным риском

укрывшей Зину, которую полиция искала всюду и очень настойчиво, взаимное нерасположение обеих женщин не умерло. Насильственная ласковость Зейнаб не обманывала Зину: в лукавых черных глазах скупщицы она читала хитрую злость, предательские замыслы, – и напрягала всю силу воли, чтобы не показать Зейнаб, как мало ей верит. Зейнаб, с своей стороны, думала: «Если бы не эта белая девка, Филипп любил бы меня... не посмел бы не любить. Освободить его из острога – дело нехитрое. С деньгами отпираются и не такие крепкие замки. Но выручать его для этой девчонки, которая меня вдобавок терпеть не может и едва умеет скрывать это... Нет, Зейнаб не дура!..»

И взгляды ее, обращенные на Зину, когда та не замечала их, становились все насмешливее и злее.

Однажды она вошла к Зине с тревожным, красным от волнения лицом:

– Беда, Марьям! – быстро заговорила она, – полиция напала на твой след. Я больше не могу держать тебя: мне неохота идти в Сибирь. Ты видела: я сделала для тебя все, что обещала. Но волку дороже всего собственная шкура...

– Что же мне делать? – отчаянно заломила руки захваченная врасплох Зина.

– Бежать надо, – вот что. Слушай: у меня в Астрахани есть сестра, хорошая женщина, богатая купчиха, как я. Сегодня ночью трогается на низ караван... персидские купцы – мои первые друзья и приятели; можно им верить, как мне самой.

Я переплаваю тебя вместе с ними до Астрахани, к сестре. Там тебя никто не найдет, да и не догадается искать.

– А как же здесь-то – без меня? муж?! Татарка презрительно захохотала.

– Велика ли польза твоему мужу от того, что ты сидишь здесь в тайнике и хнычешь? Что тайник в Казани, что тайник в Астрахани – все равно. Когда Филипп вырвется на волю, я укажу ему, где ты, и переплаваю его в Астрахань, как и тебя. А пока – что нам в тебе? Ты только лишняя обуза всем нам. Того гляди, поймашься, а вместе с тобою поймается и мы. А когда все мы будем сидеть за каменными стенами, кто будет нас выручать из-за этих стен?

Зейнаб долго уговаривала Зину.

– Делай со мною, что хочешь и как знаешь! – согласилась наконец бедная женщина, – я не вольна в себе... мне некуда идти...

Вечеру к Зейнаб приехали три чернобородых азиата, с глазами, как маслины, с бирюзою на пальцах, с ногтями, крашенными хиною. Татарка вывела к ним Зину.

– Вот женщина, о которой я вам говорила, – сказала она по-персидски.

Азиаты долго внимательно смотрели на Зину, – один даже обошел ее кругом и лампочкой осветил, чтобы лучше разглядеть. Потом сели, закурили кальян и стали гладить бороды:

– Якши... бик якши... – промолвил старший, полизав са-

мую крупную бирюзу на своем указательном пальце, против сглаза.

– Годится? – спросила Зейнаб.

– Мирза Рэхим будет доволен. Таковую нам и приказано привезти.

– Передайте светлому мирзе, что Зейнаб – его довечная слуга...

Тою же ночью Зину, закутанную в ковры, как кладь, перевезли на хозяйскую нарядную баржу персидского каравана. Покуда караван не отвалил от берега, молодую женщину держали взаперти в трюме, а затем приказчик баржи Абу-Бекир уступил ей свою рубку. Обращались с Зиной не только хорошо, но даже почтительно. Разговаривать ей было, однако, не с кем: Абу-Бекир едва плел по-русски, другие персияне – кроме «здрасты» и «харуш» – вовсе не знали ни одного русского слова. Но Зина была так занята своими горькими мыслями о Консте, обо всем, что осталось позади ее, что ей было не до разговоров...

Перед самую Астраханью Абу-Бекир подошел к Зине с небольшою банкою зеленоватого варенья.

– Хочешь шербет? Кушай, пожалуйста! Больно хорош шербет...

Зина проглотила две-три ложки: варенье действительно оказалось превкусное. Она поблагодарила Абу-Бекира и пошла в рубку – собрать перед скорою высадкою свои вещи. Завязывая узел, она вдруг почувствовала, что ей не хватает

дыхания... у нее потемнело в глазах... она повалилась на пол в глубоком обмороке.

Очнулась Зина на палубе с невыносимой головной болью. Первым впечатлением ее было – удивиться, что солнце стоит высоко в небе, тогда как, она помнила, караван подошел к Астрахани перед закатом.

– Что это?! – дико озиралась она.

Города не было видно на горизонте; кругом, на необозримое пространство, рябила желтоватая вода, берег чуть темнел с одной стороны узенькою полосой.

– Долго спал, Марьям! – засмеялся Абу-Бекир, – два сутки спал!

– Где же Астрахань? Какая это вода?

– Астрахань? Там остался! – он показал большим пальцем через плечо, – а вода называется Каспий...

– Каспий?!

Зина окаменела от ужаса: ей стало все понятно... и ее обморок, и персидская вежливость, и варенье Абу-Бекира, и предательство Зейнаб. Абу-Бекир хлопал ее по плечу:

– Не тужи, Марьям! Ты счастливая: хорошо жить будешь, богато. Не простому человеку в дар везем тебя, но светлому Мирзе Рэхиму, племяннику самого шаха, царя царей нашего...

XVI

Говоря Зине, будто полиция напала на ее след, Зейнаб думала солгать, а нечаянно сказала правду. На одном из частых допросов Максим, бывший работник Консты, проговорился, что, надо быть, хозяйка у Зейнабки пристала...

Муся – беспощадно оговоренная Констою, сразу постигшим, кому он обязан своим арестом, – тоже сидела в остроге, и, в свою очередь, оговорила Зейнаб, как притонодержательницу и скупщицу краденого. У татарки был сделан обыск. Зины уже не нашли: она плыла в это время в далеких персидских водах. Но обыск обнаружил целый склад похищенного в разное время у казанских обывателей серебра, золота, мхов, парчи, дорогих вещей и материй... Обнаружилась прикосновенность к нескольким давним грабегам и убийствам.

– Что мне будет? – спрашивала Зейнаб, когда ее посадили в тюрьму.

– Известно что: в каторгу пойдешь, – утешил ее конвойный.

Встретясь с Зейнаб на очной ставке, Конста пал духом: до сих пор он тосковал по Зине, но был спокоен за нее, думал, что она в безопасном убежище.

– Ты прятала у себя разыскиваемую судом зарайскую крестьянку Марию Прохорову? – спрашивали Зейнаб.

– Никакой Марьи я не видала, – спокойно возражала

она. – И не знавала. А этого человека – Филиппа Гордеева, хотя и знаю в лицо, но дел с ним никаких не имела, и чем он занимается – мне неизвестно...

– Ваше благородие! – обратилась она в конце допроса к следователю, – правда ли, что по закону мне за мои дела следует каторжная работа?

– Правда, Зейнаб. Разве уж особое милосердие суда...

Зейнаб сомнительно покачала головой.

– Аллах велик, – сказала она, – судьба людей в его руках. Покорно благодарю вас, ваше благородие.

Возвращенная в секретную, Зейнаб улеглась спать, накрывшись с головою халатом. Часовой, заглядывая время от времени в окошечко камеры, удивлялся, как долго и неподвижно спит татарка. Сторож принес арестантке обед: она не шевельнулась. Он окликнул Зейнаб, – не слышит. Начал расталкивать, – Зейнаб грузно свалилась на пол, мертвая, холодная, с сине-багровым лицом и страшно вытаращенными глазами... Из страха каторги она отравилась каким-то восточным ядом, который при аресте успела скрыть под своими длинными крашеными ногтями.

Филиппа Гордеева, то есть Консту, и всех, арестованных вместе с ним, следователь счел нужным препроводить этапным порядком к местам приписки, для удостоверения личности, так как явилось подозрение, что имена обвиняемых вымышленные, а паспорта фальшивые. Конста и Ненила назначены были в одну партию до Нижнего Новгорода, отку-

да предстояло им направиться Консте – в тульский острог, Нениле – в рязанский. Идти было нетяжело; партия была небольшая. Этапный офицер попался нестрогий – весельчак и ловелас...

На второй ночевке от Казани Конста, изнемогший в терзаниях стыда и отчаяния почти до сумасшествия, едва попробовал сомкнуть глаза и избыть бессонницу, как кто-то окликнул его шепотом и над ним выросла – в сером мерцании рассвета – высокая фигура в солдатской шинели.

– Чего надо? – сердито спросил Конста, думая, что его буцит конвойный.

Но солдат зашептал:

– Это я, хозяин, – Ненила. Побежим, покамест что. Все спят. Я... того... этапного-то придушила...

Веселому офицеру приглянулась рослая арестантка, и он, без долгих церемоний, пригласил ее к себе в каморку на свидание. Очутившись с этапным глаз на глаз, Ненила, среди безмолвных нежностей, вдруг схватила его за горло. Он не успел крикнуть, как потерял сознание под ее могучими руками. Тогда Ненила взяла его саблю и, выглянув на крылечко, осторожно позвала со двора двух конвойных, которых офицер поставил было охранять спокойствие своих амурных походов.

– Служивые, подьте сюда, их благородию что-то больно нехорошо...

Едва обманутый конвойный взбежал на крыльцо, как

страшный удар саблей по голове сбросил его по ступенькам под ноги спешившему вслед за ним товарищу. Тот споткнулся и упал ничком. Ненила надела на него верхом и, сдавив солдату горло коленами, принялась глушить его по темени эфесом офицерской сабли. Несчастный, врасплох прижатый ее тяжелым телом к земле, очутился в беспомощном положении – тем более, что совсем растерялся и струсил. Он стонал, но стоны его съедали земля и тело Ненилы. Он искусал ей ноги в кровь, но она не замечала боли и гвоздила горемычного солдата по темени, точно толкла в ступе пестом, пока он не перестал вздрагивать. Этап крепко спал, не подозревая происшедшей на нем беззвучной драмы...

Один из конвойных умер на месте, другой лежал без чувств; этапный офицер был еле жив и не мог сказать ни слова, когда преступление Ненилы и побег ее вместе с Констою были обнаружены просиявшим солнцем. В первом ужасе и переполохе преследователи потеряли много времени... По ржам и перелескам беглецы успели пробраться на зады какой-то деревушки и пролежали в коноплях до поздней ночи, не смея перекинуться между собою даже словом. Ненила, при помощи булыжника и офицерской сабли, расковала Консту из ножных кандалов, и – к новому утру – беглецы ушли далеко в сторону от этапной линии... В этот раз им была не судьба пойматься. Встретив на проселке подгулявшего мужика, Конста, под смертной угрозой, заставил его променяться армяком на свой халат... Мужичонка был бла-

годарен уже и за то, что ушел живым из беды.

День висел кислый, холодный, дождливый. Конста и Ненила сидели на бугорке под полосатою верстою, молчаливые, унылые. Свобода не утешала Консту. Потерянная без вести Зина заслоняла ему весь мир. Он чувствовал себя одиноким и ненужным никому на земле...

– Хозяин, а, хозяин! – сказала Ненила, – аль теперича пойти нам врозь?

– Это еще зачем? – сурово отозвался Конста.

– Боюсь, хозяин: не поймался бы ты вместе со мною... Больно я, идол, выросла примечлива для людей.

Конста взглянул на Ненилу. Собачья привязчивость, звучащая в словах и светившаяся в глазах этой грубой и дикой девки, невольно тронула его. Теперь, когда он так убит, так разочарован в своих планах и в своих силах, – остаться одному со своими горькими мыслями показалось ему страшно...

– Право, ну, хозяин! – настаивала Ненила, – брось ты меня... авось я и одна не пропаду... а пропаду – что я? – сирота, – туда мне и дорога.

– Полно врать, – мягко остановил ее Конста. – Как я тебя брошу? Коли есть нам такая планида, чтобы пойматься, то поймаемся все равно – что врозь, что вместе. А вместе мы бежали – вместе и пойдём... будем вдвоем горе мыкать!.. В компании и кнут веселее... Однако шевелись... До вечера нам надо уйти, мало-мало, верст сорок...

Они зашагали босыми ногами по мокрой траве. Конста

упорно глядел на серый, застланный дождевою сеткою горизонт. Злая улыбка кривила его бледные губы. В опечаленном уме его плыла тяжелая дума: «Эка мокреть-то, серота-то, зги впереди не видно... Эх, богатырь, богатырь, Константин свет Иванович! Такова-то и вся твоя теперь воля-волюшка – одинокое злое горе-гореваньице! Ох, Зина моя, Зинушка! погубил я тебя, проклятый... Да найду ж я тебя, найду! найду! Либо – коли не найду – сам жив не буду!..»

1889–1896